В. Ф. Шубин

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО ПЕТЕРБУРГА



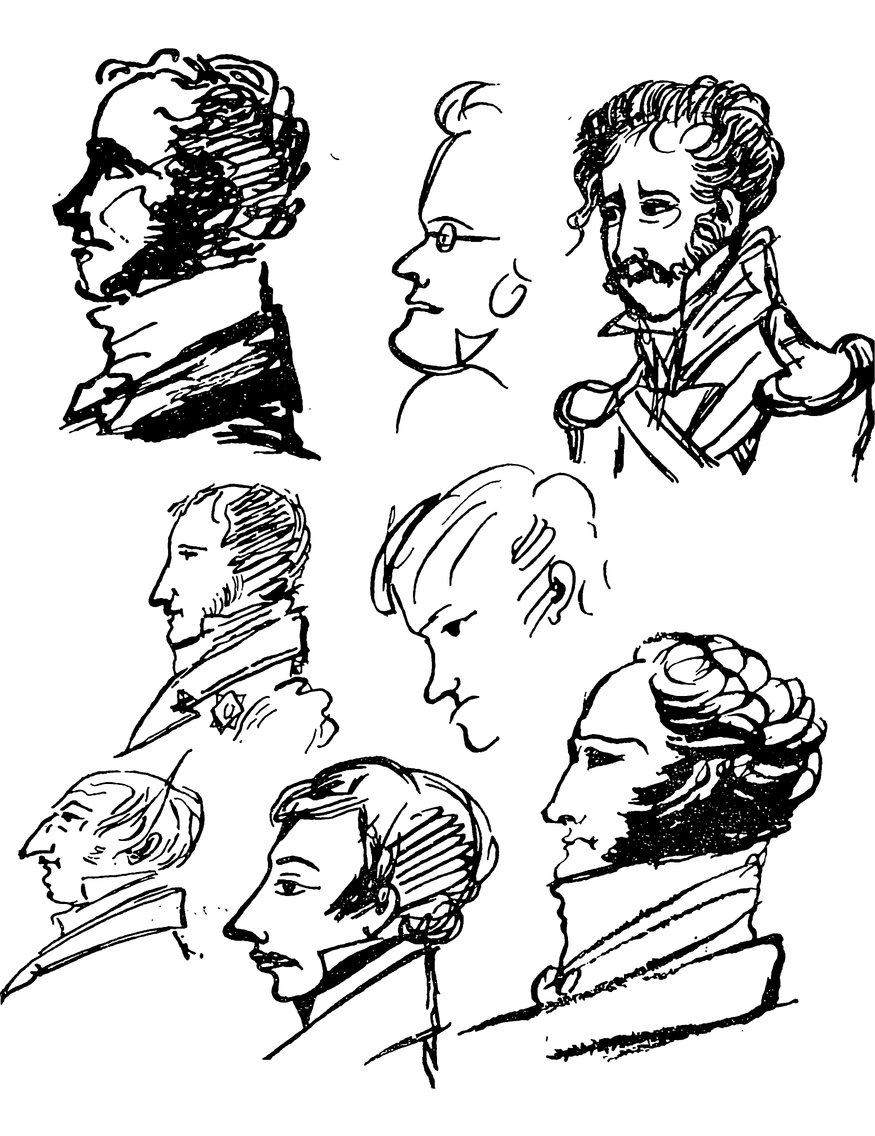


В. Ф. Шубин

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО ПЕТЕРБУРГА



Лениздат · 1985



Но все люблю, мои поэты,
Счастливый голос ваших лир.

А. С. Пушкин



ББК 83.3Р1
Ш95

Рецензент:
кандидат филологических наук С. А. Фомичев,
старший научный сотрудник
Института русской литературы
(Пушкинского дома) АН СССР

Ш $\frac{4603000000-227}{М171(03)-85}$ 163—85



Эта книга о восемнадцати поэтах, жизнь и творчество которых развертывались в пушкинском Петербурге, как принято называть Петербург первой трети XIX века — блистательного периода в истории русской литературы, освещенного именем Пушкина. О влиянии Пушкина на современную ему поэзию ярко и образно сказал Гоголь: «Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных,— точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг него образовалось их целое созвездие...»
Пушкинский поэтический огонь давал живительные силы для творчества поэтам-современникам. Но влияние в нередких случаях было взаимным.

Успехи и художественные открытия крупных поэтических индивидуальностей эпохи — недаром Гоголь употребил эпитет «самоцветные», подчеркивая тем оригинальность и самобытность многих поэтических «звезд»,— не прошли бесследно и для Пушкина.
На страницах этой книги перед читателем предстанут и те поэты, произведения которых вошли в золотой фонд русской поэзии, и те, кто занял в истории русской литературы более скромное место, но их творчество являлось неотъемлемой частью литературного процесса, сохранив до наших дней историческую и эстетическую ценность.
Поэтические имена, представленные в книге, дают возможность современному читателю, интересующемуся историей русской поэзии, понять расстановку общественных и литературных сил пушкинской эпохи, познакомиться с ее идейной борьбой, с ее устремлениями и исканиями.
Книга состоит из глав, объединяющих поэтов по принадлежности к различным идейным направлениям и хронологическим этапам литературно-художественной жизни.
Главы «Союз поэтов», «В „дружине славян"», «Соревнователи просвещения» и «Рыцари „Полярной звезды"» посвящены литературным группировкам, сложившимся в преддекабрьскую пору — время национального подъема после победы в Отечественной войне 1812 года, когда, по словам В. И. Ленина, «лучшие из русских дворян»

взяли на себя почин в борьбе против отжившего феодально-крепостнического строя. В те годы невиданный взлет переживала русская культура. В литературе главенствующее место заняла поэзия. «Герои» названных глав — В. К. Кюхельбекер, А. А. Дельвиг, Е. А. Баратынский, П. А. Катенин, А. С. Грибоедов, Ф. Н. Глинка, Н. И. Гнедич, П. А. Плетнев, В. И. Туманский, В. Н. Григорьев, К. Ф. Рылеев и А. А. Бестужев (Марлинский) — были ведущими участниками литературного процесса.

Завершающие главы — «Вокруг Пушкина» и «Поэты „Библиотеки для чтения"» — посвящены литературной жизни Петербурга последекабрьской поры, когда самодержавие, жестоко подавив восстание на Сенатской площади, направило свою внутреннюю политику на искоренение идей свободолюбия, когда многие литераторы, открещиваясь от своих прежних либеральных взглядов, встали на консервативные позиции. В те же годы вокруг Пушкина происходило сплочение поэтов и писателей, боровшихся за прогрессивную и подлинно талантливую литературу, за сохранение достижений передовой социальной и литературной мысли. Некоторым из них — Д. В. Веневитинову, И. И. Козлову, П. А. Вяземскому — посвящена глава «Вокруг Пушкина». В той же главе читатель вновь встретится с Дельвигом, рассказ о котором начался в первой главе. Такое разделение повествования

вызвано необходимостью дать и полный «портрет» сложившегося в конце 1810-х годов «союза поэтов» и показать роль и место Дельвига в литературно-общественной борьбе второй половины 1820-х годов.

Глава «Поэты „Библиотеки для чтения"» объединяет трех представителей русского романтизма 1830-х годов — В. Г. Бенедиктова, А. В. Тимофеева и Н. В. Кукольника, ведущих сотрудников журнала «Библиотека для чтения», который ориентировался в основном на мещанско-чиновничью среду, далекую от передовых общественных интересов.

Рядом с поэтами — героями этой книги читатель встретит на ее страницах В. А. Жуковского, Н. М. Карамзина и других замечательных поэтов и писателей — современников Пушкина.

Автор выражает глубокую признательность старшему научному сотруднику Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР Янине Леоновне Левкович за научное консультирование, за ценные указания и советы, которые помогли ему в работе над книгой.



„СОЮЗ ПОЭТОВ“

Так! не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый...

В. К. Кюхельбекер

9 июня 1817 года в торжественной обстановке выпускники Царскосельского Лицея исполнили прощальную песню на слова Антона Дельвига:

Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж Отечества призванье
Гремит нам: шествуйте, сыны!

Двадцать девять юношей, каждый со своими мечтами и планами, вступали в новую жизнь. Многие уже выбра-

ли свой путь. Одни мечтали о морской службе, другие — о дипломатической, третьи — о военной. Пушкин же перед выпуском писал о себе:

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие моих творений.

Вместе с Пушкиным предпочтение литературному труду с лицейского времени отдали два его друга — Дельвиг и Кюхельбекер. Их имена, как и имя Пушкина, были уже знакомы русскому читателю. Их таланты уже проявились в дружной лицейской атмосфере поэтического соревнования.

Оба они вышли из небогатых дворянских семей немецкого происхождения. Оба родились в России: Дельвиг в 1798 году в Москве, где его отец, лифляндский барон, служил плац-майором, Кюхельбекер — годом раньше в Петербурге, где в ту пору отец его был управляющим Каменным островом. Кюхельбекер писал о себе: «...я по отцу и матери точно немец, но не по языку — до шести лет я не знал ни слова по-немецки, природный мой язык — русский: первыми моими наставниками в русской словесности были моя кормилица Марина да нянюшки мои Корниловна и Татьяна». Русский язык, русская культура стали той питательной почвой, на которой выросли оба эти поэта.

Вместе с товарищами пережили они в Лицее «грозу» 1812 года. «Время незабвенное!..— вспоминал Пушкин.— Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!*» Кюхельбекер хотел уйти из Лицея и встать в ряды защитников России. Только категорический запрет матери заставил его отказаться от своего намерения. Дельвиг выразил свои патриотические чувства в стихах: под впечатлением вступления в Москву французов он сложил «Русскую песню» — первое из дошедших до нас его произведений.

Кюхельбекер заметно выделялся среди товарищей и глубиной познаний, и многогранностью интересов. Юноша увлекался восточной литературой и античностью, философией и немецкой поэзией, языками — недаром Пушкин назвал его однажды «живым лексиконом и вдохновенным комментарием». Стихи он начал писать в раннем возрасте. Разделяя с друзьями увлечение французской поэзией, а также новейшей русской литературой — Жуковским, Батюшковым,— он в то же время внимательно изучал поэтов немецкого классицизма, интересовался и забытыми стихотворцами. Мотивы его лицейского творчества восходят к Клопштоку и Юнгу, Ширинскому-Шихматову и Боброву. Некоторые литературные пристрастия Кюхельбекера воспринимались в лицейской среде как чудачество. А стихи его, отличающиеся подчас длиннотами, тяжеловесностью, не раз становились предметом дружеских пародий. Впрочем, мнения разделялись: так, Иван Пущин на всю жизнь сохранил уверенность в незначительности литературного дарования друга, а по мнению Модеста Корфа, Кюхельбекер среди лицейских поэтов «едва ли стоял не выше Дельвига и должен был занять место непосредственно за Пушкиным».

Виля, или Кюхля, как называли его однокашники, и по внешности и по манерам казался чудаковатым: высок ростом, худ, руки — длинные, на ухо — туговат, порой неуемно восторжен и вспыльчив, порой обидчив из-за пустяка. Неудивительно, что на лицейской скамье он стал главным объектом шутливых розыгрышей. Чудаковатость — курьезная внешность, парадоксальность суждений, кажущийся сумасбродным характер — и после Лицея будет всегда обращать на себя внимание. Не всем удастся рассмотреть за ней незаурядные способности, богатые знания, благородство, отзывчивость и доброту души, сполна оцененные некоторыми лицейскими друзьями, прежде всего Пушкиным. Среди тех, кто позднее узнал и полюбил Кюхельбекера,— Грибоедов и Бара-

тынский. Грибоедов увидел в Кюхельбекере богатейшую личность, сочетающую в себе талант и самоотверженную рыцарскую душу,— личность, черты которой помогли ему в создании образа Чацкого. Баратынский находил, что Кюхельбекер некоторыми качествами близок Жан-Жаку Руссо: «Он с большими дарованиями, и характер его очень сходен с характером женевского чудака: та же чувствительность и недоверчивость, то же беспокойное самолюбие, влекущее к неумеренным мнениям, дабы отличиться особенным образом мыслей; и порою та же восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести на жертву».

Юноша с свежей душой выступает на поприще жизни,
Полный пылающих дум, дерзостный в гордых мечтах;
С миром бороться готов и сразить и судьбу и печали!

В этих строках, написанных Кюхельбекером уже после окончания Лицея, видится он сам — прекрасный юноша на пороге «поприща жизни». Он рвется в бой. Он готов к трудностям. Свежесть души, огромная жизненная сила, дерзость в мечтах — его крылья.

Другим представляется Дельвиг. Рядом с Кюхельбекером он казался спокойным и, пожалуй, даже флегматичным. Он был склонен к неторопливым беседам и тихим прогулкам по аллеям Царского Села, во время которых при нем почти всегда был томик стихов. Лучшие стихотворения русских поэтов он помнил наизусть. С Кюхельбекером читал книги античных и немецких авторов.

В печати стихи Дельвига появились впервые в 1814 году, когда ему было шестнадцать лет. В журнале «Вестник Европы» за подписью «Русский» была опубликована ода «На взятие Парижа». Пушкин вспоминал, что стихи «привлекли внимание одного знатока, который, видя произведения нового неизвестного пера, уже носящие на себе печать опыта и зрелости, ломал себе голову, стараясь угадать тайну анонима». В Лицее определились

два литературных пристрастия Дельвига: стихи в духе античных поэтов и русских народных песен. Верность им он сохранил на протяжении всего творческого пути.

С восторгом Дельвиг-лицеист следил за литературными успехами Пушкина:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.

Эти стихи появились в печати, когда Пушкину было всего шестнадцать лет. Дельвиг пророчески возвещал о бессмертии друга. А через год он писал о Пушкине как прямом наследнике умершего Державина:

Державин умер! чуть факел погасший дымится,
о Пушкин!
О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают!
. . . .
Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто,
Пушкин?!
Кто пламенный, избранный Зевсом еще в колыбели,
счастливец,
В порыве прекрасной души ее свежим венком увенчает?
Молися каменам! и я за друга молю вас, камены!
Любите младого певца, охраняйте невинное сердце,
Зажгите возвышенный ум...

В Лицее Пушкин и его друзья приобщились и к передовым общественным настроениям, все более набиравшим силу после победы в Отечественной войне. Лицеисты дружили с офицерами лейб-гвардии Гусарского полка (стоявшего в Царском Селе), связанными со «Священной артелью», предшественницей декабристских революционных союзов. С ними, своими старшими товарищами, обсуждали они отсталость страны, бесправное положение крестьянства и многое, многое другое, что волновало в те годы передовые умы России.

В июне 1817 года друзья расстались с Царским Селом. Через несколько месяцев, вспоминая недавнее прошлое, Кюхельбекер писал:

Места прелестные, где возвышенных муз,
И дивный пламень их, и радости святые,
Порыв к великому, любовь к добру — впервые
Узнали мы, и где наш тройственный союз,
Союз младых певцов, и чистый и священный,
Всесильным навыком и дружбой заключенный,
Был братскою каменой укреплен!

Вскоре они единодушно приняли в свой «союз» еще одного поэта — Евгения Баратынского.

В основе этого товарищества не было единства литературных взглядов, молодых поэтов соединял «порыв к великому» — пламенная любовь к литературе, столь же сильное чувство любви к отечеству, искренность и верность в дружбе. Эти идеалы, приобретенные на заре жизни, скрепили их союз, воспетый Кюхельбекером:

Свободный, радостный и гордый,
И в счастье и в несчастье твердый,
Союз любимцев вечных Муз!

Вильгельм Карлович Кюхельбекер

По окончании Лицея Вильгельм Кюхельбекер вместе с Пушкиным определился в Коллегию иностранных дел. Однако служба «по дипломатической части» не привлекала его. Еще в Лицее он мечтал об учительстве в провинции. Мечта сбылась: с сентября 1817 года Кюхельбекер стал преподавать российскую словесность, но не в провинции, а в самой столице — в средних классах Благородного пансиона при Главном педагогическом институте (через два года институт был преобразован в университет и пансион стал числиться при университете). Коллегами молодого учителя стали его бывшие лицейские на-

ставники А. И. Галич и А. П. Куницын, а среди учеников оказались младший брат Пушкина Лев, будущий композитор Михаил Глинка, Сергей Соболевский (позднее приятель Пушкина и известный библиофил). Благородный пансион находился на западной окраине города, почти в устье Фонтанки, у Старо-Калинкинского моста (ныне набережная Фонтанки, 164)[1].

Кюхельбекер поселился в мезонине главного корпуса пансиона с тремя воспитанниками, одним из которых был М. Глинка. Из окон его комнаты открывался прекрасный вид на Финский залив и Кронштадт. Вечером он приглашал к себе учеников. Чаевничая и любуясь заходящим в море солнцем, они беседовали, восхищаясь ученостью своего любимого наставника. Вот что писал позднее один из воспитанников пансиона Николай Маркевич: «Кюхельбекер был очень любим и уважаем всеми воспитанниками. Это был человек длинный, тощий, слабогрудый; говоря, задыхался; читая лекцию, пил сахарную воду». По мнению Маркевича и его товарищей, Кюхельбекер — «благороднейшее, добрейшее, чистейшее существо».

Увлеченно, с жаром знакомил он своих питомцев с русской литературой, раскрывая перед ними красоты поэзии Державина, Жуковского, Батюшкова. На уроках он читал ученикам новые стихи Пушкина, Дельвига и, конечно, свои произведения. Собственные стихи, как вспоминал Маркевич, Кюхельбекер читал «очень дурно... визжал и задыхался». Но зато в глазах воспитанников он был «превосходный ценитель литературных произведений. Это была школа очищенного вкуса».

Помимо любви к литературе Кюхельбекер старался привить ученикам и передовые общественные взгляды.

---

[1] В большинстве современных книг, связанных с данной темой, указывается, что здание Благородного пансиона не сохранилось. Однако оно не только сохранилось, но и в основных чертах внешне не изменилось. До нас не дошли лишь хозяйственные постройки и сад (ИРЛИ, ф. 488, оп. 1, ед. хр. 82).

«Мысль о свободе и конституции была в разгаре,— писал Маркевич.— Кюхельбекер ее проповедовал на кафедре русского языка». Однажды, по словам Маркевича, «он вне себя прибежал с „Опытом теории о налогах" Тургенева». Книга одного из виднейших деятелей Союза благоденствия Н. И. Тургенева, вышедшая в Петербурге весной 1818 года и положившая начало финансовой науке в России, с первых же строк поражала сочувствием автора крепостному крестьянству. Можно представить, с каким волнением читал Кюхельбекер своим ученикам такие, например, строки из нее: «Занимающийся политическою экономиею... невольно привыкает ненавидеть всякое насилие... Он приучается любить правоту, свободу, уважать класс земледельцев». Кюхельбекер приносил в пансион не только вышедшие из печати произведения, но и ходившие по рукам в списках. Среди них были и гражданские стихи Пушкина.

В те годы стихи самого Кюхельбекера печатались почти во всех крупных журналах. Но его литературная позиция еще не сложилась окончательно — поэт словно находился на перепутье. И в его творчестве, и в его критических выступлениях было немало подражательности. По примеру Жуковского и Батюшкова Кюхельбекер писал элегии и послания. Однако, следуя за Катениным и Ширинским-Шихматовым, он отказывался от легкости, элегической меланхоличности, вводя в лирический жанр высокий стиль и устаревшую и просторечную лексику. Поэт не все мог объяснить и отстоять в своих взглядах, но это не мешало ему горячо их защищать. Когда его не понимали или, еще хуже, подшучивали над ним, он обижался. Особенно болезненно воспринимал шутки друзей и в порыве вспыльчивости мог даже бросить обидчику вызов. Так произошла у него однажды ссора с Пушкиным.

О причине ее современники вспоминали следующее: Жуковский как-то рассказал Пушкину, что не смог пойти

к кому-то на званый вечер, потому что у него болел живот, да к тому же зашел Кюхельбекер и заговорил его. Через некоторое время до Кюхельбекера дошла пушкинская эпиграмма:

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И *кюхельбекерно* и тошно.

Что стало с Кюхельбекером, когда он услышал эпиграмму! Успокоить его могла только месть. И не чернилами, а кровью!

В рассказы современников о поэте вкралось немало анекдотических вымыслов. Не лишена их, по-видимому, и история этой дуэли. Журналист и литератор Н. И. Греч писал, что во время поединка пистолеты, незаметно для Кюхельбекера, зарядили... клюквой. Маркевич же сообщал иные, не менее анекдотические подробности. По его версии, дуэль состоялась на Волковом поле в каком-то недостроенном фамильном склепе. Пушкина вся эта история забавляла, и он продолжал шутить над рассвирепевшим другом и во время поединка. Когда Кюхельбекер целился, Пушкин, подливая масла в огонь, небрежно бросил Дельвигу, секунданту противника: «Стань на мое место, здесь безопаснее». Кюхельбекер выстрелил и попал... в шляпу своего секунданта! Мир был скреплен общим дружным смехом.

В альбом Павлу Яковлеву Кюхельбекер с грустью написал о себе: «Он искренно любит друзей своих, но огорчает их на каждом шагу. Он во многом переменился и переменится, но в некоторых вещах останется одним и тем же. Его желание, чтобы друзья о нем сказали: он чудак, но мы охотно бываем с ним; мы осуждаем его за многое, но не перестаем быть к нему привязанными».

Друзья сохраняли к нему нечто большее, чем привязанность,— братскую любовь.

«Союз младых певцов» часто собирался в мезонине у Кюхельбекера. Пушкин, живший с родителями неподалеку на Фонтанке (теперь дом № 185), навещал в пансионе брата Льва и своего лицейского товарища. Приходили сюда также Пущин и Дельвиг. А когда к началу 1820 года Кюхельбекер перебрался в центр города на Конюшенную (ныне улица Желябова, дом не найден), то стали собираться и там. Маркевич, навещавший учителя и на новой квартире, вспоминал потом «превеселые часы», проведенные в обществе лицейских друзей Кюхельбекера, Чаадаева, Федора Глинки, брата Кюхельбекера Михаила и других. «В прелестных стихах и в умных критиках недостатка не было. Чай с московскими сухарями услаждал поэтов, и эти сухари, которые по лавочкам в банках продаются, мне всегда напоминают вечера в Конюшенной...» — писал Маркевич.

В 1819 году к «тройственному союзу», сложившемуся в Царском Селе, присоединился Евгений Баратынский. Любовь к музам привела в этот круг также поэта и критика Петра Плетнева. Молодую литературную группу с вниманием и участием встретило старшее поколение литераторов, и особенно Василий Андреевич Жуковский. Говоря словами Пушкина, прославленный русский певец стал «наперсником, пестуном и хранителем» музы молодых поэтов.

Двери квартиры Жуковского были широко открыты для поэтов различных поколений. В дом Брагина у Кашина моста на Крюковом канале, где Василий Андреевич жил в конце 1810-х годов (теперь Крюков канал, 11/43), на субботние литературные вечера, ставшие вскоре традиционными, приходили И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, К. Н. Батюшков. В кругу маститых поэтов Пушкин читал песни из поэмы «Руслан и Людмила», над которой работал. Дельвиг декламировал свои стихи и рассказывал о планах задуманных поэм. Слушатели восторгались его фантазией, однако потом выяснялось, что дальше планов

дело не шло. Свои первые стихи читал здесь и скромный Баратынский. Кюхельбекер выступал то внимательным слушателем, то горячим собеседником, то вдохновенным чтецом. И десятилетия спустя он будет вспоминать тот «благоговейный трепет», с которым впервые осматривал «святилище» одного из первых поэтов — «его книги, его кабинет»...

П. Плетнев, участник вечеров у Жуковского, на склоне лет говорил: «Вообще у нас в истории литературы то замечательно, что, начиная с Державина, истинные таланты всегда были соединены между собою дружбою. Таким образом, Державин любил и ободрял Карамзина и Дмитриева. Они поощряли первые опыты Жуковского. Все они... радостно приветствовали талант Пушкина, который, в свою очередь, почитал Гоголя. Таким образом, все наши первоклассные таланты составляли что-то общее, родственное, братское».

Линия литературной преемственности, отмеченная Плетневым, справедлива, но это лишь одна сторона сложного процесса литературного развития, в котором каждое молодое поколение, создавая новые ценности, неизбежно вступает в борьбу со своими предшественниками. Борьба — это преодоление влияния, стремление к самостоятельности, утверждение своих идеалов. Эстетические и общественно-политические взгляды литераторов пушкинского поколения не могли совпадать со взглядами Жуковского. Началась полемика: ученики стали выступать против своего учителя. Пушкин, впитавший поэтическую культуру Жуковского и уже в послелицейские годы переросший ее, пародировал в четвертой песне «Руслана и Людмилы» балладу Жуковского «Двенадцать спящих дев».

Это не помешало Василию Андреевичу по достоинству оценить новаторское творение Пушкина. «Победителю-ученику от побежденного учителя» — такую надпись сделал он на своем портрете, который подарил Пушкину

весной 1820 года. Жуковский был чутким учителем и с интересом прислушивался к идеям молодых друзей.

Василий Андреевич взял «союз поэтов» под свое крыло. Узнав, что Баратынский за провинность в Пажеском корпусе переведен рядовым в полк, он сразу начал хлопотать за него. А вскоре пришлось заступаться и за Пушкина, и за Кюхельбекера... Через всю жизнь пронесли они чувство глубочайшей благодарности своему старшему другу и заступнику. Кюхельбекер спустя много лет написал ему: «...горжусь воспоминаниями той дружбы, которой удостоивали вы меня с 1817 года. Вы ободрили меня при первых моих поэтических опытах; в начале моего поприща вы были мне примером и образцом...»

Кипучая жизнь столицы захватила молодых поэтов. Помимо литературных гостиных они посещали собрания обществ — Михайловского (Вольное общество любителей словесности, наук и художеств), Вольного общества любителей российской словесности («Ученая республика»), «Зеленой лампы». Кюхельбекер состоял еще и в Вольном обществе учреждения училищ (Ланкастерском) и вместе с Дельвигом входил в масонскую ложу «Избранный Михаил». Во многих обществах, с которыми был связан «союз поэтов», верховодили члены декабристского Союза благоденствия. Общение с передовыми, широко мыслящими людьми имело огромное значение для гражданского формирования и Пушкина и его друзей.

В то время Пушкин уже приобретал репутацию певца вольности. Его политические стихи, по словам Пущина, «везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть...». Правительство все внимательнее присматривалось к автору «возмутительных» сочинений, и для него близился час расплаты. «В самом Лицее царскосельском,— предупреждал власти осведомитель,— государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей... это доказывают почти все вышедшие оттуда. ...Все они свя-

зацы каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство...»

Ко времени написания этого доноса Баратынский уже был переведен в армейский полк, стоявший в Финляндии. Вскоре Александр I распорядился выслать в Екатеринослав (Днепропетровск) Пушкина. Сгустились тучи и над Кюхельбекером.

Одной из причин внимания к нему властей стало стихотворение «Поэты», которое автор прочитал на собрании «Ученой республики» в конце марта 1820 года. Это произошло вскоре после отъезда Баратынского и в то время, когда по Петербургу уже ходили упорные слухи о решении Александра I выслать Пушкина. Слухи были неопределенные — молва пророчила Пушкину то ли Сибирь, то ли Соловки. Стихотворение Кюхельбекера прозвучало гневным протестом против гонений:

О, Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких, и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?
Стадами смертных зависть правит;
Посредственность при ней стоит
И тяжкою пятою давит
Младых избранников харит.

Тема этого стихотворения — суровая участь поэтов, творчество которых подвержено осмеянию, гонениям,— стала со временем одной из главных в поэзии Кюхельбекера. Но в стихах, написанных им позднее, в заточении и ссылке, преобладают пессимистические ноты, а «Поэты» завершаются утверждением радости жизни и творческого труда:

О, Дельвиг! Дельвиг! что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых, вдохновенных дел,
И сладостного песнопенья!
Так! не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,

И в счастье и в несчастье твердый,
Союз любимцев вечных Муз!
О вы, мой Дельвиг, мой Евгений!
С рассвета ваших тихих дней
Вас полюбил небесный Гений!
И ты — наш юный Корифей,—
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филипа и Врана?—
Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времен.
О други! песнь простого чувства
Дойдет до будущих племен —
Весь век наш будет посвящен
Труду и радостям искусства...

После памятного для Кюхельбекера чтения «Поэтов» в «Ученой республике» власти получили донос, в котором обращалось их внимание и на другие произведения Кюхельбекера, Пушкина и Баратынского, в коих «безумная эта молодежь хочет *блеснуть* своим неуважением правительства».

Хотя Кюхельбекер и не знал о доносе, он чувствовал себя тревожно. Поэт писал Жуковскому: «До сих пор не знаю я, чем решится судьба моя. Вы можете себе представить, что беспрестанное волнение, неизвестность и беспокойство — состояние не слишком приятное». Вероятно, его вынудили подать в отставку. Жуковский, пытаясь ему помочь, предпринял хлопоты о преподавательском месте в Дерптском университете. «...Надежда отправиться в Дерпт,— писал ему Кюхельбекер,— удерживает меня искать других средств вырваться из несносного для меня Петербурга. Петербург для меня несноснее, чем когда-нибудь: я в нем не нахожу никаких наслаждений, а на каждом шагу встречаю неприятности и огорчения». Но вскоре представился другой выход. Дельвиг получил предложение от вельможи А. Л. Нарышкина сопровождать его в заграничном путешествии в качестве «секретаря и собеседника». Вместо себя Дельвиг порекомендовал

друга. Отъезд за границу давал Кюхельбекеру возможность переждать «непогоду», а кроме того, открывал заманчивую перспективу знакомства с Италией, Германией, Францией.

Отставка Кюхельбекера взволновала воспитанников пансиона. По-видимому, Лев Пушкин сообщил им обстоятельства увольнения. В знак протеста они устроили «бунт»: при появлении на пороге класса нового учителя погасили свечи и «производили шум». Узнав о предстоящем отъезде попавшего в немилость наставника, Лев Пушкин, Соболевский и их однокашник Глебов пришли к нему проститься и попросили на память по пряди его волос. Кюхельбекер был растроган...

8 сентября 1820 года он выехал в свите Нарышкина из Петербурга. Этот день открывал новую страницу его жизни.

* * *

Европейские странствия оказались богаты событиями и впечатлениями. Самыми незабываемыми, наверное, стали для Кюхельбекера беседы в Веймаре с Гете, в память которых великий немецкий поэт подарил молодому петербуржцу свою книгу «Маскарадное шествие», надписав: «Господину фон Кюхельбекеру на добрую память. Гёте. Веймар, 23 ноября 1820 г.».

Проехав Германию и Италию, путешественники в марте 1821 года прибыли в Париж. Там в обществе «Атеней» (Академическое общество наук и искусств) Кюхельбекер выступил с лекциями о русском языке и литературе. Признавая язык душой народа, он сразу подчеркнул, что история языка неотделима от истории «политических изменений этого народа». От лица оппозиционной России он публично осудил крепостное право и самодержавие. «Под эгидой чести и гостеприимства французской нации,— говорил Кюхельбекер,— я могу без боязни провозглашать эти истины, равно и живо чувствуе-

мые всеми, кто в разных странах Европы предпочитает свободу — рабству, просвещение — мраку невежества, законы и гарантии — произволу и анархии». С болью говорил он о крепостничестве: «Сердце мое обливается кровью и голос изменяет мне, когда я оплакиваю это несчастие моей родины...»

До Петербурга дошли слухи о парижских лекциях Кюхельбекера, приправленные, как всегда, курьезными подробностями и просто выдумками. Говорили, что лектор настолько увлекался и так энергично размахивал руками, что однажды упал с кафедры. Рассказывали также, будто вместо стакана с водой он рассеянно схватил лампу, облился маслом и т. п. Смакуя эти подробности, салонные остряки не замечали или не хотели замечать, что в парижских лекциях Кюхельбекер обнаружил передовые взгляды, глубокие знания, ум и огромный общественный темперамент.

Впрочем, кое-кого в Петербурге выступления Кюхельбекера все-таки насторожили, и к Александру I со временем поступил анонимный донос. Да и «патрон» Кюхельбекера Нарышкин остался крайне недоволен деятельностью своего секретаря и там же, в Париже, отказался от его услуг. А затем вмешалось русское посольство — поэту велено было вернуться на родину.

На исходе лета 1821 года Кюхельбекер снова оказался в Петербурге. Но надеяться на службу здесь после парижской «истории» не приходилось. Стараниями друзей удалось получить место на Кавказе у генерала А. П. Ермолова, и в сентябре Кюхельбекер выехал в Тифлис.

Друзья внимательно следили за ним. Его литературные выступления вызывали живой интерес, его жизнь, преисполненная всяких неожиданностей,— сочувствие и тревогу. «Ах, Кюхельбекер! Сколько перемен с тобою в два-три года!» — писал другу Дельвиг. Но и в Грузии Кюхельбекер долго не задержался. Ссора и дуэль с род-

ственником Ермолова вынудили его искать пристанища в другом месте. Петербург — Тифлис — Смоленская губерния — Москва — вот география российских странствий Кюхельбекера в 1821—1825 годах. Все это время он неустанно занимался литературой, в Москве издавал альманах. Его занятия направлял и поощрял А. С. Грибоедов, ставший учителем и другом. Они сблизились в Тифлисе.

Весной 1825 года Кюхельбекер вновь вернулся в Петербург. Зная, что в столице уже несколько месяцев находится Грибоедов, он сразу бросился его разыскивать. Тот жил у своего родственника, конногвардейского офицера Александра Одоевского, квартировавшего недалеко от полкового манежа на Исаакиевской площади (теперь дом № 7). Тут вечерами в обществе молодежи, преимущественно офицеров, Грибоедов читал по рукописи «Горе от ума». Читал не спеша: слушатели под его диктовку записывали комедию. То и дело чтение прерывали смехом, меткими замечаниями, рукоплесканием. Обсуждая комедию, незаметно начинали спорить о политике, поэзии, истории, театре, и Кюхельбекер не мог не отметить, что за время его отсутствия политические взгляды столичной молодежи стали смелее, решительнее.

Сразу приглянулся Кюхельбекеру хозяин квартиры — двадцатидвухлетний Александр Одоевский. Его молодость и привлекательная внешность счастливо дополнялись замечательным умом и разносторонними знаниями. Одоевский писал стихи, но читал их только самым близким. Кюхельбекер сразу подружился с ним. О своем новом товарище он сообщал матери: «...чем более узнаю этого человека, тем более он выигрывает в моем мнении: это как бы прекрасный отрывок из Виргилия, в котором открываешь все новые красоты при каждом чтении».

Не забывал Кюхельбекер и старых друзей — Плетнева, Дельвига. У Плетнева бывал на литературных вечерах. Однажды — это было в апреле, вскоре после приезда

Кюхельбекера,— Лев Пушкин читал у Плетнева поэму брата «Цыганы». Рылеев, присутствовавший там же, внимательно наблюдал за Кюхельбекером. Через несколько дней он сообщал ссыльному Пушкину: «...прочитаны были твои «Цыгане». Можешь себе представить, что делалось с Кюхельбекером. Что за прелестный человек, этот Кюхельбекер. Как он любит тебя! Как он молод и свеж». Рылеев увидел в Кюхельбекере человека, во многом близкого себе — решительного, жаждущего борьбы за справедливость. Его привлекали и литературные взгляды Кюхельбекера. С этого времени их часто можно было видеть вместе.

Кюхельбекер не мог найти службы и оказался, как обычно, в крайне стесненных денежных обстоятельствах. «Шиллер говорит,— писал он как-то Жуковскому,— что муза для иных божественная, небесная дева, а для других — корова, снабжающая их молоком и маслом. Признаюсь вам искренно, что (разумеется, на минуту) я охотно бы променял небесную деву на земную корову. Деньги! деньги! Жить воздухом не может даже самый эфирный поэт». Отсутствие денег печалило тем более, что оказалось преградой к женитьбе, а поэт был влюблен.

Впервые Авдотью Тимофеевну Пушкину — так звали полюбившуюся девушку — он увидел в Смоленской губернии, в имении сестры. Вскоре он обратился к своей матери, прося ее согласия на брак. Но поскольку ни он, ни невеста не имели достаточных средств, мать посоветовала отложить свадьбу до лучших времен. Три года, вплоть до 1825-го, она так и откладывалась на будущее. А когда позднее, из Сибири, Кюхельбекер позвал возлюбленную к себе, она не решилась на этот шаг...

В конце мая 1825 года Кюхельбекер жил, по-видимому, вместе с Грибоедовым у Одоевского. Это были последние дни их общения: подходил к концу отпуск Гри-

боедова и приближался декабрь 1825 года, разлучивший их навсегда.

В начале июня появилась возможность несколько поправить денежные дела: журналисты Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч предложили Кюхельбекеру редакторскую работу, пообещав издать собрание его сочинений. Греч издавал журнал «Сын отечества», Булгарин — «Северный архив» и «Литературные листки». Оба знали свое дело, были энергичны, предприимчивы, имели широкие литературные связи, в том числе и в среде передовых писателей. Кюхельбекер, как и многие, видел проявления беспринципности в мнениях и поступках Булгарина, но едва ли мог предугадать, что эта черта станет у него определяющей после событий 14 декабря. Незадолго до приезда в Петербург Кюхельбекер вел с Булгариным литературную полемику в печати, поэтому предложенное сотрудничество его не очень прельщало, да и работа предлагалась, что называется, черная. Но выбирать не приходилось. К тому же Греч любезно предложил поселиться у него в квартире до конца лета, пока семья на даче. 10 июня Кюхельбекер сообщал матери о своем новом положении: «Я вошел в компанию теперь с Гречем и Булгариным — некогда моими противниками. Живу вместе с Гречем в доме Косиковского, на Большой Морской» (дом № 15 на углу Невского проспекта и улицы Герцена).

Осенью Кюхельбекер перебрался на Исаакиевскую площадь к Одоевскому. Тот уже состоял членом Северного общества. В конце ноября Рылеев принял в общество и Кюхельбекера. Акт был чисто формальный, так как в обществе его давно считали своим.

В ту предгрозовую осень 1825 года в Михайловском о друге вспоминал Пушкин. В лицейскую годовщину, 19 октября, он обратился к Кюхельбекеру в стихах:

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,

И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся — но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?..

И тогда же, словно предчувствуя новые беды и напасти в судьбе «брата родного», Пушкин в одной из своих тетрадей записал:

Кюхельбекеру

Да сохранит тебя твой добрый гений
Под бурями и в тишине.

Но дружеское напутствие до адресата не дошло. Смерть Александра I и наступившее междуцарствие вызвали сильное возбуждение в Северном обществе. По словам одного из его членов, девизом этих дней стали для них слова: «Теперь или никогда». 14 декабря, утром, в день восстания, Рылеев запиской вызвал Кюхельбекера к себе. Оттуда, наняв извозчика, Кюхельбекер отправился в Морской экипаж и Московский полк. Он спешил узнать обстановку в казармах и присоединиться к товарищам на Сенатской площади, в нетерпении торопил извозчика, ругая его «дурную и старую лошадь». У Синего моста сани опрокинулись, и он оказался в снегу. Не узнав ничего толком в казармах, Кюхельбекер, вооруженный одним из пистолетов Одоевского, появился на Сенатской. Он был возбужден — движения порывисты, мысли дерзки. При появлении великого князя Михаила Павловича (брата Николая I) Кюхельбекер пытался в него стрелять, затем стрелял в генерала Воинова. В конце этого трагического дня он порывался остановить солдат, бежавших от царской картечи...

Вечером, когда восставшие были рассеяны, переодевшись в платье дворового человека, Кюхельбекер бежал из Петербурга. Но попытка бегства не удалась. Булгарин представил полиции приметы своего недавнего сотруд-

ника: «...росту высокого, сухощав, глаза навыкате, волосы коричневые, рот при разговорах кривится, бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловат и ходит немного искривившись, говорит протяжно». По ним беглец был опознан в Варшаве, схвачен и возвращен в столицу.

* * *

«Суров и горек черствый хлеб изгнанья...» — этот стих, переведенный Кюхельбекером из «Божественной комедии» Данте, может служить эпиграфом к рассказу о последующих двадцати годах его жизни. Десять из них он провел в одиночных камерах различных крепостей, а потом еще столько же в Сибири на поселении. В Сибири было ненамного лучше, чем в крепостях. Он прозябал в нищете, болел. Не оправдала надежд на счастье и женитьба на простой, малообразованной девушке, которая была духовно далека от поэта. «Если бы я не был поэтом,— писал Кюхельбекер племяннику,— я едва ли мог бы перенести мое бедное, отравленное всякого рода горестями бытие». «Поэтом же,— говорил он в другом письме,— надеюсь остаться до самой минуты смерти, и, признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не поколебался: горесть, неволю, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею я предпочел бы счастию без нее». В спасительной силе творческого труда поэт убедился на собственном жизненном опыте.

Нет! Не страшусь убийственных объятий
Огромного несчастья: рок, души!
Ты выжмешь жизнь, не выдавишь души...

Даже в Петропавловской крепости, во время следствия, Кюхельбекер не отложил пера. Тогда он начал новую поэму «Давид» — словно спешил исполнить важный для себя замысел, не будучи уверен, что останется жив.

В последующие годы он написал очень много — лирические стихотворения, поэмы, драмы, романы, статьи. Он занимался переводами, вел дневник. Но лишь незначительная часть созданного дошла до читателей в те годы. Пушкину и Дельвигу анонимно удалось напечатать несколько его стихотворений и статью «Мысли о Макбете». Пушкин выхлопотал разрешение на публикацию, также анонимную, двух книг Кюхельбекера — «Ижорский» и «Русский Декамерон». По иронии судьбы «Ижорский» был отпечатан в типографии III отделения (то есть политической полиции).

Кюхельбекер пользовался малейшей возможностью, чтобы переслать из заточения друзьям весточку, свои рукописи. «Любезные друзья и братья, поэты Александры!.. Пересылаю вам некоторые безделки, сочиненные мною в Шлиссельбурге»,— писал он в 1828 году Пушкину и Грибоедову. А за год перед тем счастливая случайность позволила ему свидеться с Пушкиным. Это произошло на одной из почтовых станций, при смене лошадей. Пушкин ехал из Михайловского, а Кюхельбекера везли из Шлиссельбурга. Встреча невероятная! Они даже не сразу узнали друг друга. Когда же бросились в объятья, жандармы с угрозами и ругательствами поспешили их разнять. Кюхельбекеру сделалось дурно. Ему дали воды и тотчас увезли.

Друзья — «лицейские, ермоловцы, поэты»,— несмотря на расстояние, были поддержкой и утешением. И тем страшнее, горше было их терять. Одним из первых погиб Грибоедов. Кюхельбекер не раз видел его во сне, запомнил «пронзительный взгляд и очки»...

Лицейские, ермоловцы, поэты,
Товарищи! Вас подлинно ли нет?..

«Пережить всех — не слишком отрадный жребий! — писал он в день рождения Пушкина в 1840 году.— Высчитать ли мои утраты? Гениальный, набожный, благо-

родный, единственный мой Грибоедов; Дельвиг умный, веселый, рожденный, кажется, для счастия, а между тем несчастливый; бедный мой Пушкин, страдалец среди всех обольщений славы и лести, которою упояли и отравляли его сердце...»

Дружбе и поэзии Кюхельбекер остался верен до конца. На смертном одре, больной, почти ослепший, он думал в первую очередь о судьбе своих трудов. «Мои дни сочтены...— писал он Жуковскому.— Говорю с поэтом, и, сверх того, полуумирающий приобретает право говорить без больших церемоний: я чувствую, знаю, я убежден совершенно, точно так, как убежден в своем существовании, что Россия не десятками может противоставить европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне... эту мою гордую выходку! Но, право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все, все, мною созданное, вместе со мной погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок!»

Через два месяца, 11 августа 1846 года, в Тобольске, в возрасте сорока девяти лет Кюхельбекер скончался. Жуковский не в силах был помочь в публикации его произведений, и только в 1870—1880-х годах немногие стихотворения Кюхельбекера, исковерканные купюрами, были напечатаны в журнале «Русская старина», а в 1880 году в Германии вышли его «Избранные стихотворения». В России первый сборник произведений Кюхельбекера появился в серии «Библиотека декабристов» в 1908 году. Однако еще долгое время Кюхельбекер-писатель оставался и малоизвестен и малоизучен. Только в 1920—1930-х годах стали выходить работы о нем, публиковаться неизданные его произведения. В «возвращении» поэта-декабриста к читателям велика заслуга Ю. Н. Тынянова, в результате исследовательской работы которого Кюхельбекер занял заслуженное место в истории русской литературы, а роман «Кюхля» сделал его личность широкоиз-

вестной. В наши дни, располагая двумя изданиями стихотворного наследия Кюхельбекера в серии «Библиотека поэта», академическим изданием его прозы, дневника и критических статей в серии «Литературные памятники», а также рядом других изданий, мы можем сказать, что до нас дошел голос глубокого и своеобразного писателя и поэта пушкинской поры.

Антон Антонович Дельвиг

Выйдя из Лицея, Дельвиг несколько месяцев провел у родителей в Малороссии, а весной 1818 года вернулся в столицу и поселился в Троицком переулке (теперь улица Рубинштейна, номер дома не установлен). Квартиру он снимал с Павлом Яковлевым, старшим братом своего лицейского товарища Михаила Яковлева, живым и одаренным молодым человеком.

Дельвиг слыл за домоседа, и лицейские чаще всего сходились у него. Шумно и весело бывало на этих вечеринках: каждый приносил свои новости, спешил поделиться своими впечатлениями — ведь они только вступали в жизнь. Неизменно разговор сводился к Лицею, связавшему их узами братства. Вспоминая былое, часто смеялись от души: на многое теперь смотрели другими глазами. Как и в Лицее, читали много стихов и пели любимые песни. Дельвиг, обладавший неплохим голосом, начинал, а товарищи подхватывали его «Застольную песню» — лицейский гимн дружбе, любви, товарищескому застолью:

Други, други! радость
Нам дана судьбой,
Пейте жизни сладость
Полною струей.
Прочь от нас печали,
Прочь толпа забот!
Юных увенчали
Бахус и Эрот...

Павел Яковлев, приглядываясь к гостям, то и дело брал в руки перо или карандаш и делал шутливые зарисовки и портреты. Остроумие и веселость, казалось, никогда не покидали его. Они искрились не только в его рисунках и разговоре, но и в появлявшихся в печати статьях, очерках, фельетонах. Яковлев завел альбом, и друзья с удовольствием заполняли его стихами, изречениями или шутками. Одним из первых оставил в альбоме автограф Дельвиг — записал свое стихотворение «Моя хижина», которое не раз читал гостям:

А вы, моих беспечных лет
Товарищи в весельи, в горе,
Когда я просто был поэт
И света не пускался в море —
Хоть на груди теперь иной
Считает ордена от скуки —
Усядьтесь без чинов со мной,
К бокалам протяните руки,
Лицейские песни запоем.
Украдем крылья у веселья,
Поговорим о том, о сем,
Красноречивые с похмелья!..

В компании с Павлом Яковлевым Дельвиг прожил недолго. По-видимому, уже в 1819 году он квартировал со своим новым товарищем Баратынским в Пятой роте Семеновского полка (ныне Рузовская улица, дом не сохранился). Позднее, вплоть до женитьбы осенью 1825 года, он жил в доме Кувшинникова на Загородном проспекте (снесен, занимал участок нынешнего дома № 9).

Несмотря на титул барона, доставшийся от предков, Дельвиг не был богат, так как родители его не имели состояния. Поэтому ему пришлось сочетать литературные занятия со службой в департаменте горных и соляных дел. Чем занимался он там, а потом в министерстве финансов, куда перешел в апреле 1819 года, сказать трудно. Его биографу В. П. Гаевскому довелось позднее бе-

седовать с бывшими сослуживцами поэта. Те помнили Дельвига как прекрасного товарища, доброго малого, забавного рассказчика, но чиновником он был, по их словам, беспечным до последней степени. Однако со временем Дельвиг смог найти службу по душе — в Императорской Публичной библиотеке.

Попасть в штат сотрудников библиотеки было нелегко, и Дельвиг согласился исполнять обязанности помощника библиотекаря русского фонда безвозмездно. С 1 сентября 1820 года почти ежедневно он стал приходить в здание библиотеки на углу Невского проспекта и Садовой улицы (теперь Невский проспект, 37 — Государственная Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Библиотека, основанная в 1795 году, была торжественно открыта для публики 2(14) января 1814 года «в пользу всех любителей учености и просвещения», как гласило газетное сообщение. «Новейший путеводитель по С.-Петербургу» в 1820 году сообщал, что «Библиотека сия... имеет прекрасный вид и с 1814 года открыта по вторникам для тех, кои хотят осматривать ее, а в среду, четверг и пятницу для занимающихся чтением и выписками, к чему все удобности здесь они имеют». Директором библиотеки был назначен один из образованнейших людей Алексей Николаевич Оленин, занявший вскоре также пост президента Академии художеств. Оленин привлек к службе в библиотеке баснописца И. А. Крылова, поэта Н. И. Гнедича, крупного филолога и поэта А. Х. Востокова. Некоторое время сотрудником библиотеки был К. Н. Батюшков. В ней служили и другие литераторы, в том числе Н. И. Греч. В октябре 1821 года Дельвиг был зачислен в штат с выплатой денежной компенсации за проработанный год. По службе он оказался в подчинении Ивана Андреевича Крылова.

Новая служба — в мире книг, в окружении писателей и ученых — благотворно сказывалась на творчестве.

«Проводя время по целым суткам в этом храме просвещения,— отмечал позднее друг Дельвига Плетнев,— ничем не будучи развлекаем в свободные часы от посещения читателей, удовлетворяя вдруг и обязанности своей и страсти, он собрал драгоценные сокровища для потребностей умственной жизни».

В библиотеке, казалось, царил культ античности. Глубоким знатоком древности был А. Н. Оленин. Хранитель почти двух тысяч греческих книг Н. И. Гнедич переводил на русский «Илиаду» Гомера. Востоков изучал и осваивал античные стихотворные размеры. Все это способствовало углублению юношеского увлечения Дельвига наследием древних культур.

Изучая классический мир, Дельвиг обратил особое внимание на идиллии с их пленяющими картинами мирного сельского и пастушеского быта. В собственных идиллиях он пытался создать атмосферу безмятежного спокойствия и счастья. Герои Дельвига преисполнены духовного здоровья и полноты жизни, самым святым на свете почитают они дружбу, самым прекрасным — любовь.

У Дельвига, счастливого в своих товарищах, дружба вообще стала одной из основных тем поэзии. В идиллии «Друзья», посвященной Баратынскому, гимном товарищеской верности прозвучали слова:

«Друг Палемон,— с улыбкою старец промолвил,— дай руку!
Вспомни, старик, еще я говаривал, юношей бывши:
Здесь проходчиво все, одна не проходчива дружба!
. . . .
Выросли мы — и в жизни много опытов тяжких
Боги на нас посылали, мы дружбою все усладили.
. . . .
Долгая жизнь пролетела, как вечер веселый в рассказах.
Счастлив я был! не боюсь умереть! предчувствует сердце —
Мы ненадолго расстанемся: скоро мы будем, обнявшись,
Вместе гулять по садам Елисейским, и, с новою тенью
Встретясь, мы спросим: «Что на земле? все так ли, как прежде?
Други так ли там любят, как в старые годы любили?»

В произведениях Дельвига в манере древних Пушкин отмечал «силу воображения» и «необыкновенное *чутье* изящного». А Плетнев с восхищением писал, что они «дышат свежестью картин, в них кипят чувства; от них раздается музыка величественной простоты...»

Глубокое ощущение Дельвигом культуры «золотого века» было, по отзывам современников, органично для его натуры. По словам одного из них, Дельвиг поражал «гармоническим спокойствием и... прозрачной ясностью своего существа». Он представлял «классическое, античное явление, неожиданное в наше время и будто бы взятое прямо из школы Платона!» Товарищ Баратынского, поэт Н. Коншин писал, что Дельвиг, «проникнутый поэзиею» был «важный, степенный, торжественный как Олимп, на котором жили боги». «Грек духом» — так отзывался о Дельвиге Пушкин. «Душой и лирой древний грек»,— вторил ему поэт Н. М. Языков.

Не оставлял Дельвиг и полюбившегося с отрочества жанра «русских песен». В освоении русского фольклора он ушел дальше своих предшественников, прокладывая дорогу таким грядущим мастерам, как Алексей Кольцов. Но в наибольшей степени одаренность Дельвига проявилась в романсах. К ним писали музыку многие композиторы — Глинка, Алябьев, Варламов, Даргомыжский. Вот уже полтора века сохраняются в музыкальном репертуаре «Соловей мой, соловей...», «Когда, душа, просилась ты...» и другие романсы.

В начале 1820-х годов Дельвиг увлекся освоением сложной поэтической формы — сонета. Искусство сложения сонетов насчитывало уже несколько веков. Их писали Данте и Петрарка, Шекспир и Камоэнс, Микеланджело и Тассо, а в России — Сумароков и Тредиаковский. В XIX столетии, когда романтизм возродил в русской поэзии интерес к сонету, одним из первых его мастеров стал Дельвиг. В 1822 году он написал «Языкову», «Вдохновение», «Я плыл один с прекрасною в гондоле»

и другие сонеты, которые «с жадностью, восхищением» прочел в журналах Пушкин.

Два сонета Дельвиг посвятил Софье Дмитриевне Пономаревой, хозяйке одного из популярных петербургских литературных салонов. Он знал Пономареву с лицейских лет, когда та приезжала в Царское Село навещать своего брата Ивана Позняка, лицейского воспитанника второго приема. Еще в 1810-х годах Софья Дмитриевна сумела сплотить вокруг себя кружок литераторов, во главе которого стоял баснописец и издатель журнала «Благонамеренный» Александр Ефимович Измайлов. Преданный друг Пономаревой, Измайлов так писал о ней: «Она действительно имеет необыкновенные таланты и получила отличное воспитание; знает прекрасно немецкий, французский и итальянский языки, даже отчасти латинский; переводит на русский прозою лучше многих записных литераторов, пишет весьма недурно стихи; рисует, танцует, поет и играет на фортепьяно превосходно. Жаль только, что очень мало занимается и ведет слишком рассеянную жизнь».

Другой современник отмечал: «Бойко говорила она на четырех европейских языках и владела превосходно русским, что тогда было редкостью...» Поэт В. И. Панаев, близкий друг Измайлова и Пономаревой, записал в альбом Софьи Дмитриевны:

Природа вас умом блестящим наделила,
Талантов множество дала
И к ним прибавить без числа
Любезных странностей, проказ не позабыла...

Проказы Софья Дмитриевна и впрямь любила. То переодевалась кучером или простолюдинкой для розыгрыша друзей; то вдруг приходила ей мысль лечь в гроб и, изображая покойницу, разыграть кого-либо из своих поклонников. Но это ребячество в сочетании с неподдельной веселостью, находчивостью и живым умом многим импонировало.

Группа литераторов во главе с Измайловым, собиравшаяся у Пономаревой, боготворила хозяйку и единодушно избрала ее покровительницей своих занятий. В 1821 году «Благонамеренный» объявил даже о создании литературного общества под попечительством Софьи Дмитриевны; позднее оно называлось «Сословие Друзей Просвещения» (по инициалам хозяйки салона). Жила Пономарева вблизи Таврического сада, на Фурштатской улице (улица Петра Лаврова, дом не найден).

А. Е. Измайлов возглавлял не только этот домашний литературный кружок, но и Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, или Михайловское, как еще называли его по месту собраний в Михайловском замке[1]. Он был известным баснописцем. Героями его басен нередко являлись простые люди — какой-нибудь отставной квартальный Пьянюшкин или Яшка-повар. Действие разворачивалось в трактире, тут упоминались и вино, и сельди, и лук, и пьяные мужики и бабы.

Весьма колоритно музу Измайлова представил А. Ф. Воейков в своей известной сатире «Дом сумасшедших», в которой он вывел многих поэтов:

Вот Измайлов — автор басен,
Рассуждений, эпиграмм;
Он пищит мне: «Я согласен.
Я писатель не для дам.
Мой предмет: носы с прыщами,
Ходим с музою в трактир
Водку пить, есть лук с сельдями...
Мир квартальных —вот мой мир».

---

[1] В замке располагался медико-филантропический комитет, ведавший лечением бедных и воспитанием увечных. В зале этого комитета и происходили заседания Вольного общества. В «Новейшем путеводителе по С.-Петербургу» (1820) говорилось: «Общество словесности, наук и искусств... собирается в Михайловском замке еженедельно в четверг после полудня и занимается исключительно российскою словесностию. Нынешний президент его кол. сов. и кавалер А. Измайлов».

В альбоме жены Измайлова сохранился своеобразный ответ Воейкову: кто-то из близких баснописцу лиц нарисовал его портрет и сопроводил двустишием:

Нет, нет! Он вопреки вралям
Писатель для мужчин и дам [1].

Наблюдательный, остроумный Измайлов являлся душой многих вечеров у Пономаревой, где блистал своими баснями, эпиграммами, шарадами. Он всегда был в курсе событий петербургской жизни и сообщал их в виде анекдотов и слухов, украшая рассказ своим острословием.

Непринужденность, простота обращения отличали Измайлова и как издателя журнала «Благонамеренный». Объявляя подписку, он, например, выражал надежду, что читатель простит ему пустые и слабые произведения и статьи, дружески учтя, что кроме журнала у издателя много других забот — служба, многочисленные знакомые и друзья, не говоря уж о жене и детях. Задерживая очередной номер, он оправдывался перед читателями тем, что гулял на масленице или пристраивал дочь в институт.

«Благонамеренный» охотно предоставлял свои страницы молодым поэтам. В нем начинали печататься К. Рылеев и А. Бестужев, В. Туманский и В. Григорьев. Но направление журнала определяли литераторы, далекие от передовых общественных идей своего времени — В. И. Панаев, Б. М. Федоров и другие. Измайлов обратил внимание на Пушкина и его товарищей-поэтов, учившихся вместе с его двоюродным племянником Михаилом Яковлевым, и привлек их в свой журнал и в Михайлов-

---

[1] ИРЛИ, альбом Е. И. Измайловой, ед. хр. 4929, л. 19. Портрет Измайлова, так же как и портрет А. А. Шаховского из этого же альбома, публикуется в этом издании. Портрет Измайлова атрибутирован по приведенному двустишию и по схожести с другими известными портретами.

ское общество. Но содружество длилось недолго: кругу «Благонамеренного» оказались чужды гражданские позиции и литературное новаторство «союза поэтов». Сохраняя доброжелательный тон в отношении Пушкина, «Благонамеренный» в начале 1820-х годов стал резко выступать против молодых романтиков — Дельвига, Баратынского и Кюхельбекера, обвиняя их, например, в обращении к «сладострастным, вакхическим и даже *либеральным»* мотивам. Критики высмеивали и дружеские стихотворные послания «союза поэтов»:

Сурков Тевтонова возносит;
Тевтонов для него венцов бессмертья просит;
Барабинский, прославленный от них,
Их прославляет обойх.

Так начинается стихотворение «Союз поэтов», анонимно появившееся в 1822 году сразу в двух журналах — «Благонамеренном» и «Вестнике Европы». Здесь Сурков — Дельвиг, Тевтонов — Кюхельбекер, а Барабинский — Баратынский. Сочинителем «Союза поэтов» был Борис Федоров, разнообразное творчество которого (романсы, баллады, басни, элегии, памфлеты, пародии и т. д.) отличалось «благонамеренностью» и назойливым морализмом. Дельвиг написал на него эпиграмму, получившую широкое распространение:

Федорова Борьки
Мадригалы горьки,
Комедии тупы,
Трагедии глупы,
Эпиграммы сладки
И, как он, всем гадки.

Прозвище Борька — знак презрения к его литературным трудам и неприязни к общественной позиции — прилипло к Федорову на долгие годы, а эпиграмма позднее, в 1840-х годах, получила новую и вполне оправданную редакцию:

Федорова Борьки
Мадригалы горьки,
Эпиграммы сладки,
А доносы гадки.

Противником «союза поэтов» был также автор идиллий Владимир Панаев, человек надменный, завистливый и самоуверенный. У друзей Пушкина он находил слишком «решительный тон в суждениях», «непомерное самолюбие» и «не очень похвальное поведение».

Из стана «Благонамеренного» раздавались и такие стихи:

Хвала вам, тройственный союз!
Душите нас стихами!
Вильгельм и *Дельвиг,* чада муз,
Бард *Баратынский* с вами!

Все это, однако, не мешало «союзу поэтов» и литераторам «Благонамеренного» уживаться в салоне Пономаревой (пожалуй, только Панаев негодовал на Софью Дмитриевну, когда она стала принимать ненавистную ему троицу). Впрочем, мир во владениях Пономаревой нередко нарушался спорами либо эпиграмматическими и пародийными атаками с той и другой стороны. Однажды между Дельвигом и Измайловым завязался спор о пародиях. Дельвиг утверждал, что не составляет труда написать пародию на любое стихотворение. И тут же, в доказательство, в несколько минут сочинил пародию на балладу Жуковского «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» (перевод из В. Скотта). Когда он стал читать написанное, с первых же строк все, в том числе и Измайлов, о котором шла речь в пародии, не смогли сдержать улыбки.

До рассвета поднявшись, извозчика взял
Александр Ефимыч с Песков
И без отдыха гнал от Песков чрез канал
В желтый дом, где живет Бирюков...

Все знали, что Александр Ефимович Измайлов живет рядом с Песками (так в пору первоначальной застройки города назывался район Рождественских улиц — нынешних Советских) на берегу Лиговского канала, в доме губернского секретаря Модена (ныне Лиговский проспект, 11). Отсюда спозаранку он и направился к цензору Бирукову (у Дельвига — «Бирюков»). Глупость Бирукова была также общеизвестна, почему Дельвиг и поселил его в сумасшедшем («желтом») доме. Однако Измайлову не повезло, Бирукова он не застал. По-видимому, с горя по пути домой он заехал в питейный дом:

Вот к обеду домой возвращается он
　　В трехэтажный Моденова дом,
Его конь опенен, его Ванька хмелен,
　　И согласно хмелен с седоком.
Бирюкова он дома в тот день не застал,—
　　Он с Красовским в цензуре сидел,
Где на Олина грозно вдвоем напирал,
　　Где фон Поль улыбаясь глядел.

Бируков, Красовский и фон Поль составляли цензурный комитет. Фон Поль, по выражению Греча,— «набожный осел», был менее въедлив. Два же его товарища по службе, рабски преданные реакционному духу царской цензуры, неукоснительно следовали служебным предписаниям. Оба к тому же отличались крайним мистицизмом и чиновничьей тупостью. Упомянутый Дельвигом поэт Валентин Олин получил, например, от Красовского такие замечания на одно из своих стихотворений: к строке «Улыбку уст твоих небесную ловить» Красовский приписал: «Сильно сказано! Женщина недостойна, чтобы улыбку ее называть небесной»; а относительно строфы, в которой поэт возмечтал оказаться с любимой в тиши «пустынных стран», цензор строго заметил: «Таких мыслей никогда рассевать не должно. Это значит, что автор не хочет продолжать своей службы государю, для того только, чтобы быть всегда с своей любовницею!»

Из анекдотических рассказов об ограниченности Красовского широко был известен и такой. Однажды рассыльный принес ему какие-то нужные бумаги и, будучи не совсем трезв, оставил вместе с ними на столе кулек яблок. Красовский направил ему письменный запрос: «Отчего между принесенными вчера бумагами оказалось приложение из трех яблок, и те не первого сорта, но бумаги об них нет?» Пришлось рассыльному давать письменное объяснение.

Но вернемся к герою пародии Дельвига. Итак, возвращаясь домой под хмельком, Измайлов остановился на находившейся неподалеку от его дома Летней конной площади:

Соскочивши на Конной с саней у столба,
    Притаясь у будки стоял;
И три раза он крикнул Бориса-раба,
    Из харчевни Борис прибежал.
«Подойди ты, мой Борька, мой трагик смешной,
    И присядь ты на брюхо мое;
Ты скотина, но, право, скотина лихой,
    И скотство по нутру мне твое».

Неизвестно, был ли на описываемом вечере у Пономаревой Борис Федоров, но, думается, и его присутствие не удержало бы всех от дружного смеха. Пародия на этом обрывается, но есть сведения, что Дельвиг позднее продолжил ее, заставив Федорова сразу донести Измайлову на Панаева и т. д.

Салон Пономаревой привлекал многих замечательных людей. Современник вспоминал, как «изредка читал там Крылов новые свои басни еще до печати; Гнедич, один из искуснейших чтецов того времени, хотя и чересчур напыщенный, как и вся его фигура, прочел однажды в собрании всего кружка свою классическую идиллию «Рыбаки»... Им же читались иногда и отрывки из его «Илиады»... Кроме Гнедича, читывал иногда, бывало, благонамеренный Измайлов свои простонародные циничные

басни, отличавшиеся русским юмором. Дельвиг приносил свои песни, которые тут же распевала хозяйка. Греч острил над Булгариным, своим другом... Баратынский... увлекательно говорил и отличался благородным тоном и изящными манерами». Сама же хозяйка декламировала стихи, музицировала, пела.

Создается впечатление, что салон Пономаревой посещал чуть ли не весь литературный Петербург. Кроме уже названных у нее бывали Кюхельбекер и его лицейский однокашник поэт А. Д. Илличевский, а также К. Ф. Рылеев, А. А. Крылов, П. А. Катенин, О. М. Сомов, А. Х. Востоков, М. Е. Лобанов, П. Л. Яковлев. Плетнев, наслышанный о Софье Дмитриевне от своих друзей, заочно проникшись к ней симпатией, писал:

По слуху мне знакома ты,
Но я не чужд красавиц милой веры
И набожно кладу мои цветы
На жертвенник соперницы Венеры...

Обаятельной «соперницей Венеры», кажется, почти поголовно были увлечены завсегдатаи ее дома. Однако, как утверждал в своих воспоминаниях Панаев, сердце Софьи Дмитриевны безраздельно принадлежало ему. Не на шутку, видимо, увлекся Пономаревой Дельвиг:

О, сила чудной красоты!
К любви, по опыту, холодный,
Я забывал, душой свободный,
Безумной юности мечты;
И пел, товарищам угодный,
Вино и дружество — но ты
Явилась, душу мне для муки пробудила,
И лира про любовь опять заговорила.

Это из альбома Пономаревой. К ней обращены и другие стихотворения Дельвига. Поэт то воспевает ее очарование, породившее в нем «любовь и безнадежность», то сетует на ее холодность.

Никто не мог предположить, что молодая и жизнерадостная Софья Дмитриевна так рано уйдет из жизни: в 1824 году в возрасте двадцати девяти лет она умерла от «горячки». Безвременная ее кончина была оплакана во множестве эпитафий.

В отличие от своих ближайших друзей Дельвиг почти безвыездно жил в Петербурге. В 1822 году он навестил в Финляндии Баратынского. Впрочем, тот и сам часто наведывался в Петербург. Дважды — в 1821 и 1825 годах — Баратынский оказывался в столице в одно время с Кюхельбекером, дважды соединялся вновь «союз поэтов», и только Пушкин оставался вдалеке.

Весной 1825 года Дельвиг посетил друга в Михайловском. По возвращении он был уволен из Публичной библиотеки. Историки литературы высказывали предположение, что Оленин вынужден был пойти на это, так как Дельвиг скомпрометировал себя посещением опального Пушкина. Однако предположение это неосновательно: вопрос об отставке назрел еще до поездки. Дельвиг получил отпуск для свидания с родными (к Пушкину он заехал по пути) с условием, «что по возвращении он оставит занимаемое им место в Библиотеке, как несвойственное его занятиям и способностям». По-видимому, конфликт возник из-за неудовлетворительного исполнения Дельвигом служебных обязанностей, и Оленин пригрозил увольнением. Получив отпуск на 28 дней, Дельвиг просрочил его почти на два месяца. После этого ни ссылка на болезнь, ни заступничество Жуковского не помогли — пришлось подать просьбу об отставке. Впрочем, по этому поводу Дельвиг, пожалуй, не особенно горевал. В те дни все его помыслы были о другом: он был влюблен и собирался жениться.

Плетнев, с которым Дельвиг особенно подружился, часто рассказывал ему об одной из своих учениц по пансиону Шретер, где преподавал словесность, Софье Салтыковой, дочери бывшего почетного «арзамасца»

М. А. Салтыкова. Плетнев говорил о ее миловидности, хвалил способности, живость характера и любовь к поэзии. Кумиром ее был Пушкин, а одним из любимых поэтов — Дельвиг. Плетнев не сомневался, что ученица должна произвести на Дельвига глубокое впечатление, и желал их встречи. Она состоялась в мае 1825 года в Царском Селе. Девятнадцатилетняя Софья Михайловна сообщала тогда же своей подруге, что Дельвиг понравился ей своей скромностью и тем... «что он носит очки». Довольно скоро ее отзывы становятся более содержательными: «Даже его проза — поэзия, все, что он говорит,— поэтично,— он поэт в душе».

Недели через три после знакомства Дельвиг сделал предложение, которое было принято. Отец невесты сначала был очарован будущим зятем, и, казалось, свадьба не за горами. Но неожиданно под влиянием каких-то сплетен он воспротивился этому браку, и только через несколько месяцев удалось получить его согласие. 30 октября 1825 года состоялась свадьба. Жуковский вызвался быть шафером. Плетнев поздравил стихами невесту, а Сергей Львович Пушкин (отец Пушкина) — жениха.

Готовясь к семейной жизни, Дельвиг снял уютную квартиру на Миллионной улице в третьем этаже дома коллежской советницы Настасьи Эбелинг (теперь улица Халтурина, 26). Невесте квартира понравилась. «У нас очаровательная квартира,— сообщала она подруге,— небольшая, но удобная, веселая и красиво омеблированная. Я не дождусь, когда буду в ней с моим Антоней, моим ангелом-хранителем». Вскоре молодые супруги зажили в ней, счастливые своей любовью, молодостью и сердечностью навещавших их друзей. Чаще других заглядывали Плетнев, Лев Пушкин и его родители, Гнедич.

А тем временем приближалось 14 декабря, день, заставивший многих переменить свои взгляды, свою жизненную позицию. По-видимому, события этого дня за-

стали Дельвига врасплох: несмотря на личную близость к декабристам, он не разделял тех идей, которые вывели их на Сенатскую площадь. Казалось бы, итог 14 декабря и вовсе должен был подавить его умеренную оппозиционность, но этого не произошло — во второй половине 1820-х годов Дельвиг стал одним из самых деятельных представителей передовых литературных сил. Его издания (альманах «Северные цветы» и «Литературная газета»), сам его дом, ставший известным литературно-музыкальным салоном, расценивались властями как открыто оппозиционные. Но об этом речь впереди.

Евгений Абрамович Баратынский

В то время, когда Пушкин и его друзья переживали еще пору безоблачного лицейского отрочества, на долю Баратынского[1] уже выпали суровые жизненные испытания.

В 1812 году, двенадцати лет, он был отдан родителями в Пажеский корпус, считавшийся одним из привилегированных военно-учебных заведений. Корпус размещался на Садовой улице в бывшем дворце графа М. И. Воронцова, российского вице-канцлера середины XVIII века. Дворец строил Б.-Ф. Растрелли (сейчас в нем размещается Суворовское военное училище — Садовая, 26). Корпус отличался от Лицея суровым духом

[1] В современной литературе встречается двоякое написание фамилии поэта — Б*а*ратынский и Б*о*ратынский. Родовая фамилия его — Боратынский, но и сам поэт и его родственники нередко именовались Баратынскими (см., например, «городовую обывательскую книгу», в которой дядя поэта записан и как Баратынский и как Боратынский. — ЛГИА, ф. 781, оп. 4, ед. хр. 115, лл. 82, 96, 126 об., 127). Читателям пушкинской поры поэт был известен как Баратынский — под этой фамилией выходили его первые книги.

военной школы, телесными наказаниями и муштрой. Баратынский рассказывал, что «корпусное молодечество и воображение, испорченное дурным чтением», заставляли его вместе с товарищами совершать различные проделки против начальников. Они украдкой срезали фалды у офицеров или незаметно пришпиливали кнопками к подоконникам шляпы учителей. Подобные проказы привели к беде. Из молодечества и при подстрекательстве товарищей Баратынский и его приятель Ханыков совершили кражу в квартире родителей одного из воспитанников. Это случилось в феврале 1816 года. Провинившиеся были тотчас уличены, и вскоре последовало «высочайшее» решение — из корпуса отчислить и впредь ни на какую службу не принимать. Александр I оставлял им только один путь для искупления проступка — службу рядовыми.

Дворянин в форме низшего чина — явление редкое для тех времен. В рядовые попадали, как правило, дворяне, прогневившие царя или пожелавшие служить в военной службе, но не обученные грамоте. Осознав во всей глубине совершенное, Баратынский пережил глубокие душевные страдания. Ему было тогда шестнадцать лет — пора, когда формируется характер, складывается личность, и испытанное потрясение не могло пройти бесследно. Близко знавший Баратынского Н. Путята писал: «Несчастие, столь рано постигшее Баратынского, наложило на его характер ту глубокую задумчивость и грусть, которыми так искренне проникнуты все его произведения».

В апреле 1816 года Баратынский уехал из Петербурга. Более двух лет провел он среди родных в деревне, Тамбове, Москве, а осенью 1818 года вернулся в столицу с решением определиться рядовым в полк. В Петербурге он сразу подал прошение, и в феврале 1819 года был зачислен в гвардейский Егерский. Полк не имел своего обособленного городка и квартировал в слободе лейб-

гвардии Семеновского полка. Казармы егерей и семеновцев располагались вблизи Семеновского плаца (часть его теперь занимает Пионерская площадь; казармы частично сохранились). Баратынскому как дворянину разрешили остаться на частной квартире, и он поселился неподалеку, в доме Василия Гижевского на углу Госпитальной улицы и Среднего проспекта (теперь участок дома № 15/24 по Бронницкой улице и Клинскому проспекту). Дом был деревянным, одноэтажным с мезонином и флигелями во дворе (снесен в 1909 году). Баратынский занял три комнаты вместе с неким Шляхтинским, своим земляком и, возможно, другом детства. Есть основания предполагать, что это был офицер того же Егерского полка Андрей Иванович Шляхтинский, входивший, кстати, в ту пору в Союз благоденствия.

Познакомившись с хозяином дома, постояльцы узнали, что он состоит при дворе в должности кофишенка (смотрителя за приготовлением кофе, чая, шоколада и т. п.). Оказалось, что много лет назад, при Павле, он служил в Гатчине и помнил служившего там же отца Баратынского. Вообще он оказался человеком словоохотливым и с удовольствием в свободную минуту отдавался воспоминаниям прежних лет.

Зачисление в полк совпало с другим событием в жизни Баратынского, неожиданным для него и значительным: журнал «Благонамеренный» в февральском выпуске поместил его стихи. Появились они без ведома автора.

Впервые интерес к литературному творчеству у Баратынского возник, по-видимому, в четырнадцатилетнем возрасте. В одном из писем к матери из Пажеского корпуса он признавался: «Сейчас в часы досуга я занят переводом или сочинением нескольких маленьких историй, и, сказать вам по правде, *нет ничего, что бы я любил так, как поэзию* (курсив мой. — *Авт.)*. Я бы очень хотел быть сочинителем. Я пришлю вам в ближайшем будущем нечто в роде маленького романа, который я закан-

чиваю»[1]. Но прошло несколько лет, прежде чем тяга к литературному труду стала подлинной потребностью души. Первые стихи Баратынский написал, видимо, через год после событий в корпусе, и, по его словам, в Петербург он вернулся «с мадригалом в кармане». Но тогда он едва ли мечтал о литературной славе и стихи читал только близким. Появление их в столичном журнале, где печатались литературные знаменитости, было для него столь неожиданным, что в первый момент вызвало даже какое-то болезненное ощущение. «Страдания этой минуты» запомнились ему надолго, тем не менее их «виновнику», отдавшему стихи в журнал, он навсегда остался признателен за духовную поддержку, оказанную в начале творческого пути. «Виновником» был Дельвиг.

Обстоятельства их знакомства до нас не дошли. Известно, что Баратынский быстро и близко сошелся с Дельвигом, который первым оценил его поэтический талант. «Дружба с Дельвигом,— писал сын Баратынского Лев Евгеньевич,— была великим утешением для Евгения Абрамовича в злополучиях его молодости». Вспоминая позднее это время, состояние душевного смятения после драмы в Пажеском корпусе и то новое ощущение жизни, которое открывал перед ним мир поэзии, Баратынский, обращаясь к Дельвигу, писал:

Ты помнишь ли, в какой печальный срок
Впервые ты узнал мой уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой
Боролся я, почти лишенный сил?
Я погибал,—ты дух мой оживил
Надеждою возвышенной и новой.
Ты ввел меня в семейство добрых муз...

Растущая вера в себя, в свой талант, литературные успехи — все благотворно повлияло на Баратынского. Жуковскому он признавался: «Не знаю, удачны ли бы-

[1] Подлинник на французском.

ли опыты мои для света; но знаю наверно, что для души моей они были спасительны».

В августе 1819 года Андрей Шляхтинский перевелся в другой полк и уехал из Петербурга. Баратынский, вероятно, тогда же оставил дом Гижевского и поселился неподалеку со своим новым товарищем — Дельвигом. Жили они дружно, весело и, как подобает поэтам-романтикам, беспечно. Свое житье-бытье увековечили шутливыми стихами:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.
Тихо жили они, за квартиру платили немного,
В лавочку были должны, дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),
Шли и твердили шутя: «Какое в *россиянах* чувство!»

Пятая рота Семеновского полка позднее стала называться Рузовской улицей. На левой, четной, ее стороне и до сих пор сохранились старые казарменные постройки. На правой стороне находились обывательские деревянные дома с садами и огородами. В одном из них («в домике низком») и жили друзья-поэты.

Дельвиг познакомил Баратынского с Пушкиным и Кюхельбекером, и друзья приняли нового знакомого в их поэтический союз.

...К музам чистая любовь
Уж нас навек соединила!—

писал Баратынский Кюхельбекеру.

Баратынский стал посещать литературные гостиные Петербурга, бывать на собраниях литературных обществ. Но в январе 1820 года его неожиданно перевели в армейский полк, расквартированный в Финляндии. Переводу предшествовало производство Баратынского в унтер-офицерский чин, но при самом переводе из гвар-

дии в армию он не получил обычного в таких случаях повышения, что расценил как знак опалы.

Пять с половиной лет прослужил Баратынский в Финляндии. Все эти годы не прерывалось его общение с литературной средой Петербурга, куда он то приезжал в отпуск, то приходил с полком. Каждый раз поэт с грустью покидал Петербург. Сама служба едва ли очень тяготила Баратынского. Он был тепло принят в офицерском кругу, начальство явно благоволило к нему. Но унтер-офицерское звание и вынужденное пребывание в Финляндии вызывали у него мрачные настроения. Жуковскому, постоянно за него хлопотавшему, Баратынский признавался: «...я начинаю приходить в отчаяние. Не служба моя, к которой я привык, меня обременяет; меня тяготит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание...» При склонности к меланхолии тяжело переживал он и разлуку с друзьями:

И где ж брега Невы? где чаш веселый стук?
    Забыт друзьями друг заочный,
Исчезли радости, как в вихре слабый звук,
    Как блеск зарницы полуночной!
И я, певец утех, пою утрату их,
    И вкруг меня скалы суровы,
И воды чуждые шумят у ног моих,
    И на ногах моих оковы.

Александр I был неумолим. На все ходатайства за поэта он отвечал отказом. Баратынский рассказывал, как однажды, во время службы в Петербурге, он попал в караул Зимнего дворца. Александр, вероятно предупрежденный о том, кто стоит, подойдя к нему, поинтересовался фамилией. Затем же, потрепав снисходительно по плечу, «изволил ласково сказать: „Послужи!"». Со временем фамилия поэта крепко запомнилась царю не только из-за проступка в Пажеском корпусе. Он мог запомнить ее в доносах 1820 года, где отмечалась близость

Баратынского к Пушкину, Кюхельбекеру. До царя могли также дойти слухи о «непозволительных» стихах, которые Баратынский сочинял в Финляндии вместе со своим ротным командиром Коншиным[1]. Вероятно, вызывал подозрения правительства и другой финляндский товарищ Баратынского Николай Путята.

Хлопоты о «помиловании» Баратынского были долгими: лишь весной 1825 года благодаря неустанным стараниям Жуковского, Дениса Давыдова, Александра Тургенева, генерал-губернатора Финляндии Закревского он смог надеть офицерский мундир.

Получив с царским прощением независимость, Баратынский по-новому стал относиться к Финляндии. Теперь она представлялась ему «сладким и спокойным убежищем». Пушкин однажды писал: «Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму». Нечто подобное испытывал и Баратынский в отношении к Финляндии. В более поздние годы он мечтал вновь посетить этот край, ставший, по его словам, пестуном его поэзии.

Произведения, написанные в годы службы в Финляндии, сразу принесли Баратынскому славу одного из лучших лириков. Особенный успех имели элегии, среди которых подлинным шедевром стало «Признание»:

Притворной нежности не требуй от меня,
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
Моей любви первоначальной...

---

[1] Николай Михайлович Коншин (1793—1859) начал литературную деятельность под влиянием Баратынского. Он выступал со стихами, переводами, позднее с прозой. В 1824 году, скомпрометировав себя сатирическими стихами, Коншин был вынужден выйти в отставку. С конца 1830-х годов занимался педагогической деятельностью, возглавлял учебные заведения в Твери, Москве, Ярославле. С той же поры Коншин занимался историей. В 1848 году ему удалось найти древний список «Домостроя» с неизвестной до тех пор главой, что явилось значительным вкладом в изучение древнерусской литературы.

• Любовь, разлука — темы, вечные в поэзии,— в новом, неожиданном ракурсе зазвучали у Баратынского. Не ограничиваясь отражением элегического состояния души, поэт психологически тонко анализирует чувства своего героя. Без обычных любовных жалоб и манерной чувствительности, столь распространенных в элегиях тех лет, в «Признании» звучит исповедь отлюбившего сердца:

Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
. . . .
Невластны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Прочтя это стихотворение, Пушкин писал из Одессы: «Баратынский — прелесть и чудо, «Признание» — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий...» Еще ранее Пушкин сказал о Баратынском: «...он полон истинной элегической поэзии».

Уже в раннем творчестве Баратынского проявляется та особенность, которая утвердила за ним репутацию поэта-мыслителя. «Все мы любили его стихи,— писал современник поэта,— живые, гармонические, свежие, глубоко и сильно прочувствованные, отчетливо и точно выраженные, они были приняты нами с полным наслаждением. К тому же в этих стихах всегда была мысль; это был поэт-мыслитель; для нас, да и для всей России поэт-мыслитель был неожиданной новостью...»

На людей, встречавших Баратынского в петербургских салонах и не знавших его близко, он производил подчас впечатление очень грустного человека. Журналист О. Сенковский, например, вспоминал: «Мы помним Баратынского... когда изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастьем, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других,

Баратынский говорил сам себе, как говорил в своих стихах: „Мне мнится, счастлив я ошибкой и не к лицу веселье мне"».

В творчестве Баратынского, как и в его жизни, проявилась склонность к пессимизму. Причин тому много: и своеобразие его впечатлительной натуры, расположенной к меланхолии, и неудовлетворенность действительностью, и личные переживания, связанные с исключением из Пажеского корпуса и вынужденным пребыванием в Финляндии.

Особо следует подчеркнуть сильную впечатлительность поэта. Он воспринимал мрачные стороны жизни с недоступной многим болью. Но элегический тон его лиры нередко сменялся жизнерадостным. Недаром Пушкин называл его «певцом пиров и грусти томной».

«Певцом пиров» Баратынского назвали Пушкин и Дельвиг за поэму «Пиры». Поэт привез ее в Петербург в первый приезд из Финляндии. А спустя некоторое время появилась новая его поэма «Эда». Узнав о ней, Пушкин шутливо писал из Михайловского брату: «Пришли же мне „Эду" Баратынскую. Ах, он чухонец! да если она милее моей черкешенки, так я повешусь у двух сосен и с ним никогда знаться не буду». «Эда» оправдала ожидания Пушкина, он назвал ее образцом «грации, изящества и чувства».

«Эда» написана под непосредственным впечатлением от Финляндии. Сюжет ее несложен, но драматичен: русский гусар соблазняет простосердечную финскую девушку Эду. Игра в любовь недолго тешит его, и потому он с радостью встречает известие о военном походе, сулящем разлуку. Для Эды же разлука равносильна гибели. Как и в элегиях, Баратынский в «Эде» прослеживает развитие чувства: робкая влюбленность героини сменяется сильным, всепоглощающим чувством.

Прототипом гусара в «Эде» был граф Федор Иванович Толстой по прозвищу Американец. Он отличался экстра-

вагантным характером: авантюрист, игрок, вместе с тем образованный, умный и обаятельный человек, друг Д. Давыдова, Батюшкова, Вяземского. Грибоедов упомянул его в «Горе от ума»: «Ночной разбойник, дуэлист...» Пушкин придал черты Толстого Зарецкому в «Евгении Онегине». А позднее Лев Толстой, доводившийся двоюродным племянником Толстому-Американцу, вывел его в повести «Два гусара».

Не уступала Федору Толстому в экстравагантности и его кузина Аграфена Закревская (урожденная Толстая), жена финляндского генерал-губернатора. Эта женщина внушила Баратынскому сильное и сложное чувство, под влиянием которого он начал в Финляндии поэму «Бал» (в 1828 году поэма вышла сброшюрованная под одной обложкой с поэмой Пушкина «Граф Нулин»; это издание имело название «Две повести в стихах»). Закревская была умна, красива и отличалась необычайно переменчивым характером. Она сочетала в себе, казалось бы, противоположные начала.

Как Магдалина, плачешь ты,
И, как русалка, ты хохочешь!—

писал ей Баратынский. Из всех имен, которыми поэт наделял пленившую его женщину, чаще всего он пользовался именем Магдалины. Библейский образ раскаявшейся грешницы, казалось Баратынскому, наиболее точно передавал суть ее натуры. Другой образ связывал с Закревской позднее Пушкин. Это образ гордой повелительницы Египта Клеопатры.

Драматическая натура, сочетавшая в себе Магдалину и Клеопатру, доброту, смирение и необузданные страсти, по выражению Пушкина, «беззаконная комета в кругу расчисленном светил» — такой осталась в памяти знавших ее Закревская. Под впечатлением Закревской Баратынский в поэме «Бал», а Пушкин в прозаических набросках «Гости съехались на дачу» и «На углу малень-

кой площади» обратились к теме «беззаконной кометы», позже получившей развитие в русской литературе в женских образах Достоевского, Толстого, Блока.

Литературная репутация Баратынского складывалась благоприятно для него с первых шагов, хотя поэмы его не имели большого успеха. Горячо поддерживало Баратынского старшее поколение поэтов — Гнедич, Давыдов, не говоря уж о Жуковском. В 1822 году Александр Бестужев в «Полярной звезде» писал, что Баратынский «по гармонии стихов и меткому употреблению языка может стать наряду с Пушкиным». В том же году в «Сыне отечества» Катенин отметил, что в стихах Баратынского «приметен талант истинный, необыкновенная легкость и чистота». Оба отзыва принадлежали литераторам-декабристам. Для них Баратынский был не только талантливым, многообещающим поэтом, но и жертвой деспотического правления, изгнанником, другом Пушкина и Кюхельбекера.

Наезжая в Петербург, Баратынский подружился с Рылеевым и А. Бестужевым. «Милые собратья», как он их называл, решили издать сборник его стихотворений. В марте 1824 года об этом сообщили «Литературные листки», подчеркнув, что издание будет «истинным подарком для просвещенной публики».

Баратынский во многом сходился с декабристами. Он презирал тиранию в любом ее проявлении, ненавидел аракчеевщину в армии. Старший сын Баратынского свидетельствовал, что отец «со всем увлечением своих лет сочувствовал тому, что заключается великодушного в обширном, неопределенном и гибком значении слова: *свобода».* Многим была известна его гневная эпиграмма на Аракчеева, заклеймившая всесильного временщика:

Отчизны враг, слуга царя,
К бичу народов — самовластью
Какой-то адскою любовию горя,
Он не знаком с другою страстью.

Скрываясь от очей, злодействует впотьмах,
Чтобы злодействовать свободней.
Не нужно имени: у всех оно в устах,
Как имя страшное владыки преисподней.

Почти в то же время Баратынский написал стихотворение «Буря», созвучное бунтарским настроениям молодежи. Все это говорит о сочувствии Баратынского передовым общественным устремлениям своего века. Но при всей своей готовности осуждать зло, насилие, несправедливость, декабристом Баратынский не стал. Быть может, потому, что от природы был мало склонен к активным действиям, решительной борьбе. Когда в Вольном обществе любителей российской словесности («Ученой республике») наметились расхождения между радикальной группой Рылеева — Бестужева и умеренной Дельвига — Плетнева, Баратынский оказался ближе к умеренной. Это несколько охладило отношение к нему Рылеева и А. Бестужева. По каким-то причинам он забрал у них свои рукописи готовящегося сборника. Обещанная читателям книжка так и не увидела света. Тем не менее личное общение между ними продолжалось в приезды Баратынского в Петербург.

Появляясь в столице, Баратынский спешил навестить близких ему людей. Высокого роста, элегантный, немного застенчивый, появлялся он у Жуковского или у поэта И. И. Козлова, в доме А. Н. Оленина или у Софьи Пономаревой, на заседаниях «Ученой республики» или у Рылеева. И повсюду был желанным гостем: стихи его встречали самый радушный прием, слава его росла.

Поселялся Баратынский, как правило, у друзей или родни. На Васильевском острове, на 4-й линии, в собственном доме жил его дядя генерал-лейтенант, сенатор П. А. Боратынский. У него поэт часто бывал и, вероятно, иногда жил (деревянный дом не сохранился, он стоял на участке дома № 25). На углу Литейного проспекта и Стремянной улицы квартировал двоюродный брат Бара-

тынского Василий Эртель, молодой педагог и переводчик (позднее эта часть Литейного проспекта стала называться Владимирским проспектом; современный адрес — Владимирский проспект, 4). Но чаще всего Баратынский останавливался у Дельвига. Тот снимал квартиру недалеко от Эртеля, на Загородном проспекте в доме Кувшинникова (ныне участок дома № 9). Дельвиг всегда ждал друга с нетерпением, а если заранее знал о его приезде, то спешил приблизить минуту свидания, выезжая навстречу в Парголово. В 1822 году вместе с Эртелем и Николаем Павлищевым (будущим свояком Пушкина) Дельвиг навестил друга в Финляндии.

С сердечным участием друзья поддерживали Баратынского в своих письмах и стихотворных посланиях. Кюхельбекер писал ему:

А я пою тебя, страдалец возвышенный,
Постигнутый Судьбы железною рукой,
Добыча злых глупцов и зависти презренной,
Но вечно пламенный душой!

Эти строки написаны еще в 1820 году, разлучившем «союз поэтов». Испытания, выпавшие на долю друзей, не поколебали их единства. И в разлуке они оставались верны сплотившим их идеалам — поэзии, дружбе, свободолюбию.

Все эти годы Пушкин с живейшим интересом следил за развитием поэтических талантов друзей. С не меньшим вниманием и восхищением они в свою очередь наблюдали за стремительным развитием его гения. Зная, сколь тягостно Пушкину изгнание, они старались поддержать его дух, сосредоточить его на поэзии. Дельвиг писал другу в Михайловское: «Употреби получше время твоего изгнания», «Живи, душа моя, надеждами дальними и высокими, трудись для просвещенных внуков...» Ему как бы вторил Баратынский: «Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень

между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление».

В июне 1825 года Баратынский в очередной раз прибыл в Петербург с полком. Теперь на нем был новенький мундир прапорщика — знак долгожданного царского прощения. Осенью он выехал к своим родным в Москву, где по их совету подал в отставку. Огорченный разлукой, Дельвиг пенял ему: «На то ли я тебя свел к Музам, чтоб ты променял их на беззубую хрычовку Москву». Вскоре Баратынский женился на москвичке Анастасии Львовне Энгельгардт, что упрочило его связь с «белокаменной» на долгие годы.

* * *

Из Москвы Баратынский присылал свои стихи для дельвиговских изданий. В «Северных цветах» и «Литературной газете» было опубликовано более тридцати его стихотворений. Дельвиг с гордой радостью следил за его успехами. «Ужели ты думаешь,— писал он однажды,— что твои стихи мне только надобны для альманаха? Мне нужно для души почитать их: она, бедная, голодна и сидит на журнальных сухариках».

Поэзия Баратынского последекабрьских лет отразила острое ощущение мрачных перемен в общественной жизни:

Что свет являет? Пир нестройный!
Презренный властвует; достойный
Поник гонимою главой;
Несчастлив добрый, счастлив злой.

Рассуждая здесь о несправедливости мироустройства вообще, поэт имел в виду и конкретные особенности русской жизни тех лет. Несомненно, что именно так читатели воспринимали эти стихи, помещенные Дельвигом в

«Северных цветах на 1830 год». А в строках стихотворения «Стансы»—«...Далече бедствуют иные, // И в мире нет уже других»— современники поэта слышали воспоминание о Рылееве, Бестужеве, Кюхельбекере и их товарищах.

А время несло Баратынскому новые невосполнимые утраты: в 1831 году он потерял Дельвига, в 1837-м — Пушкина. Дельвига он оплакал вместе с Пушкиным. Памяти своего ближайшего друга Баратынский посвятил стихотворение «Мой Элизий».

Очень тяжело пережил поэт смерть Пушкина. Скорбью и негодованием пронизано его письмо к Вяземскому: «Пишу к вам под громовым впечатлением, произведенным во мне и не во мне одном ужасною вестью о погибели Пушкина. Как русский, как товарищ, как семьянин скорблю и негодую... Не могу выразить, что я чувствую; знаю только, что я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе?»

Мрачным оказалось в жизни Баратынского все десятилетие 1830-х годов. Резкой отповедью встретила критика его поэму «Наложница», почти не замеченным в 1835 году прошло издание его стихотворений. Подводя итог этому десятилетию, он писал: «Эти последние десять лет существования... были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения. Я утомился, впал в хандру». Смерть Пушкина обострила в Баратынском чувство одиночества. Из прежнего круга оставались немногие — Вяземский, Плетнев, Жуковский... Но они жили неблизко — в Петербурге.

Все чаще и чаще мысли поэта обращались к Петербургу. Этот город был дорог ему воспоминаниями юности: первые литературные успехи, дружеский «союз поэтов», первая слава... В Петербурге Баратынский поверил в свои творческие силы, открыл в себе поэта, и этот город фактически стал родиной его поэзии. Уезжая из Петербурга

в 1825 году, Баратынский не подозревал, что расстается с ним на полтора десятилетия.

Пятнадцать лет — срок немалый, и встреча с городом юности волновала и тревожила его. «Вот уже 15 лет, как я не был в Петербурге,— писал Баратынский матери,— и 15 лет, как я не видел многих из тех, с кем близко связан. Я найду много перемен. Быть может, впечатление от них будет грустным, как и от тех, на кого легла печать зрелого возраста»[1].

2 февраля 1840 года Баратынский приехал в столицу. Остановился у своего старого товарища Николая Путяты, за два года перед тем женившегося на свояченице Баратынского. Многих друзей молодости, многие дорогие сердцу события вспоминал сорокалетний поэт, шагая по заснеженным петербургским улицам. Волею судеб даже дом, в котором он остановился (Исаакиевская площадь, 7), напоминал о прошлом. В середине 1820-х годов здесь квартировал Александр Одоевский. У него жили Грибоедов, Кюхельбекер, собирались многочисленные их друзья... Теперь дом принадлежал «ламповому мастеру» Китнеру и в нем жил Путята. О давних чувствах и тревогах мог напомнить Баратынскому и соседний дом (Исаакиевская площадь, 5), принадлежавший Закревским. Была ли сама Аграфена Федоровна, некогда глубоко волновавшая поэта, в столице зимой 1840 года, неизвестно. Но уже сам дом Закревских несомненно наводил Баратынского на мысли о минувшем. Вместе с воспоминаниями Петербург дал Баратынскому и много новых впечатлений.

На следующий день после приезда Евгений Абрамович с утра направился с визитами. Ему не повезло — ни Вяземского, ни Жуковского, ни Плетнева дома не оказалось. Но в тот же вечер Плетнев заехал за ним и повез к В. Ф. Одоевскому, куда съехались и другие. Друзья

---

[1] Подлинник на французском.

нашли, что Баратынский сильно изменился. Он выглядел старше своих лет, волосы серебрились сединой. Глядя на поэта, они могли вспомнить его же слова:

Все испытать душа успела,
И на челе печали след
Судьбы рука запечатлела.

В тот вечер у Одоевского Баратынский впервые увидел Лермонтова, который ему не приглянулся: «Что-то нерадушное, московское». Но прочитанное Лермонтовым новое стихотворение очень понравилось. В центре внимания гостей весь вечер был Иван Петрович Мятлев. Любимец литературных салонов, он читал свои остроумные стихи о заграничном путешествии провинциальной русской барыни Курдюковой.

Почти каждый день Баратынский проводил в гостях, в первую очередь у друзей — Вяземского, Плетнева, Жуковского, Соболевского, Одоевского. Часто навещал и своего брата Ираклия, который был женат на армянской княжне Анне Давыдовне Абамелек, женщине редкой красоты, талантливой переводчице-поэтессе, воспетой в стихах Пушкина, Лермонтова, Мятлева, Козлова. Баратынский поспевал везде: в театре он видел знаменитую балерину Марию Тальони, в Академии художеств рассматривал «Последний день Помпеи» Карла Брюллова...

«Мне здесь очень весело»,— сообщал поэт жене из столицы. После Москвы, чуждой ему по духу, Петербург для него «приятен отсутствием неприятных впечатлений».

Но подлинным событием для Баратынского стало знакомство с неопубликованными произведениями Пушкина. Бумаги Пушкина в то время разбирал Жуковский. Он-то и показал их Баратынскому. На следующий день потрясенный Баратынский писал жене: «...был у Жуковского. Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые

стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою. Все последние пьесы его отличаются, чем бы ты думала? Силою и глубиною! Он только что созревал. *Что мы сделали, россияне, и кого погребли!* — слова Феофана на погребение Петра Великого. У меня несколько раз навертывались слезы художнического энтузиазма и горького сожаления».

Перед самым отъездом Жуковский показал ему еще одну из тетрадей Пушкина, в которой оказался ненапечатанный набросок статьи: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит посвоему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом и чувством. ...Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды... он шел своею дорогой один и независим. Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды (Батюшкова. — *Авт.*)».

Никогда, вероятно, никакая лестная статья не радовала Баратынского так, как эта. И потому, что это был голос друга. И потому, что это был голос великого поэта. И потому, что голос великой хвалы раздался в ту пору его жизни, когда вокруг он слышал только безучастные и враждебные голоса...

В самом радужном настроении покидал Баратынский столицу. Недолгое свидание с ней — две-три недели — оживило его душу и утвердило в нем желание переехать в Петербург навсегда. Однако различные причины заставляли откладывать этот переезд. Затем возродилась давняя мечта о заграничном путешествии, после которого он и решил поселиться в Петербурге.

В первых числах сентября 1843 года, направляясь в Европу, Баратынский оказался в Петербурге проездом. На этот раз с ним было многочисленное семейство: жена, три сына и четыре дочери. Остановился поэт, как и прежде, у Путяты, переехавшего к тому времени на Никольскую площадь в дом Плеске (площадь Коммунаров, 6). Он не хотел задерживаться в Петербурге, предполагая вернуться сюда сразу после европейских странствий. Этому не суждено было осуществиться: в июле 1844 года Баратынский в возрасте 44 лет скоропостижно скончался в Неаполе. Тело поэта, первоначально погребенное там же, было доставлено в следующем году в Петербург. Баратынского похоронили на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры вблизи Гнедича, Крылова и Карамзина. Из литераторов пришли проститься с поэтом только Вяземский, Плетнев, В. Одоевский и В. Соллогуб. Вяземский писал, что смерть Баратынского проскользнула «безмолвною и невидимою тенью».

* * *

За два года до смерти Баратынский выпустил сборник «Сумерки», подведший итог его позднему творчеству. Название книги символично, оно передает душевное настроение поэта, его размышления об окружающем мире. Они в основном безрадостны.

Большую тревогу вызывал у Баратынского культ материалистичности, порождаемый развивавшимся капитализмом.

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы...

Баратынский напоминал, что человеческой природе свойственно гармоническое сочетание рационального и возвышенного, и горе человечеству, если стремление к лучшей жизни посеет «в сердцах корысть» и перерастет в страсть к наживе и приобретательству, вытеснив духовные запросы; духовное оскудение неминуемо приведет к физическому вымиранию. Эти мысли и до появления «Сумерек» Баратынский высказывал в стихотворении «Последняя смерть», напечатанном в «Северных цветах на 1828 год».

Любопытно созвучие этих мыслей с тем, что писал в середине века Вяземский: «А между тем жадность к корысти, к прибыли сделалась повальною лихорадкою, всеувлекающим потопом. Общество духовно умерло, чувство личной независимости, личной гордости смято, убито: мертвые срама не имут».

Тематически состав сборника «Сумерки» разнообразен: есть в нем стихи об отношении человека к природе, об одиночестве и отчужденности, о преждевременном старении души, есть антологические опыты. Примечательно стихотворение «Осень»: об осени в природе — поре сбора урожая и об «осени дней» человека — поре подведения итогов. У человека, узнавшего «обманы и обиды», испытавшего «глубину людских безумств и лицемерий», эти итоги способны вызвать «вопль тоски великой». В природе на смену осени приходит зима. Героя Баратынского не ждет уже ничего:

Зима идет, и тощая земля
    В широких лысинах бессилья,
И радостно блиставшие поля
    Златыми класами обилья,
Со смертью жизнь, богатство с нищетой —
    Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой,
    Однообразно их покрывшей,—
Перед тобой таков отныне свет,
Но в нем тебе грядущей жатвы нет!

В работе над последними строфами этого стихотворения Баратынского застало известие о гибели Пушкина. Вызванное им потрясение стало одной из причин столь пессимистического финала.

Жизненные наблюдения поэта по большей части безрадостны, но мыслящий человек, как писал В. Г. Белинский, «всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них *человека* — предмет, вечно интересный для человека». Белинский, как тонкий знаток поэзии, высоко ценил поэтическое мастерство Баратынского, удостоив его первого места в пушкинском «созвездии» поэтов. Но революционному демократу Белинскому общая направленность его творчества последних лет была чужда. Отсюда его резкая критика позднего творчества Баратынского, и особенно сборника «Сумерки».

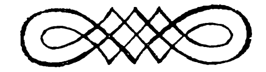
В 1828 году, еще в пору своей громкой известности, Баратынский писал о себе:

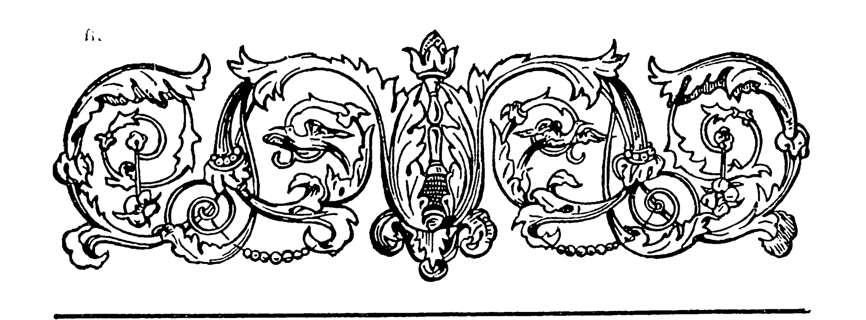
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Почти через сто лет поэт Осип Мандельштам, читая эти строки, вспоминал отважных мореходов, бросавших в морские волны запечатанные в бутылки послания. Таким посланием, прошедшим безбрежные просторы времени и попавшим к нужному адресату, воспринял он стихи Баратынского: «Читая стихотворение Баратынского, я испытываю то же чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихией пришел ей на помощь — и помог исполнить ее предназначе-

ние... Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Баратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени».

И снова вспоминаются пушкинские слова о Баратынском: «Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько одаренного вкусом и чувством».





В „ДРУЖИНЕ СЛАВЯН“

Поэзия!! Люблю ее без памяти, страстно...

А. С. Грибоедов

Я сам не раз гоним судьбой враждебной,
Бичом ее пробитый до костей,
Спасался в край поэзии волшебной...

П. А. Катенин

История античности сохранила такой эпизод. Диоген Синопский, будущий знаменитый философ, пришел в Афины учиться к признанному мудрецу Антисфену. Тот, по своему обыкновению, не принял его, а когда Диоген проявил настойчивость, замахнулся на него палкой. Подставив голову, Диоген произнес: «Бей, но у тебя не найдется такой дубины, чтобы прогнать меня, пока у тебя будет что сказать».

Пушкин вспомнил этот эпизод, когда осенью 1818 года шел знакомиться с Павлом Александровичем Катени-

ным. Тот жил в казармах первого батальона лейб-гвардии Преображенского полка на Зимней канавке (улица Халтурина, участок дома № 33). Пушкин поднялся на третий этаж, где жили офицеры, нашел квартиру Катенина и, протягивая хозяину трость, произнес:

— Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

— Ученого учить — портить,— отпарировал Катенин.

«Через четверть часа,— вспоминал Павел Александрович,— все церемонии кончились, разговор оживился, время неприметно прошло, я пригласил остаться отобедать; пришли еще кой-кто, так что новый знакомец ушел уже поздним вечером».

Что же привело Пушкина к Катенину?

Еще в пору первых шагов в поэзии Пушкин и его лицейские друзья стали свидетелями бурных споров в литературном мире. Предметом споров были вопросы истории развития языка, главенства жанров, проблемы размера стиха и многое другое. Иногда полемика принимала довольно ожесточенный характер. Так, по выражению В. А. Жуковского, «страшная война на Парнасе» разгорелась между известными обществами 1810-х годов — «Арзамасом» и «Беседой любителей русского слова».

Началась эта «война» после выхода в 1803 году «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка». Автором «Рассуждения» был адмирал А. С. Шишков, человек глубоко реакционных убеждений. Консерватизм Шишкова проявился как в его литературной, так и в государственной деятельности (он был членом Государственного совета, с 1813 года — президентом Российской Академии, позднее стал министром народного просвещения и главой цензурного ведомства). В области литературы идеи Шишкова сводились к подчинению ее самодержавно-крепостнической идеологии. «Рассуждением» Шишков начал борьбу против литературных открытий Н. М. Карамзина, с именем которого связано утвержде-

ние сентиментализма в русской литературе и важнейшие изменения в области языка. Карамзин стремился придать литературному языку живость и легкость, искоренял из него церковнославянизмы. Это было не просто стремление к обновлению литературного языка, к расширению его выразительных средств. С новыми словами и выражениями Карамзин вводил в сознание своих современников новые понятия и идеи.

Шишков же и его сторонники, напротив, ратовали за сохранение в языке церковнославянизмов, поэтому их и прозвали «славянами». В «высоком слоге» Шишков видел средство выражения официальной идеологии. Он выступал против новых веяний в литературе, против ее стремления к раскрытию внутреннего мира человека. Находя в творчестве Карамзина влияние французской литературы, он с возмущением подчеркивал, что это ведет к заимствованию новых, «французских», идей — развивает «наклонность к безверию, к своевольству, к новой и пагубной философии». В противовес Карамзину и «карамзинистам» Шишков делал ставку на русский фольклор, видя в нем якобы исконную приверженность народа к патриархальным устоям, небесному и земному владыкам.

Ко второму десятилетию XIX века, когда в политике Александра I усилились реакционные тенденции, заметно повысилась и активность охранительных сил в литературе. В 1811 году по инициативе Шишкова образовалась «Беседа любителей русского слова». В 1815-м «карамзинисты» сплотились в «Арзамасе». Оба общества просуществовали относительно недолго: «Беседа» перестала собираться в 1816 году, «Арзамас» провел свое последнее заседание в апреле 1818-го.

В споре этих обществ обозначились некоторые пути дальнейшего развития русской поэзии. Он обнажил общественный консерватизм и отсталость художественных взглядов теоретиков «Беседы», но вместе с тем и ограни-

ченность литературной программы «Арзамаса». «Беседчики» справедливо упрекали своих противников в излишнем увлечении сентиментально-пасторальными мотивами, в ориентации на разговорный стиль великосветского салона, в отказе от «низкой» (просторечной) лексики. Они ратовали за самобытность языка, за внимание к фольклору. Показательно, что сам Карамзин внимательно отнесся к доводам своих литературных противников и в определенной мере преодолел в «Истории государства Российского» недостатки своего стиля. Это было результатом глубокого изучения и художественного освоения летописей и народных сказаний, легших в основу этого труда.

В лоне «Арзамаса» развивался в лицейские годы Пушкин. Но в последующие годы он стал отходить от безоговорочной приверженности «арзамасскому» направлению и проявлять интерес к некоторым взглядам противников. По его собственному признанию, произошло это в первую очередь под влиянием П. А. Катенина. Несколько лет спустя Пушкин писал ему об этом с благодарностью: «Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли». Пушкин сумел постепенно осмыслить весь литературный процесс с его различными течениями, как явными, так и подводными — не признанными или не замеченными другими. Он отбрасывал случайное и сосредоточивался на том, что считал нужным для своей поэзии, на том, что находил перспективным для развития литературы.

В 1818 году, когда Пушкин пришел «учиться» к Катенину, на поле брани «Беседы» и «Арзамаса» уже наступила тишина. Но некоторые идеи, разработанные теоретиками канувшей в Лету «Беседы», приняли на вооружение молодые литераторы П. А. Катенин и А. С. Грибоедов. В 1821 году к ним примкнул В. К. Кюхельбекер. Он-то и назвал «дружиной славян» «беседчиков» и их

последователей, включив сюда А. С. Шишкова, П. А. Катенина, А. С. Грибоедова, С. А. Шихматова и себя. К ним можно присоединить и А. А. Шаховского и некоторых других. Но если старшее поколение этой «дружины» — «беседчики» — занимали позиции общественно реакционные, то молодые «славяне» — Катенин, Грибоедов и Кюхельбекер — развивались под знаменем формировавшегося декабризма. Переосмысливая идеи «Беседы» с передовых позиций, они унаследовали от нее приверженность к фольклору, быту, просторечию. Ратуя за «высокий слог», они видели в нем средство выражения не казенно-патриотических, а гражданских идей и чувств.

В конечном итоге эстетические позиции молодых «славян» оказались различны. У каждого сложился свой путь, но начало было общее — наследие «славян».

* * *

Павел Александрович Катенин, костромской дворянин, родился в 1792 году. Он принадлежал к тому поколению, которое получило закалку в грозных событиях 1812 года. Бесстрашный офицер, он храбро сражался на Бородинском поле, а также при Люцене, Кульме, Лейпциге. Катенин был прекрасно образован, и, по свидетельству хорошо его знавшего актера П. Каратыгина, «не было ни одного исторического события, которого бы он не мог изложить со всеми подробностями. Это была живая энциклопедия».

Смолоду Катенин ощутил призвание к литературе и театру. Перед войной в печати появилось несколько его поэтических переводов и переделок. Тогда же он начал сочинять и переводить для сцены. В 1811 году в Петербурге была поставлена переведенная им трагедия французского драматурга Тома Корнеля «Ариадна». С театром связана лучшая пора жизни Катенина. В 1810-х годах театр был важнейшей сферой духовной жизни России.

На сцене тех лет отразилась и борьба литературных течений, и ратоборство общественных сил. Катенин посвятил театру талант переводчика и драматурга, критика и педагога.

Любовь к театру и поэзии свела Катенина с Грибоедовым. Они познакомились в Петербурге вскоре после окончания войны. Катенин и до войны служил в столице. Грибоедов же жил в Москве. Во время войны Грибоедов служил в гусарах, но непосредственного участия в сражениях ему принять не довелось. В конце 1814 года он получил отпуск и вскоре приехал в Петербург.

Еще во время войны, в Брест-Литовске, Грибоедов познакомился с князем Александром Александровичем Шаховским, крупнейшим драматургом, поэтом, известным режиссером, заведующим репертуарной частью в дирекции императорских театров, фактическим главой петербургской сцены. В столице Грибоедов сразу возобновил знакомство и, по некоторым сведениям, даже поселился с ним в одном доме. Шаховской жил тогда на Офицерской улице (теперь Декабристов), где-то вблизи Офицерского (Львиного) переулка в не сохранившемся до наших дней деревянном доме Лефебра. Отсюда он вскоре переехал в дом статского советника Петра Клеопина на Малую Подьяческую (теперь дом № 12), где занял верхний (тогда второй) этаж, прозванный друзьями в шутку «чердаком». Грибоедов же не позднее ноября 1816 года поселился рядом, в доме «столярного немецкого мастера» Ивана Вальха — у Харламова моста на Екатерининском канале (теперь дом № 104 по каналу Грибоедова у Комсомольского моста).

Особенностью этих кварталов была царившая тут атмосфера театра — ведь рядом, на Театральной площади, находился Большой театр (снесен в конце прошлого века), а вокруг жили актеры, драматурги, театральные служители. Поблизости, на Екатерининском канале, располагалась Театральная школа (дом № 93), а

рядом — дом театральной дирекции, в котором были квартиры артистов (дом № 97).

Две-три минуты ходьбы отделяли новую квартиру Грибоедова от «чердака» Шаховского. Вечером он часто направлялся туда. Там собирались многочисленные знакомые князя — сочинители, актеры, просто поклонники сценического искусства — словом, те, кто любил театр и не мыслил без него своей жизни. Бывал у Шаховского и Катенин.

Через несколько лет, когда Шаховской жил в другом доме (набережная Фонтанки, 155), один из его гостей запомнил и позднее детально описал его кабинет. По-видимому, обстановка кабинета немногим отличалась от той, что была на Подьяческой. «С левой стороны,— писал мемуарист,— стояли шкафы с книгами, а на шкафах — бюсты древних философов и некоторых великих поэтов. По стенам всего кабинета развешены были гравированные портреты великих и замечательных людей по всем отраслям человеческих знаний...» Далее упоминаются гипсовые барельефы, красивые растения, бюст Петра Великого, старинные часы в футляре из черного дерева, два письменных стола «со всевозможными принадлежностями к письменному делу», «диваны и диванчики и многоразличные кресла».

Вечера Шаховского затягивались порой до двух-трех часов ночи. Авторы читали здесь свои произведения, а актеры разыгрывали сценки из них. Бурные споры разгорались вокруг театральных новинок, рецензий. Особенное удовольствие гостям доставляли репетиции, проходившие тут же под руководством хозяина. Шаховской так самозабвенно увлекался театральным действием, что вместе с актером то плакал, то смеялся. Порой он бормотал что-то невнятное, вскрикивал, производил порывистые, комичные движения и нередко, удовлетворенный игрой актера, со слезами и распростертыми объятиями бросался к нему. Но горе было тому, кем Ша-

ховской оставался недоволен. В порыве негодования он подолгу бранился; взывая к гостям, жаловался на бездарность своего подопечного, грозил и умолял играть иначе. Нужно представить внешность Шаховского, чтобы вполне оценить комизм таких сцен: высокий, тучный, с большим животом, но очень подвижный, что совсем не вязалось с его сложением. «На большом, мясистом лице его красовался огромный орлиный нос,— писал современник,— брови были узкие и нависшие... глаза карие, маленькие, но полные огня и блеска...» Говорил он тонким голосом, а когда увлекался, то скороговоркой, невнятно, не выговаривая многих букв. Глядя на него, некоторые недоумевали, как же при своей фигуре и произношении дает он уроки трагической декламации: ученики ведь должны при этом умирать со смеху?

Александр Александрович был на редкость плодовитым драматургом. Из-под его пера вышло множество пьес и некоторые на рубеже 1820-х годов составляли основу театрального репертуара. По поводу пьес, не имевших успеха, Шаховской отшучивался: «Все думают, что это я писал,— и все ошибаются, потому что это писал Макар!» Макар был его камердинером.

Большой успех имели пьесы в стихах, сатирически изображавшие нравы помещиков и дворян. Одна из них, наиболее талантливая —«Урок кокеткам, или Липецкие воды»,— впервые была поставлена в сентябре 1815 года. Правда, в комедию «беседчик» Шаховской ввел персонаж, пародирующий В. А. Жуковского, одного из своих литературных неприятелей, за что «Липецкие воды» были многими осуждены (кстати, это событие послужило толчком к образованию «Арзамаса»). Но в комедии было немало любопытного, остросовременного, что вызывало интерес зрителей. Драматург убедительно изобразил светское общество, праздное, погрязшее в интригах, кокетстве, сплетнях.

Однако сатирическое направление в творчестве Шаховского сочеталось с официозным патриотизмом. Отсюда и тот оттенок иронии, с которым к нему относилась передовая молодежь, в том числе Катенин и Грибоедов. Это, конечно, не мешало им бывать у Шаховского, человека кипучей энергии, безгранично преданного делу, бывшего в гуще театральной жизни. Лучшие пьесы Шаховского стали школой для молодых драматургов. В них подмечали они и колкую иронию, и живость стиха, и легкость языка, не гнушавшегося просторечной лексики.

Бурлящая жизнь Петербурга захватила Грибоедова. Он подал в отставку и остался в столице, решив посвятить себя театру. Одним из первых наставников его на этом поприще и стал Шаховской. По-видимому, по его совету Грибоедов переделал комедию французского драматурга Крезе де Лессера «Семейная тайна», и с одобрения Шаховского она под названием «Молодые супруги» была поставлена в сентябре 1815 года на подмостках Малого театра (в 1832 году этот театр был снесен в связи с постройкой Александринского — ныне Академический драматический имени Пушкина — театра).

Вокруг подружившихся Грибоедова и Катенина постепенно образовался небольшой литературно-театральный кружок, в который вошли Андрей Жандр, Александр Чепегов, Дмитрий Зыков; примыкал к нему и драматург Николай Хмельницкий. Встречаясь у Грибоедова или у Катенина на Миллионной, они обсуждали планы задуманных произведений, читали написанное, а иногда и сочиняли сообща. В репертуаре столичных театров стали появляться пьесы, созданные Грибоедовым в соавторстве с Жандром, Хмельницким, Шаховским.

Катенин любил в кругу друзей читать стихи. Недаром он на всю столицу славился искусством декламации, которому обучал актеров Василия Каратыгина и Александру Колосову. А еще славился он горячностью в спорах. Небольшого роста, очень подвижный, он, по выражению

мемуариста Ф. Вигеля, вечно кипел, словно «кофейник на конфорке». Колосова писала: «Он мог вести диспуты с кем и о чем угодно и своей неотразимой диалектикой сбить с толку, обезоружить своего противника и доказать все, что бы ему ни хотелось доказать. Декламировать, рассказывать увлекательно, острить, спорить, опровергать, доказывать — вот сфера, в которой он не имел соперников».

Много шуму вызывали и литературные произведения Катенина, особенно баллады «Ольга» и «Убийца», отчетливо ориентированные на натуру, быт, нарочитую простоту и даже грубоватость. Баллада «Убийца», напечатанная в 1815 году, предвосхищала стилевые черты Некрасова. Современников Катенина она неприятно удивила натуралистичностью описания крестьянского быта, грубостью некоторых выражений. «Непоэтично», с их точки зрения, звучали, например, такие выражения, как «пялишь очи», «с рук сбыл дурака». Героя баллады, совершившего подлое убийство, многие годы казнит совесть. По ночам ему не дает заснуть единственный свидетель преступления — светящий в окно месяц. В порыве отчаяния и страха герой грозит ему: «Гляди, плешивый! не побоюсь тебя...» Слово «плешивый» особенно возмутило критиков.

Шумная полемика поднялась и вокруг «Ольги». В основу баллады Катенин положил сюжет «Леноры» Бюргера, переведенной Жуковским. Катенин намеренно русифицировал бюргеровскую балладу. Героиня получила русское имя, место действия было перенесено в Россию. Гнедич обвинил его в «оскорблении слуха, вкуса и рассудка». На защиту Катенина встал Грибоедов. Он выступил со статьей, в которой горячо поддержал его художественные принципы и подчеркнул необходимость ориентации на «натуру», то есть на национальный характер, на самобытность поэтического стиля. В «арзамасском» лагере статья Грибоедова прозвучала эхом

«Беседы». «Откуда взялся рыцарь Грибоедов? Кто воздоил сего кандидата Беседы пресловутой?» — вопрошал в письме к Гнедичу из Москвы Василий Львович Пушкин. Через несколько лет племянник Василия Львовича подвел итог этому спору, отдав должное Катенину и его защитнику Грибоедову. Пушкин сумел оценить поэтическую смелость Катенина, а «Убийцу» признал лучшей из его баллад. В 1825 году Пушкин сам написал подобную балладу «Жених». Любопытно, что и Жуковский позднее взялся заново переводить «Ленору», признав тем самым недостатки своего перевода, с которым спорил Катенин.

Увлеченные литературной полемикой, Грибоедов и Катенин написали комедию в прозе «Студент» (предполагается, что участие Катенина было незначительным). Центральный персонаж комедии — чудаковатый провинциальный студент-поэт Беневольский. Его речи и стихи изобиловали пародиями на поэтов «арзамасского» стана — Жуковского, Батюшкова, В. Л. Пушкина и молодого А. Пушкина. Однако более интересна, пожалуй, не полемическая направленность комедии, а обозначившийся в ней сатирико-обличительный пафос, позднее гениально раскрывшийся в «Горе от ума». Несомненна связь персонажей «Студента» с будущими героями «Горя от ума»: в петербургском вельможе Звездове угадываются черты московского барина Фамусова (одним из реальных прототипов того и другого был живший в ту пору в Петербурге дядюшка Грибоедова Алексей Федорович, который, по словам племянника, «как лев, дрался с турками при Суворове, потом пресмыкался в передних всех случайных людей в Петербурге, в отставке жил сплетнями»), в его свояке гусарском ротмистре Саблине проглядывает Скалозуб, в Полюбине, угодничающем перед Звездовым, намечается Молчалин. Комедия, написанная в 1817 году, при жизни авторов на сцене не ставилась.

Независимость литературных мнений кружка Катенина — Грибоедова сочеталась со смелостью политичес-

ких суждений. Катенин принимал деятельное участие в ранних декабристских организациях. Осенью 1817 года он возглавил одно из отделений Военного общества. На клинке его шпаги была опознавательная надпись: *За правду*. Вероятно, тогда же Катенин написал ставший популярным в среде вольнолюбивой молодежи революционный гимн (вольный перевод «Гражданского гимна» французской революционной армии, написанного врачом Ж.-А. де Буа):

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
Мы свергнем и трон и царей!
Свобода! свобода! ты царствуй вовеки над нами,
Тиран, трепещи! уж близок падения час!
Ах, лучше смерть, чем жить рабами,—
Вот клятва каждого из нас!

Грибоедов организационно к декабристскому движению не примыкал. Но среди его близких знакомых помимо Катенина было немало виднейших деятелей тайного общества. Еще со времен Московского университета он хорошо знал Н. Муравьева, Н. Тургенева, И. Якушкина, С. Трубецкого, П. Чаадаева, с которыми в послевоенные годы встретился вновь в Петербурге. В 1818 году вступил в Союз благоденствия и его ближайший друг с военных лет Степан Бегичев. В общении с декабристами складывались передовые взгляды и убеждения будущего автора «Горя от ума».

В июне 1817 года в Петербурге появились только что окончившие Лицей Пушкин и Кюхельбекер. Они были приписаны к Коллегии иностранных дел, куда почти одновременно с ними определился и Грибоедов (без штатной должности). Знакомство его с молодыми поэтами состоялось в литературных гостиных, но оно было беглым.

Тогда же, летом 1817-го, и Катенин впервые увидел Пушкина. Произошло это в театре. В антракте, на ходу, ему представил Пушкина Гнедич (строгий критик его

баллад). «Вы его знаете по таланту,— сказал Гнедич,— это лицейский Пушкин». Катенин обрадовался знакомству. Но ближе узнать Пушкина ему сразу не довелось, так как полк его выступал в Москву. Прошло около года, прежде чем гвардия вернулась в столицу. Тогда-то Пушкин и пришел к Катенину на Миллионную, «как Диоген к Антисфену».

Катенина заинтересовала поэма «Руслан и Людмила», и Пушкину пришлось не раз читать из нее отрывки. Слушая, Катенин многое одобрял, ведь в поэме было приметно влияние «славян» — и в картинах древнерусского быта, и в обращении к просторечию. Но многое в «Руслане и Людмиле» шло и от «карамзинистов» — Пушкин начинал синтезировать различные языковые стили. Как в его поэме, так и в стихотворениях Катенин принимал не все и говорил об этом прямо, только порой излишне самоуверенно, менторски. Пушкин, видевший дальше своего наставника, на словах соглашался, а на деле следовал его советам не всегда.

В декабре 1818 года Пушкин попросил Катенина познакомить его с Шаховским. Тут он встретил И. А. Крылова, давнего приятеля хозяина, Н. И. Гнедича и других своих знакомых по театру и литературным салонам. По просьбе Шаховского Пушкин несколько раз читал у него отрывки из «Руслана и Людмилы». Князю поэма понравилась, и позднее он поставил по ней на сцене «волшебную комедию в стихах» под названием «Финн».

В те годы Пушкина очень занимал театр. Он интересовался драматургией и сценическим искусством. Возможно, он уже задумывался о работе для театра. Все это также привлекало его к Катенину и Шаховскому, чьи заслуги перед русской сценой он увековечил потом в «Онегине»:

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;

Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой...

Интересовал Пушкина и Грибоедов. При неблизком знакомстве Пушкин сумел угадать в нем недюжинные способности, рассмотреть «человека необыкновенного». Об этом он рассказал позднее в «Путешествии в Арзрум»: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества,— все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан... Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном». Как замечательна эта характеристика своей лаконичностью, точностью, проницательностью!

Так случилось, что только перед гибелью Грибоедова Пушкину довелось узнать его близко. В конце же 1810-х годов, когда он стал бывать у Катенина и Шаховского, Грибоедов оказался далеко от Петербурга. Отъезд его был связан с драматическим событием, которое произошло осенью 1817 года.

Грибоедов к тому времени был известен как драматург. Себя шутливо рекомендовал: «Я молод, музыкант, влюбчив и охотно говорю вздор...» Гусарская закваска военных лет бродила в нем. Светская и рассеянная жизнь в кругу столичной молодежи наложила на него свой отпечаток. «Пылкие страсти» руководили этой молодежью, заставляя поднимать тосты во имя Вакха и Киприды, просиживать ночи за ломберными столами, влюбляться в женщин и стреляться за них.

Среди знакомых Грибоедова была знаменитая балерина Авдотья Истомина, пленявшая многих своим искус-

ством и своей красотой и обаянием. Два приятеля Грибоедова — Завадовский и Шереметев (сослуживец Бегичева) были равно увлечены ею. Истомина ответила на ухаживания молодого кавалергарда Василия Шереметева. В ноябре 1817 года у них произошла размолвка, и Грибоедов, скорее всего по просьбе Завадовского, у которого временно жил, привез Истомину к нему на квартиру (Невский проспект, 13). Там, по словам балерины, Завадовский объяснился ей в любви, но получил отказ. После этого она была отвезена Грибоедовым домой. Этот визит привел к кровавому поединку на Волковом поле между Шереметевым и Завадовским. Шереметев был смертельно ранен. Еще до поединка приятель Шереметева Александр Якубович, «отчаянный кутила и дуэлист», как отзывался о нем актер П. Каратыгин, бросил вызов Грибоедову, считая его зачинщиком всей истории. Они должны были стреляться тут же, вслед за первой парой, и только смертельное ранение Шереметева заставило отложить эту дуэль. Но она состоялась позднее в Тифлисе и оставила Грибоедову памятный след — пуля прошла через ладонь опущенной вниз левой руки.

Смерть Шереметева потрясла Грибоедова: он чувствовал долю своей вины. Это заставило его глубоко задуматься о себе и, по словам Пушкина, «проститься с праздной рассеянностию» и «круто поворотить свою жизнь». В августе 1818 года в качестве секретаря дипломатической миссии в Персии (ныне Иран) Грибоедов отправился в эту далекую южную страну. В это время у него усилилось чувство неудовлетворенности собой, обострилась потребность максимальной внутренней цельности и духовной сосредоточенности. Окрепший талант и передовое мировоззрение подготовили его к созданию произведения нового, неизмеримо более глубокого, чем те комедии, с которых он начинал. Наступил черед его главного труда — «Горя от ума».

* * *

«Худшая из стран — место, где нет друга». Этим восточным изречением Грибоедов закончил одно из писем Катенину. В Персии, а потом в Грузии он тосковал по друзьям. В мыслях о петербургском прошлом часто представлялся ему Катенин, и это воспоминание, по его словам, придавало «прелесть родной стороне». Но когда в 1824 году Грибоедов наконец приехал в Петербург, Катенин уже давно отбывал ссылку в деревне.

Ссылке предшествовала отставка. В июле 1820 года Павел Александрович был произведен в полковники, но уже в сентябре неожиданно уволен со службы. Причины отставки не вполне ясны. По версии П. Каратыгина, она была вызвана «дерзким» ответом великому князю Михаилу Павловичу. Произошло это во время смотра батальона. Великий князь заметил у какого-то солдата заплатку на рукаве. Подозвав Катенина, он возмущенно спросил: «Что это? Дыра?» Катенин же язвительно-учтиво ответил: «Никак нет, ваше высочество, это заплатка; и именно затем, чтобы не было дыры, которую ваше высочество заметить изволили». Поведение Катенина было расценено как вызывающее, и вскоре ему пришлось снять только что сшитый полковничий мундир. Он остался в столице, продолжая свои литературно-театральные занятия. Но через два года его постигла новая репрессия. Александр I, придравшись к ничтожному происшествию в театре, велел выслать Катенина без права въезда в обе столицы, как замеченного «неоднократно с невыгодной стороны».

К этому времени Катенин уже отошел от движения декабристов (существует очень правдоподобное предположение, что он, человек решительный, не терпевший отлагательств, не был согласен с тактикой Союза благоденствия, рассчитанной на многолетнюю агитацию и просветительскую пропаганду). Но политическое фрондерство Катенин сохранил и был у правительства на плохом

счету. Не исключено, что властям стал известен и его революционный гимн «Отечество наше страдает...», популярный в кругах бунтарской молодежи.

Подробности о происшествии в театре, послужившем непосредственным поводом к ссылке Катенина, сообщил в рапорте Александру I столичный генерал-губернатор Милорадович: «18 сентября давали на Большом театре трагедию «Поликсена», в которой ролю Гекубы играла Семенова большая, ролю Пирра — <В.> Каратыгин, а ролю Агамемнона Брянской. Публика, по обыкновению, вся вообще, аплодировала Семеновой, отчасти же аплодировала и Каратыгину. По окончании спектакля публика вызывала Семенову... Некоторые голоса вызывали новую дебютантку, воспитанницу театральной школы Азаревичеву, игравшую ролю Поликсены. Отставной полковник Катенин кричал: «Каратыгина!» Когда занавес был поднят, то показалась Семенова с Азаревичевой и принята была с обыкновенным восторгом, но полковник Катенин кричал: «Не надобно нам их; дайте нам Каратыгина!» Встал из кресел и махал руками, повторяя сие с криком несколько раз... На счет поступка Катенина были в партере неприятные суждения. Я был в креслах, и хотя я заметил поступок Катенина, но не подавал никакого вида. На другой день узнал я, что Катенин уговорил нескольких своих знакомых как можно больше аплодировать Каратыгину и стараться, чтобы он был вызван прежде Семеновой; но когда увидал, что публика желала вызвать Семенову, то сделал ей вышеозначенное огорчение. Узнал я также, что Катенин дерзок и подбирает в партере партии, дабы господствовать в оном, и заставляет актеров и актрис искать его покровительства. А посему и нашел я приличным пригласить к себе полковника Катенина, внушил ему неблагоразумный его поступок... Советовал ему впредь в русский театр не ездить, дабы решительно прекратить подобные поступки и могущие от оных случиться неприятные происшествия».

Запрет на посещение театра был сильным ударом для Катенина, но едва ли он мог подозревать, как посмотрит на все это Александр I. 7 ноября 1822 года около 11 часов утра в квартиру Катенина явился полицмейстер и объявил ему «высочайшую волю»: незамедлительно покинуть Петербург. Катенину даже не предоставили обычных в таких случаях 24 часов на сборы. Выдворенный из Петербурга, он сначала поселился в Красном Селе. Но это не понравилось Милорадовичу — там находились летние лагеря гвардии. Тогда Павел Александрович переехал в «Красный кабачок» — популярный трактир-гостиницу, известный еще со времен Петра I. Он стоял на берегу речки Красненькой у Петергофской дороги. В «Кабачке» обычно веселилась столичная молодежь. Катенину же было не до развлечений — он готовился к отъезду в Шаёво — родовое имение под Костромой. 5 декабря он покинул «Кабачок» и вскоре стал называть себя «шаёвским ссыльником».

1822 год ознаменовался рядом правительственных мер, направленных на искоренение вольномыслия, одной из них была и ссылка Катенина. В тот год всех служащих обязали дать подписку о неучастии в любых тайных обществах и масонских ложах, которые были тогда же запрещены. На юге был арестован В. Ф. Раевский («первый декабрист») и отстранены от командования генералы М. Ф. Орлов и П. С. Пущин — члены Союза благоденствия.

Изредка «шаёвский ссыльник» получал письма от Грибоедова. Каждое становилось для Катенина событием, а осенью 1824 года пришло письмо особенное — Грибоедов приложил к нему список своей новой комедии «Горе от ума». Комедия только отчасти пришлась по вкусу Катенину. Он нашел в ней много «ума и соли». Понравились «вольные, легкие и разговорные» стихи, «смелые выходки». Но общее впечатление все-таки складывалось отрицательное. Понять и принять новый, реалистический

метод Грибоедова Катенин не смог и свое мнение с привычной прямотой изложил в письме. Грибоедов в то время был в столице, и Катенин легко представлял себе, сколько шуму производила там комедия, сколько споров разгоралось вокруг нее. Тяжело было Павлу Александровичу с его безудержным полемическим темпераментом отсиживаться в такое время в костромской глуши.

* * *

В литературной среде Петербурга и впрямь много говорили о Грибоедове. «Его рукописная комедия «Горе от ума»,— отмечал позднее Пушкин,— произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами». Грибоедов вспоминал, что в самые первые дни после приезда в Петербург ему пришлось прочесть комедию более десяти раз. «Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет»,— писал он.

Шесть лет Грибоедов отсутствовал в столице. Работая над «Горем от ума», он часто обращался мысленно не только к Москве, но и к Петербургу, где тоже доводилось ему видеть подобных Фамусовым, Скалозубам и Молчалиным (вспомним хотя бы персонажей его комедии «Студент» — жителей Петербурга). Огромный, кропотливый труд был уже позади, когда Грибоедов в первых числах июня 1824 года оказался в столице. Но и день приезда был ознаменован продолжением этого труда. «...На дороге мне пришло в голову приделать новую развязку...— писал он Бегичеву,— стихи искрами посыпались, в самый день моего приезда...»

Поэт остановился в гостинице «Демутов трактир». Основанная французом Демутом еще в екатерининское время, гостиница издавна приобрела репутацию одной из лучших в столице. Демут купил участок между Мойкой и Конюшенной улицей, в самом центре города (теперь набережная Мойки, 40, и улица Желябова, 27), и

постепенно застроил его невысокими каменными домами. Парадный въезд был с набережной Мойки, куда выходили торцами два гостиничных корпуса. Между ними были ворота, через которые коляски и кареты путешественников въезжали во двор (в 1833 году оба здания были частично разобраны, ворота сняты и построено трехэтажное здание, позднее весь комплекс перестраивался). Выбрав комнаты, Грибоедов тут же взялся за рукопись — нужно было записать все, что сочинил в пути.

Затем начались визиты, встречи со старыми знакомыми и друзьями. Шаховского он нашел в том же доме на Подьяческой. Его «чердак» по-прежнему вечерами был многолюден. Выслушав комедию, Шаховской тут же признался, что считает себя побежденным, но добавил — «на этот раз», надеясь еще перещеголять своего бывшего подопечного.

Недалеко от Шаховского в доме купца Игнатия Егермана на набережной Мойки (ныне дом № 82) жил один из верных товарищей Грибоедова — поэт, переводчик и драматург Андрей Жандр. Грибоедов виделся с ним часто. Бывал он и у Греча. Тот жил на Невском в доме купца Косиковского (теперь дом № 15), где находился популярный ресторан француза Пьера Талона (упомянутый Пушкиным в «Онегине»). Квартира Греча находилась на третьем этаже. В том же доме жил и содержал типографию книгоиздатель Адольф Плюшар; в нем же находилась редакция «Отечественных записок» П. П. Свиньина. Греч издавал «Сын отечества» — один из наиболее признанных читателями журналов, в котором печатал К. Рылеева и А. Бестужева, В. Кюхельбекера и Ф. Глинку. Его можно было видеть на заседаниях почти всех ведущих столичных обществ — Ланкастерского, «Ученой республики», ложи «Избранного Михаила». В ту пору он занимал умеренно либеральную позицию, которую после трагических событий 14 декабря 1825 года сменил на сугубо реакционную. Это не мешало ему

позднее не без гордости вспоминать, что в его квартире на Невском собирался «цвет умной молодежи» — братья Бестужевы, Батеньков, Тургеневы... Грибоедов нашел тут немало прежних знакомых.

Из незнакомых обращал на себя внимание высокий господин с малопривлекательным лицом и отрывистым, грубоватым голосом, глаза которого часто заискивающе смотрели на Грибоедова. При знакомстве выяснилось, что это Фаддей Булгарин, которого Грибоедов заочно знал как издателя «Северного архива» и «Литературных листков». Говорили, что Булгарин подумывает и об издании газеты. Вообще о нем в столице ходили всякие слухи. Говорили, что в кампании 1806—1807 годов он, бывший воспитанник Первого кадетского корпуса, воевал и был ранен (это было правдой), а в войне 1812 года оказался в польской армии, воевавшей против России (и это соответствовало действительности). Поговаривали, что он не всегда порядочен в журналистско-издательских делах и подличает со своими конкурентами. Доходили ли до Грибоедова все эти разговоры? Видимо, да. Но у Булгарина была и другая репутация: не лишенный таланта энергичный журналист, живущий интересами современной литературы, приятель Рылеева (тот даже посвящал Булгарину свои произведения). В отношении к Грибоедову Булгарин проявил не только услужливое внимание, но и чувство, близкое к благоговению. Постепенно он сумел расположить к себе Грибоедова и войти в число его близких приятелей. Правда, на фоне дружбы Грибоедова с Бегичевым, Жандром и другими отношение его к Булгарину было явно снисходительным. И все-таки эта близость сегодня кажется странной. Но нельзя забывать, что представление о Булгарине как официозном литераторе, доносчике и противнике пушкинского круга писателей сложилось в конце 1820-х — в 1830-х годах. Грибоедов же, как и Рылеев, узнал Булгарина раньше, когда его общественное лицо еще не определилось так явно.

Сам Булгарин объяснял свое сближение с Грибоедовым вот еще каким обстоятельством: когда-то в Варшаве он пригрел у себя больного юношу, однополчанина и друга Грибоедова, корнета Петра Генисьена. Генисьен умер, но о добром поступке Булгарина перед смертью успел сообщить Грибоедову в письме. Своего нового приятеля Грибоедов навещал в доме купца Котомина на Невском (теперь дом № 18), он жил как раз напротив Греча.

Друзья предлагали Грибоедову переселиться из гостиницы к ним. Он откликнулся на предложение Александра Одоевского. Несмотря на родство, Грибоедов раньше его почти не знал и был приятно удивлен, найдя в Одоевском «множество прекрасных качеств». Сразу угадывалась в нем и душа поэта. Одоевский действительно писал стихи, но посвящал в них только близких, в журналы не отдавал. В конце августа Грибоедов переехал от «Демута» в Стрельну, где Одоевский находился с полком. Несколько позже он расположился в петербургской квартире Одоевского — в доме жены коллежского асессора Погодина на Торговой улице (теперь улица Союза Печатников, 5). Снова, как и в прежние годы, считанные шаги отделяли жилище Грибоедова от Большого театра: нужно было только пройти один квартал и пересечь по Торговому мосту Крюков канал. В противоположном направлении Торговая улица уходила в глубину тихой Коломны, как издавна называли эту окраинную часть Петербурга. Улица упиралась в Козье болото (теперь сквер за Дровяным переулком), а дальше улочки вели в сторону устья Невы, к низкому берегу Финского залива. Оттуда 7 ноября 1824 года на город обрушилась беда — самое большое и разрушительное в истории Петербурга наводнение.

В тот день Грибоедов проснулся около одиннадцати, когда Коломна была уже под водой. «Подхожу к окошку и вижу быстрый поток,— писал он,— волны прибивают к возвышенным тротуарам; скоро их захлестнуло;

еще несколько минут, и черные пристенные столбики исчезли в грозной новорожденной реке. Она посекундно прибывала. Я закричал, чтобы выносили что понужнее в верхние жилья... Люди, несмотря на очевидную опасность, полагали, что до нас не скоро дойдет; бегаю, распоряжаю — и вот уже из-под полу выступают ручьи, в одно мгновенье все мои комнаты потоплены; ...люди с частию вещей перебрались на чердак, сам я нашел убежище во 2-м ярусе у N. П. ...В окна вид ужасный: где за час пролегала оживленная, проезжая улица, катились ярые волны с ревом и с пеною, вихри не умолкали».

Грибоедов видел, как водный ураган, разрушая многое на своем пути, увлекал за собой обломки строений, бочки, бревна, дрова, повозки и кареты, лошадей... Он даже занес в Торговую сорванный с якорей пароход, курсировавший обычно между Петербургом и Кронштадтом.

От отсыревшей квартиры в Коломне пришлось отказаться. Некоторое время Грибоедов жил у своего приятеля П. Н. Чебышева на Васильевском острове (набережная Лейтенанта Шмидта, 13). Но вскоре он переехал к Одоевскому в его новую просторную квартиру в доме Булатовых напротив строившегося Исаакиевского собора (Исаакиевская площадь, 7). Здесь Грибоедов прожил до конца отпуска — до лета 1825 года. И все это время тут сходилось большое общество, в котором выделялись Рылеев, братья Бестужевы, Завалишин, Пущин, Каховский. Они высоко оценили «Горе от ума». Александр Бестужев сообщал одному из дальних корреспондентов: «Здесь шумит и по достоинству Грибоедова комедия. Это — диво, и он сам пресвежая душа».

С первых же дней в Петербурге Грибоедов начал борьбу с цензурой за свою комедию и почти сразу убедился, что цензурный барьер для нее непреодолим. Спустя всего три недели после приезда он сокрушенно писал П. А. Вяземскому: «...на мою комедию не надей-

тесь, ей нет пропуску». Но сам все-таки продолжал надеяться и хлопотать, пока осенью не получил решительный отказ. Удалось напечатать только отрывки, да и те в искаженном цензурой виде. Они появились в булгаринском альманахе «Русская Талия», после чего о комедии заговорили со страниц журналов. Слух о ней распространился далеко за пределы Петербурга, и многие читатели мечтали ее прочесть. И тогда кто-то из членов Северного общества предложил размножить комедию в списках. С этой целью, вспоминал Завалишин, «несколько дней сряду собирались у Одоевского, у которого жил Грибоедов, чтоб в несколько рук списывать комедию под диктовку». Один из списков Иван Пущин отвез в Михайловское Пушкину.

* * *

Весной 1825 года в Петербург приехал Вильгельм Кюхельбекер. За три года перед тем в Тифлисе он подружился с Грибоедовым и под его влиянием окончательно перешел под «знамя славян». Позже, в 1833 году, будучи узником Свеаборгской крепости, он записал: «...я вот уже 12 лет служу в дружине славян под знаменем Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова». С защитой позиций молодых «славян» Кюхельбекер выступил еще до сближения с Грибоедовым — в 1820 году в журнале «Невский зритель». А в 1824-м свои уже сложившиеся убеждения он в заостренной полемической форме изложил в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Статью напечатал в Москве, в собственном альманахе «Мнемозина» (соиздателем был В. Ф. Одоевский).

Более всего он сокрушался, что новейшая поэзия грешит подражанием западным литературам, забыв «мощное племя» — Ломоносова, Державина, Петрова, Капниста. К ним Кюхельбекер добавлял поэта «Беседы» С. А. Ширинского-Шихматова. Доходя до крайности, как это бы-

вает с пылкими спорщиками, он провозгласил Шихматова поэтом, «заслуживающим занять одно из первых мест на русском Парнасе» (а речь шла о стихотворце, некогда осмеянном «арзамасцами» и уже забытом!). Кюхельбекер сетовал, что названные им поэты не имеют преемников, что современные стихотворцы не хотят вслед за ними писать торжественные оды, а отдают предпочтение элегиям и посланиям. Разбирая достоинства оды, Кюхельбекер пришел еще к одной крайности — провозгласил оду главным жанром лирической поэзии, оставив элегии и послания за пределами подлинной литературы. Особенно нападал разгоряченный критик па элегические штампы: «Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях».

Кюхельбекер ратовал за создание «поэзии истинно русской». Он призывал отказаться от подражаний и обратиться к «летописям, песням и сказаниям народным», а также к старославянскому языку. Взгляды Кюхельбекера и Грибоедова во многом совпадали. Не случайно Булгарин в своем фельетоне «Литературные призраки» вложил в уста литератора Талантина (в нем легко угадывался Грибоедов) литературные суждения, весьма близкие высказываниям Кюхельбекера.

Суровые выводы Кюхельбекера о современной поэзии большинству пришлись не по вкусу. С возражениями выступили А. Воейков и П. Яковлев. Статья не понравилась П. Вяземскому, Н. Тургеневу. «Какую чуху, прости господи, напорол он в своей „Мнемозине"!» — восклицал Александр Бестужев. Дельвиг призывал друга: «Грибоедов соблазнил тебя: на его душе грех! Напиши ему и Шихматову проклятие, но прежними стихами, а не новыми». В то же время многие понимали, что Кюхельбекер затронул важнейшие вопросы, требующие глубоко-

го осмысления. В первую очередь это касалось жанра элегии. Ведущие элегики молодого поколения — Пушкин и Баратынский, которых прямо задевала статья,— признали критику Кюхельбекера справедливой. Правда, отказываться от элегий в пользу оды они не собирались. Задача им представлялась другой — внутренне обновить элегический жанр. Не могли не волновать их и вопросы самобытности, народности поэзии. Не принимая крайних мнений друга, они видели в нем умного и дельного критика, может быть, только излишне пылкого и поспешного в выводах. «Он человек дельный с пером в руках — хоть и сумасброд»,— писал Пушкин Вяземскому.

Статью Кюхельбекера с удовлетворением прочитал в своем деревенском изгнании Катенин. Автора Павел Александрович помнил хорошо — доводилось раньше встречаться в Петербурге. С улыбкой вспоминал он, как однажды этот долговязый, порывистый юноша, уже тогда относившийся к нему с уважением, чутко внимавший его литературным мнениям, неожиданно вызвал его на дуэль. Произошло это на какой-то вечеринке. Катенин, подливая в стаканы вино, нечаянно, без всякого умысла, обошел Кюхельбекера. Тот счел это знаком пренебрежения... Впрочем, они тогда же помирились. Судя по тону статьи, отмечал Катенин, юношеской задиристости в нем не убавилось, а вот ум заметно возмужал.

Когда весной 1825 года Кюхельбекер приехал в Петербург, толки о его статье уже несколько поутихли. Грибоедов встретил друга радостно, но сам уже собирался в дорогу, так как отпуск подходил к концу.

Почти перед самым отъездом актер П. Каратыгин предложил Грибоедову поставить «Горе от ума» на ученической сцене Театральной школы, где не требовалось цензурного разрешения. Быстро распределили роли и начали репетиции. Грибоедов приезжал на них вместе с друзьями, присматривался к игре актеров, давал советы. Все ждали спектакля, который был назначен на 18 мая,

но в последний момент Милорадович, ведавший императорскими театрами, наложил на него запрет.

«Горе от ума» сблизило Грибоедова с членами Северного общества. Рылеев, с симпатией и доверием относившийся к нему, говорил товарищам по обществу: «Он наш». И те без утайки, открыто высказывали при Грибоедове свои смелые суждения. Он многое одобрял, осуждал беспощадно все, что находил вредным, и вместе с ними желал лучшей доли отечеству. В горячих политических беседах участвовали Одоевский и Кюхельбекер. Оба после отъезда Грибоедова вступили в общество. Что же касается участия Грибоедова в Северном обществе и его отношения к реальным политическим перспективам декабризма, то вопросы эти и по сей день остаются предметом спора [1].

Целый год прожил Грибоедов в столице, пришла пора уезжать. В конце мая, прощаясь с городом, он поднялся на вершину одной из Ростральных колонн, где вечерами зажигались факелы-маяки. Оттуда он любовался «разноцветностию кровель, позолотою глав церковных, красотою Невы, множеством кораблей и мачт...» Быть может, вспомнилось ему, как поразил его город при первом знакомстве. Свое впечатление он пересказал в комедии «Студент»: «Эти воды, пересекающие во всех местах прекраснейшую из столиц и вогражденные в берега гранитные, эта спокойная неизмеримость Невы, эти бесчисленные мачты, как молнией опаленный лес...» Теперь с высоты Ростральной колонны он словно прощался с тем Петербургом, который уже уходил в прошлое,— городом его молодости.

---

[1] См. по этому вопросу следующие издания: *Нечкина М. В.* Грибоедов и декабристы. М., 1977; *Лебедев А. А.* Грибоедов. Факты и гипотезы. М., 1980 (здесь содержится обзор и анализ различных мнений по данному вопросу); *Мещеряков В. П.* А. С. Грибоедов. Литературное окружение и восприятие. Л., 1983, с. 74—75.

* * *

В самом начале работы следственного «Комитета для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества» на допросах прозвучало имя автора «Горя от ума». 11 февраля 1826 года Грибоедов в сопровождении фельдъегеря был доставлен в столицу. Гауптвахта Главного штаба на Дворцовой площади на четыре месяца стала его «бедственным узилищем». Следователи полагали, что автор «Горя от ума», друг и товарищ многих уже уличенных, не может не быть сообщником бунтовщиков. Но доказать причастность к движению не удалось, и Грибоедов был освобожден с «очистительным аттестатом».

В поле зрения следственного комитета попал и Павел Катенин. За несколько месяцев до событий на Сенатской площади он получил разрешение вернуться в столицу и в августе 1825 года воспользовался им. К этому времени в Северном обществе уже верховодили Рылеев и Александр Бестужев — его давние литературные антагонисты. Бестужев выступал с резкой критикой творчества Катенина (кстати, Пушкин призывал его смягчить приговор и «отдать справедливость» Катенину). Самолюбие, которым природа щедро одарила Павла Александровича, препятствовало его сближению с литературными неприятелями. Возможно, поэтому Катенин и оказался по возвращении в Петербург в стороне от Северного общества и от событий 14 декабря. Однако следственный комитет заинтересовался им, но по разным причинам роль его в ранних обществах выявить не удалось, Катениным занимались недолго, под арестом не содержали.

Судьба друзей, судьба России — все это беспокоило и мучило Катенина. Он писал Пушкину: «Извини, любезнейший Александр Сергеевич, что я так давно тебе не отвечал: в нынешнее смутное время грустна даже беседа с приятелем. Жандр сначала попался в беду, но его вскоре выпустили; о других общих наших знакомых



А. С. Пушкин. Портрет работы О. Кипренского. 1827 г.



К главе «СОЮЗ ПОЭТОВ»

Вид на арку Эрмитажа, Эрмитажный мост и Петропавловскую крепость. Гравюра по рис. И. А. Иванова. 1810-е гг.

Фонтанка, 164. Здание Благородного пансиона, где преподавал В. К. Кюхельбекер. Современная фотография.

Кюхельбекер. Шарж П. Яковлева. Начало 1820-х гг.

Здание Публичной библиотеки, где служили Дельвиг, Крылов, Гнедич. Гравюра С. Ф. Галактионова с рис. П. П. Свиньина.





Herrn
von Küchelbecker
zu freundlichem Andenken

Weimar
d. 23. Nov.
1820.

Goethe



1ᵉ Экспедиціи

№ 61
часть 52

АРХИВЪ
III ОТДѢЛЕНІЯ
СОБСТВЕННОЙ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
КАНЦЕЛЯРІИ.

О Государственномъ преступникѣ
Вильгельмѣ Кюхельбекерѣ

1826 года.



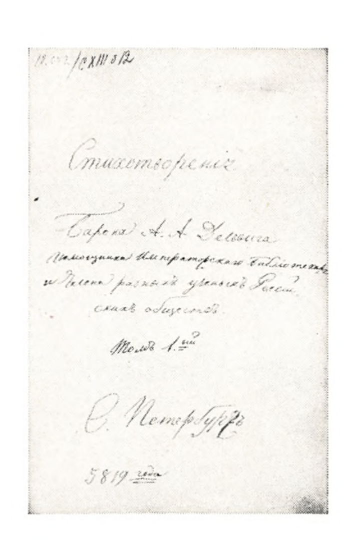
Дом Косиковского (Невский пр., 15), где жил Кюхельбекер. С литографии П. С. Иванова по рис. В. С. Садовникова. 1835 г.

Автограф И. Гёте на книге, подаренной Кюхельбекеру.

«Дело» Кюхельбекера из архива III отделения.

А. Е. Измайлов. Акварель работы неизвестного художника. Около 1820 г. Публикуется впервые.





Стихотворенія

Барона А. А. Дельвига
Помощника Императорской Библіотеки
и Члена разныхъ ученыхъ Россій-
скихъ обществъ.

Томъ 1-ый

С. Петербургъ

5819 года





А. А. Дельвиг. Акварель П. Яковлева. 1921 г.

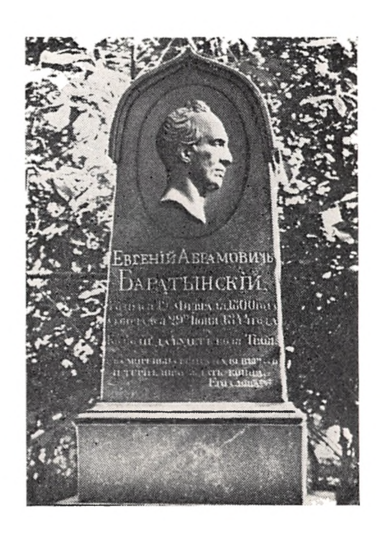
Обложка рабочей тетради Дельвига. 1819 г. (Институт русской литературы; воспроизводится впервые).

Пл. Коммунаров, 6. Здесь останавливался Е. А. Баратынский в 1843 г. Современная фотография.

Аграфена Закревская. Литография Е. И. Гейтмана. 1827 г.

Е. А. Баратынский. Литография Шевалье. Начало 1820-х гг.

Надгробие Баратынского в Некрополе мастеров искусств. Современная фотография.







К главе В «ДРУЖИНЕ СЛАВЯН»

П. А. Катенин. Портрет работы неизвестного художника. 1830-е гг.

А. С. Грибоедов. Акварель Горюнова. 1820-е гг.

Казармы Преображенского полка, где жил Катенин. С гравюры Гоберта по рис. А. Горностаева. 1834 г.

А. И. Одоевский. Портрет работы И. Фридрица (?). 1823—1825 гг.

7 ноября 1824 года на площади у Большого театра. С картины Ф. Я. Алексеева (?). 1824 г.







Малый театр. Гравюра по рис. К. Ф. Сабата. 1820-е гг.

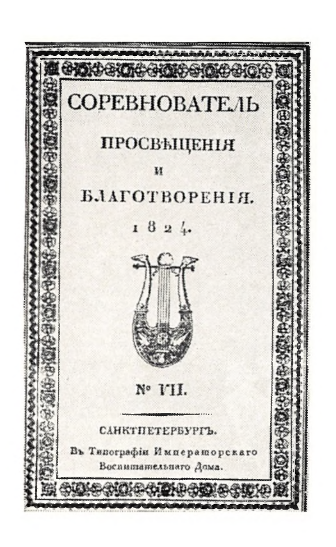
Малая Подьяческая, 12, где жил Шаховской. Современная фотография.

А. А. Шаховской. Акварель работы неизвестного художника. Публикуется впервые.

Ул. Ракова, 15. Отсюда в 1828 г. Грибоедов уехал в Персию (ЛГИА; публикуется впервые).

Ул. Ракова, 15. Современная фотография.





СОРЕВНОВАТЕЛЬ
ПРОСВѢЩЕНІЯ
И
БЛАГОТВОРЕНІЯ.
1824.

№ VII.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Въ Типографіи Императорскаго
Воспитательнаго Дома.



К главе СОРЕВНОВАТЕЛИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

«Соревнователь просвещения и благотворения» (титульный лист).

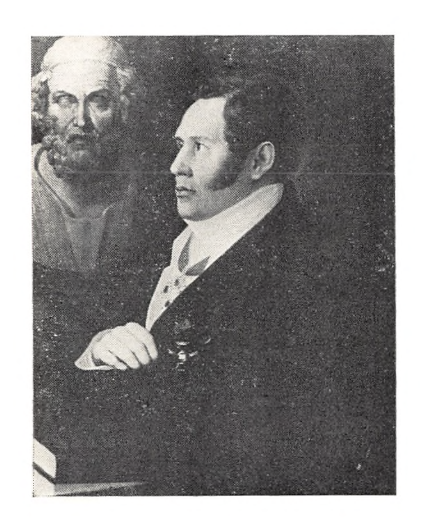
Ф. Н. Глинка. Литография К. Беггрова (?). 1821 г. Этот портрет был вывешен в зале собраний «Ученой республики».

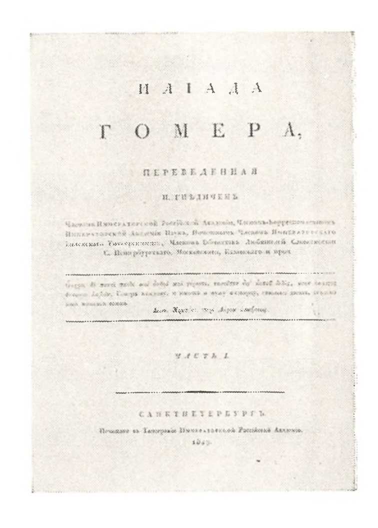
Пр. Римского-Корсакова, 91. Здесь собиралось Вольное общество любителей российской словесности. Современная фотография.

Глинка в последние годы жизни. Фототипия.

Театральная пл., 18. Здесь в 1819—1822 гг. жил Глинка. Современная фотография.







ИЛІАДА

ГОМЕРА,

ПЕРЕВЕДЕННАЯ

Н. ГНѢДИЧЕМЪ

[illegible]

ЧАСТЬ I.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ Типографіи Императорской Россійской Академіи.



Н. И. Гнедич. Портрет М. П. Вишневецкого по оригиналу П. А. Оленина. 1839 г.

«Илиада» (титульный лист 1-го издания).

Ул. Пестеля, 5. Здесь была последняя квартира Гнедича. Современная фотография.

Крылов, Пушкин, Жуковский и Гнедич. Этюд Г. Чернецова. 1832 г.





Обухов мост через Фонтанку. Литография К. Беггрова. 1823 г. Слева — Военно-сиротский дом, в котором преподавал и жил П. А. Плетнев.

Московский пр., 8. Здесь жил Плетнев в 1830-х гг.

отложим разговор до свидания». Пушкин в Михайловском, Катенин и Грибоедов в Петербурге с тревогой ожидали решения участи товарищей. 12 июля 1826 года в комендантском доме Петропавловской крепости осужденные услышали приговор: пятерым была уготована виселица, остальным ста двадцати — тюрьмы и Сибирь. 13 июля свершилась казнь...

Грибоедов под защитой «очистительного аттестата» возвращался к месту службы. В июле началась война с Персией, и ему, ведавшему дипломатическими связями с Персией и Турцией, пришлось поторопиться на Кавказ. Он выехал на ту же дорогу, по которой недавно ехал в Петербург под присмотром фельдъегеря.

Но давно ль, как привиденье,
Предстоял очам моим
Вестник зла? Я мчался с ним
В дальний край на заточенье.
Окрест дикие места,
Снег пушился под ногами;
Горем скованы уста,
Руки тяжкими цепями.

Чувство тревожной неопределенности, с которым ехал он в Петербург «на заточенье», не покидало и на обратном пути. В прошлом остались разбитые судьбы друзей, несбывшиеся надежды. Будущее рисовалось неясным.

Катенин еще некоторое время оставался в Петербурге (он жил в доме Паульсона на Миллионной — улица Халтурина, 8), но в июне 1827 года решил, на этот раз по собственной воле, вернуться в родное Шаёво. Что гнало его, человека кипучей энергии, в деревню, где, по его собственному признанию, в отрыве от театра он не мог творить в полную меру своего дарования? Может быть, та «мертвая тишина», которая, по его словам, наступила в общественной жизни столицы после 14 декабря, может быть, засилье тех «врагов всего изящного, варваров, придворных полотеров», которые оживились после николаев-

ской расправы, а может, отчасти и ущемленное самолюбие после фактического провала на столичной сцене в феврале 1827 года его трагедии «Андромаха» — плода многолетних трудов и предмета его особой гордости?

«Андромаха», созданная еще в 1810-х годах, была созвучна политическому пафосу тех лет. О ней положительно отозвались Пушкин и Грибоедов. Отрывок из трагедии впервые был напечатан в «Русской Талии» вместе с отрывком из «Горя от ума», а в театре она была представлена только в 1827 году. По словам Пушкина, «Андромаха» «не разбудила однако ж ото сна сцену». После нескольких представлений ее исключили из репертуара.

Перед отъездом Катенин пригласил друзей на прощальную вечеринку. К этому времени, съехав от Паульсона, он временно расположился у своего «походного однокашника» В. Я. Микулина, полковника Преображенского полка. Микулин жил там же, где некогда и Катенин,— в казармах на Миллионной. В тот вечер к Катенину пришел Пушкин («прощенный» Николаем I, он впервые после ссылки приехал в столицу). Быть может, вспомнилось Пушкину, как пришел он в этот же дом девять лет назад, «как Диоген к Антисфену»?.. Катенин готовился к дальней дороге и попросил Пушкина на правах хозяина встречать и занимать гостей. Вечеринка затянулась, и, когда на рассвете Катенин отправился в путь, Пушкин пожелал проводить его.

Пешком прошли они по тихому, безлюдному Невскому и дальше до Александро-Невской лавры. Простились у шлагбаума Шлиссельбургской заставы на берегу Черной речки (Монастырки). За ней начинался тракт, по которому из Петербурга вывозили в кандалах декабристов и по которому, словно в солидарность с изгнанниками, отправлялся на добровольное деревенское отшельничество Катенин.

* * *

Катенин уехал за несколько месяцев до приезда Грибоедова. И так же, как не был он свидетелем триумфа Грибоедова-поэта, автора «Горя от ума», в Петербурге в 1824 году, не довелось ему видеть и триумф Грибоедова-дипломата в 1828-м.

15 марта 1828 года газета «Северная пчела» сообщала:

> «Санктпетербург, 14-го марта
>
> Сего числа, в третьем часу по полудни, возвещено жителям столицы пушечными выстрелами с Петропавловской крепости о заключении мира с Персиею Известие о сем и самый трактат привезены сюда сегодня из главной квартиры действующей в Персии Российской армии ведомства Государственной коллегии иностранных дел коллежским советником Грибоедовым».

Двести один пушечный выстрел в честь мира и дипломатического курьера, возвестившего о нем столице. «Высочайшая» аудиенция в Зимнем дворце и «высочайшие» милости — орден святой Анны 2-й степени с алмазными украшениями, чин статского советника, четыре тысячи червонцев. Император был щедр недаром. Грибоедов привез договор, по которому война с Персией завершилась с большой выгодой для России: присоединялись армянские и нахичеванские земли, Персия обязалась выплатить контрибуцию в 20 миллионов рублей серебром и не иметь военный флот на Каспии... Грибоедов, участник переговоров в персидской деревушке Туркманчай, проявивший незаурядные дипломатические способности, был послан главнокомандующим в столицу для представления трактата императору — знак заслуг и залог отличия.

Грибоедов остановился в «Демутовом трактире» на Мойке. Из окон гостиницы был виден Главный штаб, где за два года перед тем содержали его под охраной. Тогда здесь еще велись работы — достраивалось второе крыло здания, предназначавшееся для гражданских министерств. Перед самым приездом Грибоедова в него переехала Коллегия иностранных дел, и министр Карл Нессельроде в своем новом кабинете принял и поздравил преуспевшего дипломата.

Поздравления раздавались со всех сторон, и все это могло напомнить Грибоедову другое время — 1824 год, когда он привез в Петербург свою комедию. Снова он мог бы сказать: «Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет». Только теперь не литературными заслугами был вызван «шум», да и «шумели» в основном уже не те, что четыре года назад. Казнен Рылеев, брошены в крепости Кюхельбекер и Александр Бестужев, в Сибири Одоевский...

С состраданием вспоминал их Грибоедов, особенно «кроткого, умного и прекрасного» Александра и «неугомонного рыцаря» Вильгельма. Сохранилось его письмо к Одоевскому, написанное тогда же в Петербурге и проникнутое стремлением нравственно поддержать друга, оказавшегося перед лицом суровых испытаний. Известно также, что Грибоедов умолял своего нового начальника на Кавказе И. Ф. Паскевича, доводившегося ему и Одоевскому родственником, попросить царя облегчить положение Одоевского. Ходатайствовал он перед Паскевичем и за Александра Бестужева.

Петр Бестужев (младший из четверых братьев, участвовавших в событиях на Сенатской площади) отмечал, что Грибоедов «как патриот и отец сострадал» о положении попавших в беду. Среди разжалованных офицеров-декабристов на Кавказе ходил слух, будто Грибоедов, воспользовавшись представлением Николаю I Туркманчайского мира, «дерзнул говорить» в их пользу. Появление

подобного слуха говорит о том доверии, которое сохранили по отношению к Грибоедову декабристы.

15 апреля Грибоедову было сообщено назначение — пост чрезвычайного министра, главы дипломатической миссии (посла) в Персии.

К этому времени, вероятно, он уже переехал от «Демута» в дом Косиковского на Большой Морской (улица Герцена, 14; на доме установлена мемориальная доска, посвященная Грибоедову). Молодой журналист Ксенофонт Полевой, посещавший здесь Грибоедова, вспоминал: «Он жил тогда в доме Косиковского, в самом верхнем этаже, и занимал немного комнат. Я удивился походной простоте жизни нашего персидского министра». Полевой заставал у Грибоедова важных лиц из правительственных, военных кругов, приезжавших с поздравлениями и визитами по случаю его производства в министры. «Боже мой!— говорил ему Грибоедов.— Что эти господа хотят от меня? Целое утро они сменяли у меня один другого. А нам, право, не о чем говорить; у нас нет ничего общего». И все же он отдавал должное визитам, приему поздравлений и выражению благодарности. Но душе его было несравнимо ближе другое — общение с литераторами, музыкантами, артистами.

Когда Грибоедов жил у «Демута», там же квартировал Пушкин. Оба порадовались соседству — ведь, несмотря на давнее знакомство, общаться им почти не пришлось; только издали следили они друг за другом все эти годы. Теперь они часто бывали вместе — друг у друга или в столичных салонах.

В один из майских дней Грибоедов познакомился с М. И. Глинкой. Эта встреча произвела большое впечатление на молодого композитора, и позднее, вспоминая наиболее памятные события 1828 года, Глинка записал: «Провел около целого дня с Грибоедовым... Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал

романс...» Так появился романс «Не пой, красавица, при мне...».

Музыку Грибоедов любил с детства. Многие современники отмечали его музыкальную одаренность, находили в нем искусного пианиста и тонкого ценителя музыки. В Петербурге Грибоедов посещал концерты, бывал в музыкальных салонах. Как раз перед его приездом здесь поселилась известная польская пианистка и композитор Мария Шимановская. Ее концерты проходили с успехом, а салон сделался одним из популярнейших в столице. Шимановская жила в доме купчихи Пентешиной на Итальянской улице (теперь дом № 15 по улице Ракова). В тот же дом переехал с Мойки Андрей Жандр, так что Грибоедов навещал в нем и старого товарища и знаменитую музыкантшу. Шимановская устраивала утренние концерты, на которых можно было видеть Пушкина, Глинку, Вяземского, Жуковского, Мицкевича...

Еще на Кавказе до Грибоедова дошел слух о том, что Пушкин написал драму «Борис Годунов». Николай I не позволил ее печатать (этот запрет был снят только в 1831 году при условии цензурных купюр), и Пушкин читал ее в литературных салонах. На одном из таких чтений побывал и Грибоедов. Оно состоялось в доме графа Лаваля на Английской набережной (теперь набережная Красного Флота, 4). Среди слушателей в тот день — 16 мая 1828 года — кроме Грибоедова были Мицкевич, Вяземский, сыновья покойного Карамзина, которому Пушкин посвятил свою трагедию. Грибоедов знал, что литературно-художественные вечера — не редкость в особняке Лавалей, хозяйка которого, Александра Григорьевна (урожденная Козицкая), слыла одной из образованнейших петербургских женщин. Она была замужем за французским эмигрантом, впрочем давно обрусевшим за долгие годы жизни в России. На одной из дочерей Лавалей, Екатерине, был женат давний знакомый Грибоедова Сергей Трубецкой. В 1826 году Екатерина Трубец-

кая последовала за мужем в Сибирь, став среди жен и невест осужденных после 14 декабря первой добровольной изгнанницей. Связь дома Лавалей с событиями на Сенатской площади привела к появлению слуха, будто бы сама Александра Григорьевна была посвящена в планы заговорщиков и лично вышивала знамя к дню восстания. В народе ее прозвали Лавальша-бунтовщица.

С живейшим интересом слушал Грибоедов на вечере у Лавалей «Бориса Годунова». Его творческая мысль была также обращена к историческим темам. Он обдумывал пьесу об Отечественной войне, затрагивавшую вопрос о роли в войне народа и дворянства. Творческие замыслы Грибоедова питала и история хорошо изученного им Востока. История древней Армении подсказала ему сюжет для трагедии «Радамист и Зенобия», эпизоды из истории Грузии легли в основу трагедии «Грузинская ночь». Грибоедов все острее и острее чувствовал «необходимую потребность писать». Он задумывался об отставке, которая дала бы возможность полностью посвятить себя литературе.

Из написанного после «Горя от ума» он привез с собой в Петербург трагедию «Грузинская ночь». К. Полевой вспоминал, как Грибоедов читал ее на вечере журналиста, историка и писателя П. П. Свиньина, жившего напротив Михайловского дворца в доме Жербина (теперь участок дома № 2 на площади Искусств): «Кроме нескольких знатных особ... тут был, можно сказать, цвет нашей литературы: И. А. Крылов, Пушкин, Грибоедов... и другие. Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его как нельзя больше — и за несколько дней сказал мне о нем: «Это один из самых умных людей в России. Любопытно послушать его». ...Вечером, когда кружок друзей стал теснее, Грибоедов... читал наизусть отрывок из своей трагедии «Грузинская ночь», которую сочинял тогда».

Несбыточной мечтой оставалась для Грибоедова надежда о снятии запрета с «Горя от ума». «Талант поэта был не признан»,— отметил позднее Пушкин. Сам же Грибоедов писал: «Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям с дарованием...» Правительство ценило только ум и опыт Грибоедова-дипломата и торапливало его приступить к исполнению своих обязанностей.

Грибоедов хорошо понимал всю сложность дипломатической обстановки и политической ситуации, сложившихся в Персии после Туркманчая. Перед отъездом он предложил правительству снять с Персии часть контрибуции, но встретил решительный отказ. Теперь он понимал, что его ждут большие трудности, не исключал и возможность катастрофы.

6 июня на квартире Жандра на Итальянской был устроен прощальный завтрак. Приглашены, вероятно, были многие знакомые и друзья, так как Жандр вспоминал: «...накурили, надымили страшно, наконец толпа схлынула...» Жандр с Александром Всеволожским, давнишним товарищем и сослуживцем Грибоедова, поехали проводить его. «День был пасмурный и дождливый,— вспоминал Жандр.— Мы проехали до Царского Села, и ни один из нас не сказал ни слова. В Царском Селе Грибоедов велел, так как дело было уже к вечеру, подать бутылку бургонского, которое он очень любил, бутылку шампанского и закусить. Никто ни до чего не дотронулся. Наконец простились. Грибоедов сел в коляску, мы видели, как она завернула за угол улицы, возвратились с Всеволожским в Петербург и во всю дорогу не сказали друг с другом ни одного слова — решительно ни одного».

Грибоедов уезжал в тревожном и печальном настроении, но едва ли он был столь отрешенно-мрачным, словно отправляющимся на заклание, каким видится в этой немой сцене проводов с ее траурным молчанием. Трагичес-

кая гибель его в Персии окрасила в памяти Жандра последнее прощанье в траурные тона.

Весть о зверском истреблении русской дипломатической миссии в Тегеране достигла Петербурга в марте 1829 года. Правительство России понимало, что «тегеранская катастрофа», случившаяся 30 января (11 февраля), носила характер политического акта и была результатом дипломатического заговора, но из политических соображений нашло выгодным признать, что «шах персидский и наследник престола чужды гнусному и бесчеловечному умыслу и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведение свое с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской». Россия воевала в этот период с Турцией и нуждалась в нейтралитете Персии. Царское правительство поспешило забыть, что еще недавно отвергло предложение Грибоедова пойти на некоторые уступки в отношениях с Персией, отказаться от крутых мер, и теперь готово было все свалить на излишнее «усердие» своего посланника и «грубые обычаи и понятия черни тегеранской».

Незадолго до гибели, в августе 1828 года, Грибоедов женился на дочери грузинского поэта Нине Александровне Чавчавадзе. Через пять месяцев она осталась вдовой. Ей не суждено было стать и матерью — раньше времени родившийся сын прожил всего около часа. Его лишь успели крестить и дать имя отца. Нина Александровна похоронила своего мужа в Тифлисе в монастыре Давида. Грибоедов любил это место, когда-то посещал его с Кюхельбекером. По желанию вдовы на могильном камне высечены слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя».

* * *

Почти на четверть века пережил Грибоедова Катенин, но из литературной жизни он выбыл уже в 1830-х го-

дах. Последний период его литературных выступлений был и порой его художнической зрелости, о чем красноречиво говорят такие произведения, как «Старая быль», «Княжна Милуша», «Инвалид Горев», «Сафо». Не оставлял Катенин и переводческой практики. Так, в 1827 году он взялся переводить первые песни Дантова «Ада»:

Путь жизненный пройдя до половины,
Опомнился я вдруг в лесу густом,
Уже с прямой в нем сбившися тропины...

Перевод составлен из трехстрочных ямбических строф — терцин, оказавшихся важным нововведением для русской поэзии. И хотя поэт не смог достичь художественного совершенства, его эксперимент открывал дорогу другим. Показательно, что один из крупнейших мастеров нашего столетия Михаил Лозинский в своем переводе Данте исходил из стилистической системы Катенина.

Сохранились сведения, что в конце 1820-х годов Катенин принялся за перевод исторических хроник Шекспира (эти труды до нас не дошли). Тогда находилось немало противников утверждения Шекспира на русской сцене, которых, в частности, смущало то обстоятельство, что у Шекспира «вопреки заветам старины, весьма часто торжествует ненаказанный порок и страждет угнетенная добродетель». Рассказывают, будто одного из врагов «шекспировщины», драматурга Ф. Ф. Кокошкина, Катенин спросил: «Да читали ли вы Шекспира?» — «Я? — с негодованием отвечал тот. — Нет-с, и не читал, да и читать не намерен!»

В ряде произведений этих лет звучит очень важная для Катенина тема судьбы поэта. Рисуется образ вольнолюбивого певца, отверженного и обреченного на молчание, но хранящего верность своим идеалам. Таков греческий поэт Евдор в «Элегии», написанной в костромской глуши в 1828 году и пронизанной глубоко личными мотивами. Смело намекал в ней Катенин на изменение по-

литического курса Александра I в послевоенные годы, с чем косвенно была связана и его опала — «Бедный Евдор укрылся в наследие предков». Гордясь тем, что политическая реакция ни тогда, ни после 14 декабря не сломила его дух, Катенин неверно расценил позицию, занятую в начале николаевского царствования Пушкиным, и, усмотрев в его «Стансах» одно желание польстить царю, обвинил поэта в политическом ренегатстве. Он сделал это в иносказательной форме в балладе «Старая быль» и в отдельном стихотворном послании Пушкину. Пушкин понял намек и ответил Катенину стихами. И хотя дружеский характер отношений между поэтами сохранился, сама полемика, так же как и резкие отзывы Катенина о служебных успехах Грибоедова, была симптомом надвигавшегося разрыва его со своим временем — людьми, литературой, театром.

Разрыв действительно неумолимо надвигался, грозя ему одиночеством и полнейшим забвением его трудов. Талант Катенина парадоксально уживался с узостью литературных взглядов, доктринерством, нетерпимостью к чужим мнениям. К тому же он бывал подчас чрезмерно уверен в себе, обладал тяжелым, неуживчивым характером. Все это становилось заметнее, обострялось, по мере того как он сам сознавал, что «сходит со сцены».

Но Катенин не собирался сдаваться — его Евдор свято и ревностно продолжал служить искусству, несмотря на «зависть, хулу и забвенье»:

Кроме чести, всем я жертвовал музам;
Что ж мне наградой? — зависть, хула и забвенье.
. . . .
. . . . лирой любезной
Мнил он наполнить всю жизнь и добыть себе славу.
Льстяся надеждой, предстал он на играх Эллады;
. . . . но судьи поэтов
Важно кивали главой, пожимали плечами,
Сердца досаду скрывая улыбкой насмешной.
Жестким и грубым казалось им пенье Евдора.

Новых поэтов поклонники судьи те были,
Коими славиться начал град Птолемея.
. . . .
В них уважал Евдор одного Феокрита.

Под Феокритом подразумевался Пушкин. Великий поэт был одним из немногих, кто понимал Катенина и стремился его поддержать. В 1830 году он пригласил Катенина сотрудничать в «Литературной газете», где Павел Александрович поместил несколько статей о литературе древности и средних веков, серию статей о театре.

В начале 1830-х годов Катенин сделал попытку вернуться в русло активной литературной и общественной жизни: он уехал из деревни, возвратился на военную службу, выпустил собрание стихотворений и переводов.

Приехав 18 июля 1832 года в Петербург, Катенин остановился на даче своего старого знакомого по театральным кругам графа В. В. Мусина-Пушкина-Брюса. Дача находилась вблизи городской заставы на Петергофской дороге (теперь участок домов № 48—50 по проспекту Газа)[1]. Одним из первых здесь навестил его Пушкин.

Вместе с Пушкиным 7 января 1833 года Катенин был избран действительным членом Российской Академии и с этого дня стал посещать ее собрания в здании Академии на 1-й линии Васильевского острова (дом № 52). Там шло обсуждение академического словаря русского языка. Катенин с готовностью принял участие в дебатах, но свои мнения отстаивал порой с таким рвением, что оно вызвало протест других членов и стало предметом разговоров в столице. Вспоминая об этом, Плетнев дал Катенину такую характеристику: «...надменный хвастун. ...Сварлив, груб и готов подраться...» Может быть, и не стоило

[1] Адрес установлен Н. Н. Фокиным, фундаментальный труд которого «Петербург пушкинского времени» после смерти этого исследователя поступил в ИРЛИ (предполагается его публикация). Адреса, заимствованные из этого источника, в дальнейшем отмечаются: *Фокин Н. Н.* Рукопись.

бы вспоминать этот излишне суровый приговор, но современники оставили и другие, ему подобные. Неуступчивость и тяжелый характер Катенина усиливали недоброжелательство к нему, настраивали против его трудов.

Двухтомное собрание произведений Катенина, выпущенное в Петербурге в 1832 году его другом и усердным почитателем Николаем Бахтиным, было встречено «литературной шайкой» (так Павел Александрович называл литераторов, не признававших его заслуг) неодобрительно. И снова на стороне Катенина оказался Пушкин. Он выступил со статьей, в которой показал своеобразие мастерства Катенина и подчеркнул его вклад в литературу. Пушкин зорче других видел в Катенине недостатки, но для него они не заслоняли смелого поэтического новаторства, которое у Катенина подчас приобретало характер подлинных открытий. Современники же воспринимали его открытия как «неудачи». Но и «неудачи» далеко не всегда оставляли их равнодушными: они возмущали спокойствие, вызывали на спор. Достаточно вспомнить его выступления с балладами в 1810-х годах или более позднюю попытку ввести в русскую поэзию реформированную октаву. Возникавшая в том и другом случаях полемика оказывалась перспективна хотя бы потому, что отражалась в конечном итоге на художественных поисках Пушкина.

«Неудачник» в глазах большинства современников, Катенин с «гордой независимостью», как писал Пушкин, проходил свой творческий путь.

Что ж делать? Петь, пока еще поется,
Не умолкать, пока не онемел.
Пускай хвала счастливейшим дается;
Кто от души простой и чистой пел,
Тот не искал сих плесков всенародных;
В немногих он, ему по духу сродных,
В самом себе, получит мзду свою.
Власть — слушать, власть — не слушать; я пою.

В XX веке стала очевидна блистательность многих поэтических экспериментов Катенина. Своими опытами он

предвосхитил некоторые черты лирики Полежаева, Лермонтова, Некрасова, баллад А. К. Толстого, драматургии Ин. Анненского, переводов М. Лозинского. Влияние его творческих поисков испытали на себе Грибоедов, Кюхельбекер, Пушкин.

Последний раз Катенин видел Пушкина 10 или 11 марта 1834 года. Он определился на военную службу и уезжал в Тифлис. Прощание с Пушкиным отчетливо сохранилось в его памяти: Пушкин был грустен из-за болезни жены, но проговорил с ним три с лишним часа...

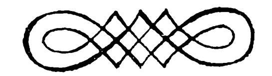
Несомненно, что в Тифлисе Катенин побывал у могилы Грибоедова, вспомнил и о некогда жившем там Кюхельбекере. А через три года, уже в Кизляре, до него дошла весть о гибели Пушкина...

К концу 1830-х годов относятся последние выступления Катенина в печати. Постепенно исчезают со сцены и его пьесы. В 1838 году он получил отставку в чине генерал-майора. К тому же времени окончательно стало ясно, что попытка активной общественной и литературной деятельности не удалась. Литература, которой он преданно служил, не зная кроме этого служения более возвышенной цели, в нем не нуждалась. Дворянская оппозиционность мельчала, изживала себя. Катенину ничего не оставалось, как снова уединиться в «наследии предков». Заживо погребенный как писатель, он прожил в Шаёве еще пятнадцать лет, до смерти. Жил одиноко, храня память о своей рано умершей невесте, которую горячо любил в молодости. Иногда брался за перо — сохранились его стихи, помеченные 1852 годом. В том же году Катенин откликнулся на призыв историка литературы П. В. Анненкова и написал воспоминания о Пушкине. Этот труд стал его своеобразным завещанием. В мае 1853 года он перевернулся в дорожной коляске и, проболев несколько дней, скончался.

В 1869 году вышел роман А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов», и читатели, сами того не подозревая,

в лице помещика Коптина, выведенного в романе, познакомились с Катениным. Писемский знал Павла Александровича в годы своей молодости, будучи его соседом по имению. Отставной генерал, забытый писатель, образованнейший человек, сохранивший блестящую память и остроту ума, слывший по всей округе за вольнодумца и богоотступника,— такой портрет Катенина сумел сохранить в своей памяти и донести до читателя Писемский.

И все-таки талантливый писатель пушкинской поры был забыт. Только в XX веке филологическая наука (в первую очередь новаторские исследования Ю. Н. Тынянова) воздала ему должное и привлекла внимание читателей к его наследию.





СОРЕВНОВАТЕЛИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

П<етер>бургский мир в каком-то духовном брожении. Все, что ни было блистательного, образованного, мыслящего, сходилось в круги; составлялись общества любителей словесности...

Н. Коншин

У Федора Николаевича Глинки есть превосходные стихи, посвященные молодости его поколения, тем годам, когда Россия торжествовала победу над Наполеоном:

Была прекрасная пора:
Россия в лаврах, под венками,
Неся с победными полками
В душе — покой, в устах — «ура!»,
Пришла домой...

Но дома «победные полки» вновь встретили самодержавный произвол и крепостничество. Отсталость России

в экономическом и политическом развитии стала особенно очевидна после европейских походов. Тот же Глинка вспоминал: «И душно было тогда в Петербурге людям, только что расставшимся с полями побед, с трофеями, с Парижем и прошедшим, на возвратном пути, чрез сто триумфальных ворот почти в каждом городке, на которых на лицевой стороне написано: «Храброму российскому воинству», а на обратной: «Награда в отечестве!»— И эти разгулявшиеся рыцари попали в тесную рамку обыденности, в *застой* совершенный, в монотонию томительную... Ну вот и пошли мечты и помыслы...»

«Прекрасной порой» назвал Глинка послевоенные годы, когда зародилось и стало набирать силу декабристское движение. В 1816 году был создан революционный Союз спасения. В 1818-м ему на смену пришла новая организация — Союз благоденствия. Его устав —«Зеленая книга»— призывал к формированию передового общественного мнения. Сохраняя тайну общества, его участники решили сделать достоянием гласности свои прогрессивные взгляды, вынести их за пределы своего замкнутого кружка — в гостиные, салоны и, в завуалированной форме, в литературу и театр. С той же целью в 1818—1819 годах они постарались занять ведущие места в нескольких петербургских организациях — Вольном обществе учреждения училищ по методе взаимного обучения (или Ланкастерском), масонской ложе «Избранный Михаил», литературно-театральном кружке «Зеленая лампа» и в Вольном обществе любителей российской словесности, которое стало основной литературной трибуной Союза благоденствия, а затем и Северного общества.

В 1810-х годах в Петербурге наряду с Вольным обществом любителей российской словесности существовало еще одно литературное общество — Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Первое называли также «Ученой республикой» или Обществом соревнователей. Оно издавало журнал «Соревнова-

тель просвещения и благотворения». Второе было известно еще под названием «Михайловское» — по месту собраний, происходивших по четвергам в Михайловском замке (в 1820-х годах общество собиралось в доме Инженерного департамента на Литейном проспекте — теперь участок дома № 31). Его представлял журнал «Благонамеренный».

Вольное общество любителей словесности, наук и художеств было основано в 1801 году последователями А. Н. Радищева, но со временем состав его обновился и «радищевский» дух исчез. Во второй половине 1810-х годов в это общество, возглавляемое А. Е. Измайловым, входили Батюшков, Крылов, Жуковский, Глинка, Дельвиг, Баратынский, Пушкин, Кюхельбекер. Однако довольно скоро почти всех ведущих поэтов привлекло более передовое Общество соревнователей.

Это общество не имело солидной «родословной»: у его истоков стояли дилетанты в литературе, а не корифеи, да и возникло оно позже — в январе 1816 года. Первое время литераторы его и не замечали. Но в 1818 году, когда общество фактически возглавил член Союза благоденствия Ф. Н. Глинка, в его жизни произошел перелом. Его активными участниками стали Н. Гнедич, А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, Е. Баратынский, К. Рылеев, братья Бестужевы, П. Плетнев, О. Сомов, А. Илличевский, В. Григорьев, В. Туманский и многие другие. Позднее, в 1824 году, в ряды «соревнователей» вошли Грибоедов, Н. Языков и И. Козлов. В журнале общества печатался Пушкин, но он не являлся его членом. По этому поводу Плетнев вспоминал, что Глинка на предложение принять Пушкина ответил: «Овцы стадятся, а лев ходит один».

В 1819 году в обществе было признано второе название — «Ученая республика». Этим подчеркивалось, что каждому из его членов, «без различия звания и гражданских отличий, предоставляются совершенная свобода

объявлять мысли свои открыто и стремиться к предположенной цели».

В начальный период существования общества заседания проходили в квартире некоего Т. Н. Крикуновского, Он служил в Сенате, а жил в Коломне в доме генерала Ф. Удома (теперь проспект Римского-Корсакова, 91). В квартире Крикуновского был просторный двусветный зал с хорами, где по понедельникам и сходились «соревнователи». В 1819 году место их заседаний изменилось. «Новейший путеводитель по С.-Петербургу», изданный в 1820 году, сообщал: «...Вольное общество любителей российской словесности собирается каждый понедельник после полудня... в Воскресенской улице, в доме Войвода» (дом портного мастера Войвода снесен в 1840-х годах; он стоял на участке дома № 41 по проспекту Майорова).

На заседаниях общества рассматривались художественные произведения, литературная критика, исторические работы, публицистика. Труды, одобренные обществом, печатались в «Соревнователе просвещения и благотворения» (конечно, если их пропускала гражданская цензура, что бывало не всегда). Название журнала раскрывало главные цели общества — содействие просвещению и благотворительности.

Просветительная деятельность общества была у всех на виду, но оно зарекомендовало себя и благотворительными действиями. Так, в 1818 году в «Соревнователе» появилась статья П. П. Свиньина о крепостном поэте и актере Иване Сибирякове. Ф. Н. Глинка и П. А. Вяземский выступили со стихами, призывавшими выкупить Сибирякова у его барина, рязанского помещика Маслова. Маслов затребовал 10 тысяч рублей. Деньги были собраны; причем 6 тысяч рублей поступили от «соревнователей».

На заседаниях «Ученой республики» обсуждались вопросы гражданской сознательности и ответственности пи-

сателя. Общество помогло многим «соревнователям» в формировании их эстетических и идейных взглядов.

Замечательной страницей в истории общества стало выступление его членов в защиту опального Пушкина. Стихотворения Кюхельбекера, Глинки, А. Крылова выразили протест передовой части литераторов против ссылки Пушкина в 1820 году.

Но не все «соревнователи» были единомышленниками. Некоторые из них враждебно воспринимали передовые веяния эпохи; другие были просто равнодушны, безразличны к тому, что волновало современников. Консервативно настроенные «соревнователи» в конце 1819 года сплотились вокруг В. Н. Каразина, занимавшего в обществе место помощника Глинки. Статский советник в отставке, человек разносторонних знаний и независимого характера, Каразин не раз обращался к царю и правительству. Он указывал на бедственное положение народа, критиковал военные поселения, призывая при этом к реформам и предлагая конкретные проекты. Но в то же время он считал огромным несчастьем для страны развивавшееся свободомыслие. «Дух развратной вольности все более и более заражает все состояния»,— предупреждал он весной 1820 года министра внутренних дел. По мнению Каразина, это было зло, с которым следовало бороться любыми способами. В 1820 году он стал доносами обращать внимание правительства на Пушкина, Кюхельбекера, Баратынского, С. Волконского, Рылеева, А. Бестужева. Об этой стороне его деятельности «соревнователи» могли узнать от своего президента Ф. Глинки, состоявшего при военном губернаторе М. А. Милорадовиче. Стараниями левого крыла «соревнователей» Каразин был лишен звания вице-президента. К концу 1820 года левое крыло «соревнователей» укрепилось вновь принятыми — К. Рылеевым, А. и Н. Бестужевыми, А. Корниловичем. Пост Каразина в 1821 году занял Н. И. Гнедич.

В 1821 году Союз благоденствия по решению его членов был распущен. Вскоре в Петербурге образовалось Северное общество. Ф. Глинка в него не вошел. Как президент «соревнователей» он считал своей задачей сохранять в Вольном обществе дух «Зеленой книги» и действовать под девизом — просвещение и благотворительность. Но время выдвигало новые требования. Рылеева и А. Бестужева, ставших членами Северного общества, не мог удовлетворить путь гражданской добродетели. Перед литературой и Вольным обществом они ставили более радикальную цель — развертывание революционной пропаганды и агитации.

В конце 1823 года руководство Вольным обществом практически перешло в руки «домашнего комитета», собиравшегося у Рылеева. В него вошли оставшийся президентом Глинка, Рылеев, А. и Н. Бестужевы, литератор О. Сомов, член Южного общества декабристов писатель и историк А. Корнилович, а также Н. Кутузов, состоявший ранее в Союзе благоденствия, и другие. Душой «комитета» был Рылеев, стремившийся превратить «Ученую республику» в литературный филиал Северного общества.

В тот период в недрах «Ученой республики» родилось два альманаха — «Полярная звезда» Рылеева и Бестужева и «Северные цветы» Дельвига, издававшиеся при ближайшем участии Плетнева. Они представляли две группировки — радикальную и умеренную. К умеренной склонялись Глинка и Гнедич. Полемизируя между собой, эти группировки не раз объединялись для борьбы с третьей, консервативной, о которой метко сказал Александр Бестужев: «Партия положительного безвкусия; у ней голова князь Цертелев (писатель и фольклорист.— *Авт.)*, а хвост (тела нет) Борис Федоров и еще два или три пополззня». Эта «партия» встала на защиту Каразина при отрешении его от должности вице-президента, а позднее она не раз выступала против радикального крыла «соревнователей». Острая полемика, шумные споры на

собраниях вообще не были редкостью для «Ученой республики». Это дало повод острослову А. Е. Измайлову прозвать «соревнователей» обществом «соревущих».

Окончательный водораздел между группировками общества положило 14 декабря: радикальное крыло вышло на Сенатскую площадь, «умеренные» остались в стороне, а правые оказались приверженцами правительства. На этом Общество соревнователей прекратило свое существование.

Федор Николаевич Глинка

В мае 1821 года генерал-адъютант А. X. Бенкендорф получил секретную записку. Библиотекарь гвардейского штаба Михаил Грибовский сообщал властям о существовании тайного общества, в котором состоял. В доносе, переданном Бенкендорфом Александру I, упоминались имена важнейших членов общества. Большое внимание уделялось гвардейскому полковнику Федору Глинке: «Слабый человек сей, которому некоторые успехи в словесности и еще более лесть совершенно вскружили голову, который помешался на том, чтобы быть членом всех видимых и невидимых обществ, втирается во все знатные дома, рыскает ко всем видным людям, заводит связи, где только можно; для придания себе важности, рассказывает каждому за тайну, что узнал по должности или по слабости начальника; посещает все открываемые курсы, посылает во все журналы статьи, из коих многие не весьма внимательно рассмотрены цензурой, как и в разговорах, так и на письме, кстати и некстати приплетает политику, которой вовсе не постигает, но блеском выражений и заимствованными мыслями слепит неопытных».

Грибовский хотел представить Глинку самовлюбленным, честолюбивым и не совсем порядочным. Однако до-

носчик невольно нарисовал портрет человека разносторонних интересов и на редкость кипучей энергии.

8 июня 1821 года, через несколько дней после того, как был сделан донос, Глинке исполнилось 35 лет — половина жизни по представлениям древних. Какой итог мог он подвести, оглядываясь на прожитые годы?

Воспитанник Первого кадетского корпуса, он участвовал в военных походах 1805—1806 годов, защищал отечество и в 1812-м. Его военные заслуги были отмечены несколькими орденами и личным золотым оружием. В обеих кампаниях Глинка сражался рука об руку с М. А. Милорадовичем, ценя его храбрость и военный талант. В свою очередь Милорадович, признав достоинства Глинки, сделал его своим адъютантом. А когда в 1818 году Милорадович занял пост генерал-губернатора Петербурга, он пригласил к себе Глинку офицером для особых поручений.

В походах 1805—1806 годов родились «Письма русского офицера» — своеобразная военная летопись, принесшая Глинке широкую литературную известность. Вскоре они пополнились «письмами» об Отечественной войне. «Письма» имели блистательный успех. Через много лет друг Баратынского Н. В. Путята вспоминал: «Я помню, с каким восторгом наше, тогда молодое, поколение повторяло начальные строки письма от 26 августа 1812 г.: „Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца покойны были. Так началось беспримерное сражение Бородинское"». «Ксенофонтом[1] Бородина» назвал Глинку Жуковский. Батюшков под впечатлением «Писем» просил Гнедича: «Обними его за меня очень крепко и скажи ему, что его люблю и вечно любить буду».

Военной прозе Глинки созвучны его стихи — гимны и песни. Одно из лучших его патриотических стихотворе-

---

[1] Ксенофонт — древнегреческий писатель и историк.

ний — «Военная песнь» (1812), заканчивающаяся словами:

И громче труб на поле чести
Зовет к отечеству любовь!

Пламенный патриотизм, сочувствие русскому народу-герою, находившемуся в крепостной неволе, привели Глинку после войны в тайное Общество истинных и верных сынов отечества (Союз спасения) и определили гражданскую позицию Глинки-поэта. Вскоре после вступления в общество Глинка написал стихотворение «Опыты двух трагических явлений». В нем говорится о некой порабощенной тираном стране. В «полночный час», когда она погружена в сон, ее «верные сыны» ведут такой разговор:

1-й

...Свобода! Отчизна! Священны слова!
Иль будете вечно вы звуком пустым?
Нет, мы воскресим вас! Не слезы и стон
(Ничтожные средства душ робких и жен),
Но меч и отвага к свободе ведут!..

3-й

На трупах, на пепле пожженных им стран,
На выях согбенных под гнетом рабов
Тиран наш воздвиг свой железный престол;
Но слышен уж ропот, тирана клянут...

1-й

Клянут лишь, и только! а *руки* и *меч*,
А предков примеры кто отнял у них?..

В ту пору Глинка и его друзья («верные сыны отечества») в условиях строгой конспирации («в полночный час») произносили не менее страстные монологи, вырабатывая программу борьбы с самодержавием. Тайные собрания проходили и в квартире Глинки. Он жил в здании гвардейского штаба, при котором состоял на службе, на Дворцовой площади (позднее Росси построил на месте

старого новое здание для Главного штаба). Перейдя в 1818 году на службу к Милорадовичу, Глинка оставил эту квартиру и поселился на Театральной площади (теперь дом № 18).

Занятия литературой сблизили Глинку со многими поэтами, и в его квартире уже в первые послевоенные годы бывали Жуковский и Батюшков, Крылов и Гнедич. А в конце 1810-х годов у него стали появляться и лицейские выпускники — Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер. Особенно часто навещал Глинку Кюхельбекер. Разделяя вместе с товарищами восхищение благородством чувств и мыслей Глинки, он, кроме того, ценил в нем внимание к «высокой», одической поэзии, к «славянским» традициям литературного языка. Сближало их и дальнее родство. Надолго запомнились Кюхельбекеру «добрые вечерние беседы» на Театральной, проведенные в «милом семействе друзей и братий».

Кюхельбекера и его товарищей привлекала в Глинке необычайно деятельная натура. В то время он — активный участник чуть ли не всех столичных обществ: «Зеленой лампы», Ланкастерского, «соревнователей», масонской ложи «Избранный Михаил». В 1818 году он стал фактическим руководителем Общества соревнователей и, можно сказать, его душой. Через некоторое время общество даже приняло решение вывесить портрет Глинки в зале собраний. Был сделан заказ художнику К. Беггрову, и, когда в 1821 году портрет был готов, одну из литографий с лаконичной надписью: «Друзья Глинке» в золоченой рамке поместили на почетном месте.

Как член тайного общества и президент «соревнователей» Глинка много сил и энергии отдавал делу благотворительности. Он признавался, что «не мог сносить ничьего страдания и страдал не менее самого страждущего». М. М. Сперанский как-то напомнил ему старую мудрость: «На погосте всех не оплачешь!» «Но я долго не мог помириться с этой пословицей»,— писал Глинка.

Он даже составил для себя своеобразную памятку: «Порицать: 1) Аракчеева... 2) военные поселения, 3) рабство и палки, 4) леность вельмож, 5) слепую доверенность к правителям канцелярий... 6) жестокость и неосмотрительность уголовной палаты, 7) крайнюю небрежность полиции при первоначальных следствиях. Желать: открытых судов и вольной цензуры. Хвалить: ланкастерскую школу и заведение для бедных у Плавильщикова...» На службе ему приходилось узнавать о многих вопиющих беззакониях. Невинные люди, взятые по ложному подозрению или оговору, нередко после тюремных мытарств оказывались в Сибири. Допросы чинили «письмоводители» (секретари или старшие чиновники канцелярии), которые зачастую были пьяны и имели, по словам Глинки, «полное расположение к грабежу». Допрашивали они наедине и писали что хотели. Пресекать злоупотребления Глинке и его друзьям удавалось далеко не всегда, но все же, как показывал потом Глинка на следствии, их стараниями «многие взяточники обличены, люди бескорыстные восхвалены, многие невинно утесненные получили защиту; многие выпущены из тюрем... иные, уже высеченные, (по пересмотрению дела) прощены и от ссылки избавлены...»

Конечно, возможности благотворительных действий были ограничены, с горечью приходилось на деле убеждаться в справедливости пословицы, приведенной Сперанским, но это не останавливало рвения Глинки, этого «истинного друга человечества», «витязя добра и чести», «защитника страждущих», как называли его современники.

В трудную минуту, весной 1820 года, к Глинке обратился Пушкин. Заподозренный в авторстве политических стихов, он был вызван к Милорадовичу и, не зная, как себя с тем держать, попросил совета у Глинки. Федор Николаевич рекомендовал быть откровенным с Милорадовичем, положиться на его благородство, и сам не преминул замолвить слово за Пушкина. Следуя совету Глинки, Пуш-

кин в кабинете Милорадовича написал по памяти «целую тетрадь» политических стихов. Со слов Глинки известно, что Милорадович пытался заступиться за поэта перед царем. Однако помочь Пушкину не удалось: царь отправил его в ссылку. А через несколько месяцев после этой истории в «Сыне отечества» появилось стихотворение Глинки «К Пушкину»:

О, Пушкин, Пушкин! Кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
Какой из жителей небесных,
Тебя младенцем полюбя,
Лелеял, баял в колыбели?..

Стихи сопровождались примечанием автора: «Стихи сии написаны за год перед сим, по прочтении двух первых песней „Руслана и Людмилы"». Скорее всего, примечание о дате создания стихотворения — 1819 год — было сделано для усыпления бдительности цензора. Стихи явились откликом на ссылку Пушкина, и последние строки красноречиво говорят об этом:

Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!..

Ссыльный Пушкин ответил Глинке:

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!..

Посылая эти стихи брату, Пушкин просил его: «Покажи их Глинке, обними его за меня и скажи ему, что он все-таки почтеннейший человек здешнего мира».

1821 год, год тридцатипятилетия Глинки, оказался годом значительных перемен в его жизни. Московский съезд Союза благоденствия, участником которого он был, принял решение о роспуске общества. В Северное общество Глинка не вступил.

Ровно за год до московского съезда в квартире Глинки на Театральной площади состоялось совещание Союза благоденствия. Председательствовал сподвижник Глинки по Ланкастерскому обществу и масонской ложе граф Федор Петрович Толстой, известный медальер и скульптор. Главный докладчик П. И. Пестель поставил вопрос о борьбе за введение в России республиканской формы правления. Глинка предложил ввести на престол жену Александра I Елизавету Алексеевну. После обсуждения все, в том числе и Глинка, проголосовали за республику. Но в душе Глинка остался верен своей умеренной программе: он был за конституционную монархию при просвещенном и добродетельном царе.

Идея вооруженного заговора, пришедшая на смену тактике мирной просветительной пропаганды и агитации, была чужда Глинке, человеку религиозному, верному догматам христианства. Религиозность никоим образом не смиряла его с существовавшими порядками. Напротив, он не раз подчеркивал, что крепостничество, например, противно христианству, что «бог покровительствует конституционному правлению». Как христианин и поэт, Глинка считал своим долгом обличать земную несправедливость.

Гражданское переосмысление «священного писания» было свойственно еще поэзии Г. Р. Державина. Вслед за Державиным Глинка стал перелагать поэтичные ветхозаветные псалмы Давида. Он читал их в «Ученой республике» и печатал на страницах ведущих столичных изданий. Особый успех выпал на «Переложение псалма 136-го», опубликованное в «Полярной звезде» Рылеева и Бестужева.

В библейских стихотворениях Глинки нередко возникает тема поэта-пророка, выступающего с требованием правды, справедливости и добра, что также сближает их с поэзией декабризма. В некоторых псалмах Глинки обличительный пафос превозмогает порой его религиозность: поэт упрекает бога в равнодушии к земным делам. Художественные достоинства библейских переложений Глинки неравноценны: иногда он говорит языком ветхозаветных пророков, а порой — едва ли не слогом Дениса Давыдова, так что псалом, по выражению Пушкина, становится «ухарским».

Не оставлял Глинка и других поэтических жанров. В 1825 году симпатии читателей вызвало его стихотворение «Сон русского на чужбине», отрывок из которого под названием «Тройка» вскоре получил всенародную известность:

И мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик — дар Валдая —
Гудит, качаясь под дугой...

Отход от движения декабристов совпал еще с одной переменой в жизни Глинки: он оставил службу. В конце 1821 — начале 1822 года Глинка пережил какой-то глубокий душевный кризис. Скудные сведения, дошедшие до наших дней, позволяют предположить, что одной из его причин были интриги против Глинки в служебном окружении Милорадовича. В своем стремлении делать добро, бороться со злоупотреблениями, порицать (вспомним «памятку» Глинки!) «жестокость и неосмотрительность уголовной палаты», «крайнюю небрежность полиции» и т. п. он постоянно встречал сопротивление со стороны других чиновников. Обращаясь к Милорадовичу, Глинка в конце 1821 или начале 1822 года писал: «...когда вам угодно было милостиво пригласить меня вступить под лестное начальство ваше, я... взял только с собою свои

небольшие способности, свое большое усердие, какую бог дал мне честность и мое великое терпение. Но я вижу и чувствую, что способности мои недостаточны; усердие незаметно, честность неуместна, а терпение уже все истощилось. Вот почему мне непременно должно отсюда уйти: куда — не знаю... Провидение скажет».

Милорадович не всегда поддерживал Глинку, порой занимал сторону его врагов. Еще в 1820 году Глинка порывался уйти от него, но тогда Милорадович уговорил его остаться. В 1821 году, после доноса Грибовского, о котором Глинка знал, его положение стало весьма неопределенным: он в любую минуту мог ждать грозы. И в цитированном выше письме к Милорадовичу, и позднее в показаниях на следствии Глинка говорил, что в ту пору его одолели «душевные горести», что он был изнурен нравственно и физически. В тот период он отошел от масонства, от декабристского движения, на какое-то время даже «от литераторов и собраний», оставил службу при Милорадовиче.

С 1822 года Глинка числился полковником по армии. Квартиру на Театральной, которую предоставлял ему Милорадович (по служебному положению она Глинке не полагалась, но Милорадович, из личной симпатии, выделил ему бесплатное жилье при городской Конторе адресов), пришлось освободить. Тогда же или в ближайшем времени Глинка поселился в доме княгини Хованской, гражданской жены известного петербургского богача В. А. Всеволожского, с которым он находился в дружеских отношениях (ныне проспект Римского-Корсакова, 35).

Несмотря на отход Глинки от тайного общества, для большинства декабристов он оставался своим. В нем, говорил Е. П. Оболенский, «видели всегда такого человека, перед кем... говорили свободно о действиях нашего общества». Поэтому Глинка продолжал бывать у Трубецкого, Рылеева, их товарищей по обществу, хотя не во

всем с ними соглашался. Как-то в тревожные дни междуцарствия Глинка заглянул к Рылееву. Там было многолюдно и шел оживленный разговор. При его появлении все невольно умолкли — говорили о восстании, свершения которого ждали со дня на день. «Будем, господа, продолжать,— произнес Рылеев,— при Федоре Николаевиче, кажется, можно». Видя недоуменный взгляд Глинки, Александр Бестужев сказал: «Ну, вот приспевает время». Глинка счел долгом предостеречь: «Смотрите вы, не делайте никаких насилий».

14 декабря, узнав о восстании, Глинка поспешил к Сенатской. Еще издали увидел он в центре мятежных войск Кюхельбекера, затем Рылеева и других знакомых. К восставшим он не примкнул, но, не боясь скомпрометировать себя, подходил к ним и разговаривал.

Через две недели Глинка был арестован. Сначала ему удалось оправдаться. В Петербурге распространился слух, будто Николай I чуть ли не извинялся перед ним. Булгарин, услышав об этом, прислал ему письмо с предложением воспеть вступившего на престол. Отказаться от предложения Глинка не решился, и новогодний номер «Северной пчелы» вышел с его стихами.

А тем временем следствие шло и все больше прояснялась активная роль Глинки в ранних обществах. 11 марта 1826 года он, как обычно, направился в «конфектную» лавку на Театральной площади, находившуюся позади Большого театра, где по утрам пил чай или шоколад. На этот раз чаепитие было прервано появлением полицмейстера: Глинка был арестован и препровожден в Петропавловскую крепость. Осмотрительный и находчивый, во время допросов он выставлял на первый план благотворительность ранних обществ, стараясь умалчивать о политических мотивах. 17 июня конвоиры доставили его в Главный штаб, где он узнал, что переводится на гражданскую службу в Олонецкую губернию.

Мысли и переживания поэта во время заключения в крепости отразились в стихотворениях — он написал за три месяца целую тетрадь. Одно из них — «Песнь узника»,— напечатанное позднее без имени автора, стало очень популярным (долгие годы приписывалось Рылееву или Полежаеву): «Не слышно шуму городского, // В заневских башнях тишина!..»

* * *

Прошло двадцать лет. Глинка успел послужить в Петрозаводске, Твери, Орле, жениться, выйти в отставку и поселиться в Москве. В 1846 году, запросив III отделение «собственной его величества канцелярии», он получил разрешение на въезд в Петербург. Сообщая ему об этом, начальник III отделения А. Ф. Орлов выразил надежду, что в столице Глинка «сможет оправдать оказываемую ему доверенность и будет вести себя прилично его званию». Через два года Глинка воспользовался этим снисходительным разрешением и прожил в столице несколько месяцев. Вновь он вернулся в нее только в 1853 году.

Поселился Федор Николаевич на 7-й линии Васильевского острова в доме статского советника Капгера (теперь дом № 6). Его жена, Авдотья Павловна, занималась литературой — переводила и сочиняла стихи, писала повести и рассказы. Оба были уже в преклонных годах. 67-летний Глинка выглядел маленьким сухим старичком, скромным и тихим; в крошечном лице его светилась доброта. В обществе он часто появлялся при своих старых военных наградах. Дома же гордо хранил их в гостиной — в витрине под стеклом.

Живя в Москве, Глинки завели у себя литературные «понедельники». Эту традицию они решили сохранить и в Петербурге. Вскоре в их квартире на Васильевском стало собираться разнообразное общество. Приходили

бывшие «соревнователи» — и когда-то близкие Глинке П. А. Плетнев и Ф. П. Толстой, и менее близкие Н. И. Греч и Б. М. Федоров. По-видимому, бывал и П. А. Вяземский, возможно и Ф. И. Тютчев. Из более молодых литераторов посещал «понедельники» Яков Полонский, бывали и второстепенные, ныне забытые литераторы и просто любители словесности. Молодой библиофил и библиограф Г. Н. Геннади, дважды посетивший салон Глинки, записал в дневнике: «У них происходят чтения и пения. Обыкновенно Федор Николаевич читает свои стихи и в течение великого поста читал свою духовную поэму «Иов». Кажется, это и есть скрытая цель его вечеров... Греч звонит в колокольчик, все сбираются в зале, дамы подобострастно смотрят на чтеца, который распевает... стихи».

Поэма «Иов» — свободное переложение библейской книги Иова. Глинка написал ее еще в годы олонецкой ссылки, но напечатать тогда не смог. Как произведение, обличающее гонения, зло, несправедливость, она вызвала протест духовной цензуры. Любопытно, что книгу Иова собирался переложить и Пушкин.

Переезд Глинки в Петербург совпал с началом Крымской войны. Военная героика всегда была одной из самых любимых и искренних тем его поэзии. Под впечатлением Крымской войны Глинка написал несколько патриотических стихотворений, которые также читал на своих «понедельниках», после чего они были напечатаны в «Северной пчеле». Особый успех выпал на долю стихотворения «Ура!». Оно вышло отдельной брошюрой и продавалось в квартире автора. На Васильевский шли письма изо всех уголков России с просьбой выслать «Ура!». Доходы от продажи Глинка жаловал в пользу раненых. Стихотворение было переведено на несколько языков. В нем Глинка, отважный воин двенадцатого года, напоминал врагам отечества «уроки прошлого»:

Но год *двенадцатый* не сказки,
И *Запад* видел не во сне:
Как двадцати народов каски
Валялися в Бородине.

Крымская война, вскрывшая политическую и экономическую отсталость николаевской России, способствовала усилению критики самодержавия и антимонархических настроений. Глинка был далек от этого. Он давно примкнул к реакционно-славянофильским кругам, и новое революционное поколение ему было чуждо, как чуждо оно было Вяземскому, Плетневу, о Грече и говорить не приходится.

Вечера у Глинки проходили по понедельникам, как некогда заседания «Ученой республики». Но литературные «понедельники» Глинки в 1850-х годах, конечно, мало чем напоминали заседания «соревнователей» или вечерние беседы у их президента на Театральной. Сам Глинка сильно изменился, но все же он сумел немало сберечь в себе из прошлого. В патриотической лирике 1850-х годов слышится порой голос молодого Глинки — автора военных гимнов и песен 1812 года.

В Петербурге Глинку застало известие об амнистии декабристов. Возвращавшимся из Сибири запрещалось проживать в столице, но многим все-таки удалось побывать в ней. И, вне сомнений, они встречались с Глинкой. Среди них были Пущин, Бригген, Цебриков. Из-за границы приезжал Н. Тургенев.

В начале 1860-х годов Глинка вернулся в Тверь, где прожил еще почти двадцать лет. И в преклонном возрасте он продолжал писать стихи. Они отражали то старческую усталость, то, напротив, были полны, как и прежде, жизненного огня. В них можно встретить отповедь передовым общественным силам. А порой они звучат проникновенным реквиемом его вольнолюбивой молодости, о которой он неизменно вспоминал как о «прекрасной поре» своей жизни.

Николай Иванович Гнедич

В начале 1820-х годов сразу несколько поэтов обратились со стихотворными посланиями к Николаю Ивановичу Гнедичу. Вот как начал свои стихи Плетнев:

Служитель муз и древнего Омера,
Судья и друг поэтов молодых!
К твоим словам в отважном сердце их
Есть тайная, особенная вера...

Репутация наставника литературной молодежи («судья и друг поэтов молодых») укрепилась за Гнедичем после «Речи о назначении поэта», произнесенной им в «Ученой республике» 13 июня 1821 года и ставшей одним из примечательных событий в жизни общества.

...Перед «соревнователями» стоял человек чуть выше среднего роста, с благородной осанкой, одетый подчеркнуто аккуратно и по последней моде. Лицо его с правильными чертами сохраняло страшные следы перенесенной в детстве оспы — борозды, ямки, вытекший правый глаз. Говорил Гнедич громогласно, несколько театрально: «Не считаю нужным изображать вам, каким орудием владеет тот, кто принимает в руки светильник наук, чтобы озарить души себе подобных... Что же может быть важнее, что может быть священнее обязанности, какую каждый из нас на себя принимает?.. Писатель своими мнениями действует на мнение общества; и чем он богаче дарованием, тем последствия неизбежнее. Мнение есть властитель мира. Да будет же перо в руках писателя то, что скипетр в руках царя: тверд, благороден, величествен! Перо пишет, что начертается на сердцах современников и потомства. Им писатель сражается с невежеством наглым, с пороком могущим, и сильных земли призывает из безмолвных гробов на суд потомства. Чтобы владеть с честью пером, должно иметь более мужества, нежели владеть мечом. Но если писатель благородное

оружие свое преклоняет перед врагами своими, если он унижает его, чтобы ласкать могуществу, или если прелестию цветов покрывает разврат и пороки, если вместо огня благотворного он возжигает в душах разрушительный пожар и пищу сердец чувствительных превращает в яд — перо его... или оружие убийства».

Затаив дыхание слушали «соревнователи» Гнедича. Пожалуй, никогда не доводилось им слышать столь страстный и убедительный монолог о гражданской ответственности писателя, о любви к отечеству и к родному слову. Гнедич призывал молодежь к высокому гражданскому подвигу. Таким подвигом во имя литературы была его собственная жизнь.

* * *

Гнедич родился в 1784 году в семье небогатого помещика. Он был на два года старше Ф. Глинки и на пятнадцать лет старше Пушкина. Напасти, преследовавшие его — обезображенное болезнью лицо, долгие годы безденежья, почти нищеты в молодости,— усугублялись одиночеством. К счастью, его жизненным невзгодам судьба, как писал Пушкин, противопоставила

И смелый ум и дух высокий,
И важным песням обрекла,
Отраде жизни одинокой.

«Дух высокий» гнал апатию, поддерживал творческие силы.

В литературе Гнедич отдавал предпочтение героическим темам. Первым его большим трудом стал перевод трагедии Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Некоторые из первых стихотворений отмечены печатью гражданственности — например, «Перуанец к испанцу», представляющее собой монолог порабощенного, адресованный тирану.

Первые стихотворения Гнедич написал в Петербурге, куда переехал, оставив в конце 1802 года Московский университет. В столице он поступил писцом в департамент народного просвещения. Молодой Гнедич быстро обрел друзей. Он сблизился с литераторами Н. А. Радищевым и И. П. Пниным — последователями А. Н. Радищева, вошел в круг знакомых и друзей Г. Р. Державина и особенно подружился со своим сослуживцем К. Н. Батюшковым. Гнедич привлекал к себе не только дарованием, но и благородством души, созвучной возвышенному миру гомеровских героев, в который он был погружен с отроческих лет.

Гомера в России знали в основном по европейским переводам. Из русских славился перевод «Илиады» Ермила Кострова, выполненный в XVIII веке александрийским стихом (а не гекзаметром, как подлинник). Он остался незаконченным, и Гнедич решил его продолжить. В 1807 году он напечатал седьмую песнь, продолжая переводить остальные. Вокруг труда Гнедича возникла полемика: может ли александрийский стих в полной мере передать дух подлинника, и стоит ли в связи с этим продолжать труд Кострова, приемлем ли гекзаметр в русском стихосложении? Проработав несколько лет и переведя уже тысячи стихотворных строк, Гнедич в качестве эксперимента перевел одну песнь размером подлинника. После этого его собственные колебания разрешились: у него хватило мужества взяться за новый перевод, теперь уже гекзаметром.

Почти половину жизни отдал Гнедич «Илиаде». По словам его друга М. Е. Лобанова, она «была собеседницею, сопутницею, услаждением всей его жизни. Ни болезни, ни страдания не охладили в нем этой любви: Гомер был постоянным предметом пламенных бесед его». А с какой охотой и любовью читал Гнедич отрывки из поэмы! «Слушая „Илиаду", им читанную,— писал Лобанов,— мы слушали какую-то величественную, услади-

тельную гармонию, мы переносились мысленно в тот древний быт Греции, когда песни Гомера раздавались на площадях городов, на полях и холмах древних ее обитателей».

Филологическая точность и поэтическая выразительность — такую задачу ставил перед собой Гнедич. Он изучал научную литературу о Гомере, вел кропотливые изыскания в областях античной истории, культуры, быта.

Увлеченность античностью сблизила Гнедича с Алексеем Николаевичем Олениным, одним из крупнейших знатоков и ценителей древности. В 1811 году, формируя штат Публичной библиотеки, Оленин предложил Гнедичу место помощника библиотекаря. К тому времени Гнедич уже «вырос» в департаменте народного просвещения из писца в младшего помощника столоначальника. Видимо, он продолжал испытывать нужду, так как по ходатайству Оленина поступил еще и в Государственную канцелярию, где служил сначала письмоводителем, а затем экспедитором.

В Публичной библиотеке Николаю Ивановичу был поручен фонд греческих книг. А фондом русских и славянских ведал Иван Андреевич Крылов. Они быстро подружились, хотя и казались весьма несхожими и в литературных привязанностях, и даже чисто внешне, в манерах, в быту: Крылов, тучный, небрежный в одежде, беспечный, и Гнедич, худощавый, любящий аккуратность и порядок во всем, до мельчайших деталей продумывающий свой туалет.

Оба жили на Садовой рядом с библиотекой, в принадлежавшем ей небольшом трехэтажном доме (теперь № 20). Первый этаж библиотека отдавала внаем книгопродавцам, два других предназначались для ее сотрудников. Квартира Гнедича занимала левую часть верхнего этажа. В угловой комнате, окнами на Гостиный двор, был его кабинет: вдоль стен шкафы с книгами на гре-

ческом, латинском, французском, немецком, русском языках, у окон массивный стол с подъемным устройством, которое давало возможность использовать его для работы стоя. Комнату украшали бюст Гомера и висевшие на стенах портреты Оленина, актера Дмитревского (незаконченная работа Кипренского) и актрисы Катерины Семеновой.

Сам Гнедич так описывал свое жилище:

Вот скифского певца приют уединенный:
   Он, как и всех певцов,
Чердак возвышенно-смиренный.
   Не красен, темен уголок,
Но видны из него лазоревые своды;
   Немного тесен, но широк
Певцу для песней и свободы!

Иван Андреевич жил по той же лестнице, но ниже этажом. Ближайшим же соседом Гнедича был «соревнователь» Михаил Евстафьевич Лобанов, драматург и переводчик; Крылов и Гнедич дружили с ним и в кругу его семьи часто коротали вечера.

Гнедич был желанным гостем во многих домах столицы — у Шаховского, у Муравьевых, у Жуковского, у Карамзина, в салоне Оленина или на Театральной у Глинки. Любил он бывать и у своей родственницы С. Д. Пономаревой. И всюду являлся неизменно подтянутым, щеголеватым. Собираясь в гости, обязательно завивал волосы, надевал модный фрак, а шею повязывал платком, да таким длинным, что, по замечанию Вяземского, его «стало бы на три шеи». У Гнедича «и галстук повязан экзаметром»,— шутил Грибоедов. Весь его облик, его манера разговора отличались какой-то театральной торжественностью. Плохо знавшие Гнедича находили в этом проявление спесивости, напыщенности. Те же, кто знал поэта близко, видели в этом не более как «забавные и милые слабости», которые, по словам Греча, не

заслоняли для них «большой ум, пламенную душу и добрейшее сердце...».

Принарядившись, Николай Иванович обычно заходил за Крыловым, и они вместе выходили на Садовую, брали извозчика или отправлялись в путь пешком. Часто они шли по Садовой в сторону Коломны и, дойдя до Сенной площади, сворачивали к Фонтанке. Здесь, недалеко от Обухова моста, жил со своей семьей А. Н. Оленин (до 1813 года Оленины жили в доме № 101, затем — до 1819-го — в доме № 97).

У Олениных было много друзей, но Крылов и Гнедич занимали среди них особое положение. Оленины помнили об их одиночестве и старались согреть их теплом своего семейного очага, принимали в них самое родственное участие.

В нарядной зале оленинского дома собирался просвещенный круг — писатели, музыканты, ученые, знатоки искусств. Многие, как и хозяин дома, увлекались античностью, и Гнедич нашел здесь не только духовную поддержку, но и конкретную помощь в своих изысканиях, необходимых для перевода «Илиады».

В летние месяцы Гнедич и Крылов становились завсегдатаями загородной усадьбы Олениных «Приютино»[1], расположенной к северу от столицы, в Шлиссельбургском уезде. Гнедич воспел эти места:

Здесь часто по холмам бродил с моей мечтою,
И спящее в глуши безжизненных лесов
Я эхо севера вечернею порою
Будил гармонией Гомеровых стихов...

В кругу друзей Гнедич всегда с удовольствием читал стихи или переведенные им отрывки из «Илиады», а также любимые места из Шекспира, Шиллера. У него была

---

[1] Усадебный комплекс находится во Всеволожском районе Ленинградской области. В нем размещается историко-художественный музей.

своеобразная манера чтения, особенно трагедий. Он считал, что высокие идеи и чувства трагедий нужно выражать подчеркнутой напевностью и эмоциональностью голоса. Разное впечатление производило это на слушателей. Литератор и переводчик С. П. Жихарев, знакомый Гнедича, вспоминал, как однажды, отстаивая в споре достоинства шекспировского «Гамлета», Гнедич начал декламировать сцену Гамлета с привидением, представляя попеременно то одного, то другого с такими странными телодвижениями и таким диким напряжением голоса, что ласкавшаяся к Жихареву собака бросилась под диван и начала жалобно выть. Жихарев добродушно посмеивается над Гнедичем-чтецом, но и он, и другие театралы не могли не признать, что в конечном счете «метода» Гнедича имела успех. Подлинным торжеством этой «методы» стало блистательное искусство выдающейся драматической актрисы Катерины Семеновой, которой Гнедич почти двадцать лет «постоянно и ревностно» преподавал трагическую декламацию.

Некоторым казалось, что он портит Семеновой дикцию, учит ее «выть». Однако Семенова имела огромный успех. «Контральтовый, гармоничный тембр ее голоса,— писал актер П. Каратыгин,— был необыкновенно симпатичен и в сильных патетических сценах глубоко проникал в душу зрителя». Слава Семеновой, «единодержавной царицы трагической сцены», как назвал ее Пушкин, была лучшей наградой многолетнего усердия педагога, и только безответная любовь к ученице омрачала его радость. В часы труда, в тишине своего кабинета, занимаясь переводом «Илиады», он, быть может, подолгу останавливал взгляд на портрете Семеновой, любуясь ее строгим, благородным профилем, напоминающим древние камеи, вспоминал ее красивый голос и свободные движения... Возможно, в такие минуты перед его внутренним взором оживали героини гомеровского эпоса: он видел свою ученицу то богоподобной Еленой, беседующей со старцем

Приамом, то Андромахой в трогательной сцене ее свидания с Гектором. И на бумагу ложились новые строки перевода:

Подле него Андромаха стояла, лиющая слезы;
Руку пожала ему и такие слова говорила:
«Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость! ни сына
Ты не жалеешь, младенца, ни бедной матери; скоро
Буду вдовой я, несчастная! скоро тебя аргивяне,
Вместе напавши, убьют! а тобою покинутой, Гектор,
Лучше мне в землю сойти, никакой мне не будет отрады...»

Углубленный в «Илиаду», Гнедич не мог быть равнодушен и к судьбе современной Греции. С середины XV столетия продолжалось в ней турецкое господство. Но вольнолюбивая Греция копила силы, и вот 23 февраля 1821 года вспыхнуло освободительное восстание. Гнедич приветствовал его переводом «Военного гимна греков» Константина Ригаса, греческого поэта и революционера:

Воспряньте, Греции народы!
День славы наступил.
Докажем мы, что грек свободы
И чести не забыл...

Грецию гомеровского эпоса и революционную Грецию 1820-х годов разделяли тысячелетия, но Гнедич сумел увидеть связующие их традиции, на что обратил внимание и цензор его переводов А. Л. Крылов: «Гнедич как эллинист, напитанный духом классических творений, переносил в собственные произведения такие идеи, которыми было свойственно восхищаться древним грекам, выше всего ценившим республиканские добродетели. Таким образом, он очень часто увлекался к прославлению вольности и свободы, называя даже иногда свободу *святою,* Гомера *пророком,* о древних царях и греческих тиранах выражался с особою жестокостью, озлоблением и в уста перуанца, проклинающего порабощение, вложил такие слова, в которых заключается, собственно, хула на бога христианского».

Греция, поднявшаяся на борьбу, стала распространенной темой всей русской вольнолюбивой поэзии. Вслед за Гнедичем к этой теме обратились «соревнователи» Кюхельбекер, Григорьев, Туманский. В начале 1825 года Гнедич напечатал переведенные им «Простонародные песни нынешних греков». Они привели в восторг Грибоедова, а Пушкин назвал их «прелестью и чудом мастерства».

Высокую оценку труды Гнедича получили в Обществе соревнователей: в конце 1818 года он был избран в почетные члены, а весной 1821-го — в действительные. Откликом на это событие и стала упомянутая выше «Речь о назначении поэта», прочитанная им перед «соревнователями» и вскоре появившаяся, правда с купюрами, в их журнале. Полностью текст речи был издан отдельной брошюрой, но весь тираж был конфискован и уничтожен.

Речь произвела на «соревнователей» глубокое впечатление, и Гнедича вскоре избрали вице-президентом общества. К нему, как арбитру в вопросах литературы, стали обращаться со стихотворными посланиями. Рылеев вынес на суд его свои «Думы» и одну из них — «Державин» — посвятил ему. Глинка отметил заслуги Гнедича на одном из собраний. Похвальный отзыв прозвучал и со страниц «Полярной звезды».

В январе 1822 года «соревнователи» поднесли своему вице-президенту письменное приветствие: «...Имя и деяния ваши будут, конечно, надолго памятны сердцам всех сочленов общества, вам любезного и вас любящего. Но дабы передать и позднейшему времени сведение о своих душевных к вам отношениях, все члены положили: поднести вам за подписанием должностных членов сей адрес и внесть его в летописи общества в полном уверении, что сие приношение от свободной воли укрепит еще более ваши связи с людьми, уже привязанными к вам за вашу благородную любовь и уважение к ним и к цели, ими избранной».

Однако укрепления связи с обществом не произошло. Напротив, Гнедич все реже посещал собрания, и вскоре «соревнователи» вынуждены были избрать нового вице-президента. В 1823 году он посетил всего два собрания из сорока пяти. Причин тому несколько. Среди них — занятость службой и литературным трудом, а также близость к умеренному крылу (Дельвиг, Глинка, Плетнев), которое как раз в то время ненадолго отошло от общества. Примыкая к дворянской оппозиции, Гнедич оставался чужд радикальных устремлений левого крыла «соревнователей»: шаг от оппозиционности к революционности для него, как и для многих других, был непреодолим.

Как воспринял Гнедич события 14 декабря? Сведений почти нет, но, несомненно, разгром восстания и расправа с его участниками потрясли его. Показателен такой эпизод. Он был дружен с семьей Муравьевых, родственников его близкого друга Константина Батюшкова. Узнав, что Никита Муравьев приговорен к каторге, он попросил его мать подарить ему на память портрет осужденного сына. В письме к ней он подчеркнул: «Моя к нему любовь и уважение возросли с его несчастием».

* * *

Восторженной душой при гласе лир священных
Живой я восхожу на пир богов блаженных! —

так писал Гнедич о главном труде своей жизни. Двадцать лет с усердием пушкинского Пимена работал он над «Илиадой». И, как Пимен, видел в этой работе свой долг.

Перевод был завершен осенью 1826 года, но Гнедич не спешил выпускать его в свет. Снова и снова вчитывался он в строки Гомера, исправляя и шлифуя свой труд. Только на исходе 1829 года «Илиада» была напечатана. А через несколько дней «Литературная газета»

писала: «Наконец вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожиданный перевод «Илиады»! ...с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига. Русская «Илиада» перед нами...»

Автором этих строк был Пушкин. Дельвиг поздравил Гнедича стихами, а Федор Глинка писал ему из Твери: «...получил и я «Илиаду», которая переселила меня совершенно в незапамятно прошедшее. Веки воскресли, лицы оживились, и я жил несколько времени, как у себя, в мире греков, в стенах Трои... Это все сбылось волшебством вашего гекзаметра и чудесного красотою перевода».

Осенью 1830 года Пушкин написал на перевод «Илиады» два двустишия. Первое, как ни странно, оказалось эпиграммой, а второе — панегириком. Первое:

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и его перевод.

Существуют различные домыслы о причинах появления этих строк. Как бы то ни было, а эту эпиграмму едва ли кто из современников Пушкина знал — так густо зачеркнул поэт написанное (прочесть зачеркнутое удалось лишь спустя 80 лет!). Зато другое пушкинское двустишие получило широкое распространение:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

Похвала Пушкина была особенно дорога Гнедичу. Сам он, по словам Греча, любил Пушкина «с каким-то родительским исступлением, и искренно радовался его успехам и славе». Когда в 1820 году Гнедич узнал о готовящейся ссылке Пушкина, то в слезах бросился умолять Оленина заступиться за молодого поэта. Вскоре после этого Гнедич стал первым издателем поэм Пушкина

«Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник». Позднее, под впечатлением сказки «О царе Салтане», он посвятил Пушкину восторженное послание. Ответом было стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один...».

Еще в 1825 году, когда Гнедич заканчивал свой труд, Пушкин писал ему: «Но, отдохнув после «Илиады», что предпримете Вы в полном цвете гения, возмужав во храме Гомеровом?.. Я жду от Вас эпической поэмы. *Тень Святослава скитается не воспетая,* писали Вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит поэту». История Руси была дорога Гнедичу, и к ней также устремлялась его творческая мысль. Об этом свидетельствуют черновые наброски, сохранившиеся в его бумагах. Но сил для нового большого труда после «Илиады» уже не было. Гнедич и в ранней молодости не мог похвалиться здоровьем, а после стольких лет изнурительного, напряженного труда оно и вовсе расстроилось. Не дали результатов поездки для лечения на Кавказ и в Одессу. В 1831 году Гнедич выпужден был оставить службу в библиотеке (еще раньше он отказался от других должностей).

Болезни повергали в уныние, еще больше обостряли чувство одиночества:

Мой путь одинок я кончаю
И хилую старость встречаю
В домашнем быту одинок:
Печален мой жребий, удел мой жесток!

* * *

После выхода «Илиады» Гнедич прожил всего три года. Два последних прошли в доме Оливье напротив Пантелеймоновской церкви (улица Пестеля, 5). Когда он чувствовал себя лучше, выходил в соседний Летний сад, бродил по аллеям, отдыхал в тенистых уголках, лю-

буясь мраморными изваяниями мифологических героев, исторических деятелей. На одной из аллей Летнего сада и изобразил Гнедича художник Григорий Чернецов. Перед ним — Жуковский и Крылов, а рядом — Пушкин. Художник выполнил этот этюд в 1832 году, а в начале следующего Гнедича не стало.

Он умер 3 февраля в 5 часов дня в доме Оливье. Через три дня на кладбище Александро-Невской лавры его провожали почти все петербургские литераторы, и конечно Пушкин.

Друзья и почитатели установили на могиле поэта надгробие. На нем надпись:

ГНЕДИЧУ,
обогатившему
Русскую Словесность
переводом Омира

* * *

За полтора века, минувшие с тех пор, к «Илиаде» обращались и другие переводчики: в конце прошлого столетия Н. Минский, позднее В. Вересаев. Оба использовали накопившийся опыт поэтической культуры, и перевод каждого из них отмечен своими достоинствами. Но «Илиада» в изложении Минского уступает труду Гнедича в силе и монументальности. Вересаев же в своем переводе использовал многие, удачные на его взгляд, строки Гнедича. Для современного читателя перевод Гнедича не только сохраняет свое историческое значение, но и остается непревзойденным как художественная ценность.

Петр Александрович Плетнев

Отличительной чертой Плетнева была скромность. Он был счастлив сознанием того, что является современником Пушкина, Дельвига, Гоголя, Жуковского.

Мне в славе их участие дано;
Я буду жить бессмертием мне милых.

Так предрек он свое посмертное признание. Однако не только дружба с выдающимися поэтами утвердила его имя в истории русской литературы пушкинской поры, но и посильный личный вклад в развитие отечественной словесности. Он был поэтом, критиком, издателем и педагогом.

Начало литературной деятельности Плетнева связано с «союзом поэтов». В 1817 году он, 25-летний преподаватель русской словесности, сблизился с Кюхельбекером, а некоторое время спустя — с Дельвигом и Пушкиным. Плетнев сразу проникся духом «союза поэтов», культом дружбы и поэзии, который в нем царил. Вместе с Дельвигом и Кюхельбекером в 1819 году он был принят в Общество соревнователей и, несмотря на занятость (преподавание сразу в нескольких учебных заведениях и частные уроки), энергично включился в его жизнь. В ту пору в журналах все чаще стали появляться его стихи. Многие из них читались на «ученых упражнениях» общества и печатались в «Соревнователе». На страницах этого же журнала Плетнев впервые выступил как критик. Принимал он участие и в редактировании журнала.

В Обществе соревнователей Плетнев сблизился с Глинкой, Гнедичем и другими участниками. Самым же близким его другом стал Дельвиг. Плетнева привлекали в нем уравновешенность, склонность к тиши и уединению, скромность и доброта.

С осени 1820 года Плетнев стал устраивать в своей квартире субботние литературные собрания. До этого по субботам он посещал вечера Жуковского. Когда же Василий Андреевич отправился в заграничное путешествие, Плетнев предложил собираться в этот день у него. На предложение откликнулись с готовностью. Плетнева любили в литературных кругах — общую симпатию вызывали его преданность литературе, познания в этой области,

а также душевная деликатность. Дельвиг, Баратынский, Кюхельбекер, Глинка, позднее Рылеев, Бестужев и многие другие литераторы спешили в субботние вечера в сторону Обухова моста на Фонтанке. Там, в начале Царскосельского проспекта, у моста, в большом каменном здании, стоявшем сразу за верстовым столбом, размещался Военно-сиротский дом (с 1829 года Павловский корпус), в котором преподавал и жил Плетнев (Московский проспект, 17).

Позднее Плетнев рассказывал, что на его вечерах «обсуживались все литературные новости недели, читались и разбирались собственные только что написанные стихотворения и таким образом совершалось взаимное литературное образование собеседников». Звучали тут, конечно, и стихи самого хозяина. Читал он тихим, плавным голосом.

Завсегдатаем плетневских «суббот» стал младший брат Пушкина Лев. Веселый, шумный, он нередко оказывался в центре внимания. Внешне он только отчасти напоминал брата: «небольшого роста, белый, как баран курчавый, воло́са цвета льняного, губы толстые, нос вздернутый, сам жирный». Таким запомнил его Николай Маркевич, соученик по Благородному пансиону. В 1821 году, шестнадцати лет, Лев Сергеевич, не закончив курса пансиона, вступил в самостоятельную жизнь. Связи брата и отца открыли перед ним двери литературных гостиных. Друзья брата, Дельвиг, Баратынский и Плетнев, быстро подружились с ним, найдя за внешней беззаботностью добрую душу и одаренность. Левушка, как они его называли, любил поэзию, знал в ней толк и, по утверждению Вяземского, обладал поэтическим чувством и верным вкусом. Перед талантом брата Лев Сергеевич преклонялся. Многие его стихи и даже поэмы он знал наизусть. И нередко на субботних вечерах Плетнева он знакомил собравшихся с какой-нибудь новинкой, присланной ссыльным братом, или читал по памяти особенно любимые его стихи.

Но Левушка бывал порой не только беспечным, но и ветреным, и несдержанным, и даже язвительным с друзьями; впрочем, не со зла. Однажды он получил от брата письмо с резким отзывом о поэзии Плетнева: «Слог его бледен, как мертвец». Левушка не удержался, чтобы не пересказать эту убийственную оценку самому Плетневу и, видимо, не только ему. Плетневу явно стало не по себе. Но он обладал завидной кротостью и добротой, чтобы без обиды, здраво принять суд Пушкина:

Я не сержусь на едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой силы;
И, может быть, взыскательный урок
Ослабшие мои возбудит крылы.
Твой гордый гнев, скажу без лишних слов,
Утешнее хвалы простонародной:
Я узнаю судью моих стихов,
А не льстеца с улыбкою холодной.

Сколько возвышенности в этих простых словах, найденных Плетневым для ответа Пушкину! И дальше:

Притворство прочь: на поприще моем
Я не свершил достойное поэта.
Но мысль моя божественным огнем
В минуты дум не раз была согрета...

Стихи покорили Пушкина. «Послание Плетнева,— писал он брату,— может быть, первая его пиеса, которая вырвалась от полноты чувства. Оно блещет красотами истинными. Он умел воспользоваться своим выгодным против меня положением; тон его смел и благороден». Это событие помогло Пушкину взглянуть на Плетнева новыми глазами и способствовало их более тесному дружескому сближению.

Плетнев первое время не оставлял поэзии, разве только стал строже и взыскательнее к себе. Но на рубеже 1830-х годов он все-таки перестал писать стихи. Среди последних его стихотворений выделяются напечатанные

в «Северных цветах» элегии, написанные в античной манере. К числу поэтических удач относится также стихотворение, появившееся еще в 1821 году в «Соревнователе» под названием «Стихи, написанные на манускрипте поэта» (опубликованное без подписи, оно позднее приписывалось Баратынскому).

Литературно-общественная позиция Плетнева определялась его принадлежностью к умеренному крылу «Ученой республики». Он полемизировал с радикальным ядром общества, что, в частности, отразилось в его рецензии на первую книжку «Полярной звезды» Рылеева и А. Бестужева и в статье «Письмо к графине С. И. С.». Полемика хоть и приобретала довольно острый характер, но не влекла за собой никакой враждебности в отношениях: «умеренному» Плетневу были близки передовые идеи современников и во многом он находил общий язык с группой Рылеева и Бестужева.

Показателен следующий эпизод из жизни «соревнователей». В марте 1824 года Плетнев выступил на заседании с разбором оды поэта екатерининского времени В. П. Петрова, посвященной Николаю Семеновичу Мордвинову. 67-летний Мордвинов, знатный вельможа, был человеком независимых убеждений и поступков. Н. Маркевич писал о нем: «Враг зла, враг подлостей, он был гроза для негодяев и не взирал ни на чье лицо». К Мордвинову с уважением относилась молодежь: в тайном обществе его кандидатуру выдвигали во временное правление, которое должно было принять власть в случае успеха, «соревнователи» избрали его в почетные члены своего общества, Рылеев и Глинка бывали у него дома (Театральная площадь, 14).

Статью Плетнева «соревнователи» одобрили, и вскоре она появилась в их журнале. Но Плетнев не ограничился разбором чужой оды и сложил в честь Мордвинова свою: «Его не смолкнет голос смелый // В советах царских и судах; // Он злобных бич, коварных страх...» Мордвинова

воспели в своих стихах также Баратынский, Рылеев, Пушкин. Пожалуй, самым убедительным свидетельством гражданского мужества этого удивительного человека стал отказ его, как члена суда над декабристами, подписать смертный приговор Рылееву и его товарищам.

* * *

События 1825 года положили конец не только «ученым упражнениям» в доме Войвода, но и субботним вечерам у Плетнева. Многое уходило в безвозвратное прошлое, оставаясь незабываемым...

Броженье юности унялось,
Остепенился твой поэт,
И вот ему что отстоялось
От прежних дел, от прошлых лет.
Тут все, знакомое субботам,
Когда мы жили жизнью всей
И расходились на шесть дней:
Я — снова к лени, ты — к заботам.

Это надпись Дельвига на книге его стихотворений, подаренной Плетневу в 1829 году. С чувством невосполнимой утраты вспоминал вечера у Обухова моста ссыльный Глинка: «Где это *минувшее?* Где тот приютный уголок, в котором мы, под стужею петербургской зимы, теснились около теплого сердца хозяина, нашего милого, доброго друга!.. Буря жизни распугала гнездо поэтов!»

Вновь местом литературных встреч и бесед квартира Плетнева стала в 30-х годах. В 1831 году умер Дельвиг, и Плетнев в память покойного друга решил продолжить его литературные «среды» и «воскресенья». К этому времени он, уже семейный, оставил квартиру при Военно-сиротском корпусе и поселился по другую сторону Фонтанки — на Обуховском проспекте в доме генерал-майорши Сухаревой (Московский проспект, 8). Здесь дважды в неделю собирались литераторы пушкинского круга.

К этому времени давние приятельские отношения Плетнева с Пушкиным переросли в крепкую дружбу. С 1825 года Плетнев стал основным комиссионером Пушкина, взяв на себя труд по изданию его произведений. Поэт тогда еще находился в опале, и участие Плетнева в его делах насторожило правительство. О нем были сразу собраны надлежащие сведения и, несмотря на «положительный» вывод: «поведения примерного, жизни тихой и уединенной; характера скромного и даже более робкого», за ним было установлено «секретное и неослабное наблюдение». Постоянное дружеское общение с Пушкиным началось у Плетнева после возвращения поэта из ссылки. В 1827 году в знак дружбы и признательности за нелегкий издательский труд Пушкин посвятил ему четвертую и пятую главы «Онегина», в 1837 году это посвящение —«Не мысля гордый свет забавить...»— было предпослано, правда без указания имени адресата, всему роману.

В декабре 1830 года Плетнев познакомился с молодым Гоголем. Тот пришел к нему с запиской от Жуковского, в которой Василий Андреевич просил помочь начинающему писателю. Прошло немного времени, и в «Литературной газете» и «Северных цветах» появились произведения Гоголя. Тогда же Плетнев писал Пушкину: «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее... Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение». Эта возможность представилась через несколько месяцев, когда Пушкин после женитьбы переехал в Петербург. «...С воспоминанием о вас,— писал Гоголь Плетневу,— слито воспоминание о многих светлых и прекрасных минутах моей жизни».

Пушкин и Гоголь были в центре внимания на «средах» и «воскресеньях» Плетнева. Пушкин в дом Сухаревой нередко приезжал с молодой женой. Тут кроме Гоголя он заставал П. А. Вяземского, В. Ф. Одоевского,

А. В. Никитенко, О. М. Сомова. В конце 30-х годов у Плетнева стали появляться воронежский поэт Алексей Кольцов и студент Петербургского университета Иван Тургенев.

На Тургенева Плетнев обратил внимание в университете, где с 1832 года читал курс российской словесности. В своих лекциях он проявил себя как тонкий исследователь древнерусской литературы. Современная наука справедливо считает его одним из тех, кто стоял у истоков создания истории отечественной литературы. Правда, Тургенев позднее вспоминал, что «ученый багаж» профессора Плетнева казался ему легок, но любовь к предмету, искренность в общении со студентами, умение заинтересовать были его весомыми достоинствами. Студенты любили Плетнева и за то, что на его лекциях нередко обсуждались литературные новости, возникали диспуты, и они могли читать свои произведения. Случалось, среди студенческих произведений Плетнев встречал особенно примечательные. Так, в 1834 году он обратил внимание на сказку, поданную ему в качестве зачетной работы студентом П. П. Ершовым. Плетневу она понравилась, и он стал ее пропагандировать — читал студентам, своим друзьям. Пришлась она по вкусу и Пушкину, который тогда же познакомился с ее автором. Сказка называлась «Конек-Горбунок».

Пушкин с живым интересом следил за преподавательской деятельностью Плетнева, поощрял его внимание к молодым талантам. Незадолго перед смертью он посетил университет и прослушал одну из лекций друга.

А за несколько дней до дуэли Пушкин и Плетнев последний раз неторопливо беседовали, прогуливаясь вдоль Фонтанки. Стоял морозный январский день, под ногами поскрипывал снег, невдалеке вырисовывался силуэт Обухова моста с гранитными башнями и спускавшимися из них тяжелыми, заиндевевшими цепями. «Он говорил со мною,— вспоминал Плетнев,— о судьбах *промысла*, выше

всего ставил в человеке качество благоволения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни и вытребовал обещание, что я напишу свои мемуары». Это были те дни, когда Пушкин, окруженный злобой и равнодушием, особенно остро чувствовал искренность и доброту Плетнева, особенно оценил его преданность и дружбу.

Смерть близких — Дельвига, Пушкина, Баратынского, Крылова, Жуковского — каждый раз заставляла Плетнева браться за перо. Так была создана серия литературных очерков-портретов.

Статья о Пушкине появилась в 1838 году на страницах «Современника». В тот год Плетнев получил право на издание этого журнала, начатого Пушкиным незадолго до смерти. Но без Пушкина журнал потерял свою литературно-общественную направленность и привлекал внимание читателей только публикацией неизданных пушкинских произведений. Плетнев несколько лет издавал его в убыток, а в 1846 году продал Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву.

С 1840 по 1861 год Плетнев был ректором Петербургского университета. В эти годы он продолжал свои литературные вечера. Еще в 1838 году он переехал на Невский проспект (дом № 38), а через три года — на Васильевский остров в ректорский флигель при университете (Университетская набережная, 9). Сюда к нему по средам приходили ученые, писатели, художники.

В 40—50-х годах на вечерах Плетнева уже не собирались определенные литературные группировки, как это было прежде (в 20-х годах — «союз поэтов» и «Ученая республика», в 30-х — пушкинский круг писателей). Поэтому в литературном движении 40—50-х годов эти вечера не играли столь заметной, как раньше, роли. Но, как и поздние литературные «понедельники» Ф. Глинки, вечера Плетнева стали олицетворением живой связи нового литературного поколения с пушкинским, уходившим в прошлое. У Плетнева бывали П. А. Вяземский,

В. Ф. Одоевский, Н. В. Гоголь (когда он бывал в Петербурге), журналисты-издатели Ф. Ф. Корф и А. А. Краевский, детская писательница А. О. Ишимова, романист И. И. Лажечников, поэтесса Е. П. Ростопчина, поэт И. П. Мятлев, В. И. Даль, И. И. Панаев, В. Г. Белинский (в 1844 году Белинский выступил с резкой критикой «Современника», что привело к разрыву с его издателем). С середины 1840-х годов у Плетнева стал появляться Ф. И. Тютчев, а несколько раньше он приобщил к своему кругу питомцев университета, молодых поэтов Аполлона Майкова и Алексея Плещеева. Среди друзей Плетнева был молодой историк литературы Я. К. Грот. Плетнев поддержал молодых — И. С. Тургенева, Н. С. Соханскую (Н. Кохановскую), П. А. Кулиша и других.

Но молодежь тянулась к Плетневу, разумеется, не только в расчете на покровительство и помощь, но и искренно веря в его художественный вкус и интуицию, воспитанные в пушкинский век, век необычайного подъема поэтической культуры. К тому же сам Плетнев и его старинные друзья были в глазах поэтической молодежи последними представителями той славной эпохи. Все это прекрасно выражено в обращенном к нему стихотворении А. Майкова:

За стаею орлов двенадцатого года
С небес спустилася к нам стая лебедей,
И песни чудные невиданных гостей
Доселе памятны у русского народа.
Из стаи их теперь один остался ты,
И грустный между нас, задумчивый ты бродишь,
И, прежних звуков полн, все взора с высоты,
Куда те лебеди умчалися, не сводишь.

Рыцарски преданный прошлому, Плетнев, по словам И. С. Тургенева, «не расставался с дорогими воспоминаниями своей жизни; он лелеял их, он трогательно гордился ими. Рассказывать о Пушкине, о Жуковском — было для него праздником».

«Вы, по моему мнению, принадлежите к тем редким людям, которых время не изменяет»,— писала ему в 1849 году его давняя ученица и жена его друга С. М. Дельвиг. Годы, конечно, не могли не сказываться на Плетневе, он изменялся вместе со своим поколением, и когда в середине века происходило решительное размежевание между приверженцами существующего строя и представителями демократической революционности, он, как и многие его сверстники, оказался далек от либеральных настроений молодости. Но прежней оставалась его душа, исполненная, по словам Пушкина, «Поэзии живой и ясной, // Высоких дум и простоты».

В 1863 году Плетнев из-за болезни уехал с семьей в Париж. Там виделся он с декабристом Н. И. Тургеневым. Сын Плетнева вспоминал, что всякий раз «между ними шла горячая беседа о России и только о России». Но вернуться на родину Петру Александровичу не пришлось. В конце 1865 года, в возрасте 73 лет, он скончался во Франции. Гроб с его телом был доставлен в Петербург. Погребен Плетнев на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, вошедшем позднее в Некрополь мастеров искусств.

Василий Иванович Туманский

В 1816 году в старинную и известную Школу святого Петра при лютеранской церкви на Невском проспекте (теперь здание школы № 222 за бывшей церковью Петра и Павла, между домами № 22 и 24) определился шестнадцатилетний харьковский гимназист Василий Туманский. Он любил литературу и с удовлетворением узнал, что в стенах школы собиралось Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. В начале 1800-х годов здесь преподавал русский язык Иван Мартынович Борн, один из основателей, а потом и президент общества. При нем и происходили собрания в зале, распи-

санном художником А. И. Зауэрвейдом эмблемами наук и литературы. Но общество давно обновилось по составу и устраивало теперь свои заседания в Михайловском замке, а в школе о нем напоминала лишь старая роспись, просвечивавшая, как вспоминал Греч, «сквозь слой прозаической белой краски, которою впоследствии покрыли храм поэзии».

В 1818 году, в год окончания школы, Туманский познакомился с А. Е. Измайловым, которому понравились стихотворения юноши. Вскоре Туманский был принят в «михайловцы». «Благонамеренный» стал печатать его стихи, а когда он уехал для продолжения образования в Париж,— его корреспонденции о культурной жизни Франции. В Париже Туманский встретил Кюхельбекера, которого уже знал по Михайловскому обществу. До отъезда в Париж он успел познакомиться в Петербурге и с другими литераторами, многие из которых вскоре сплотились под знаменем «Ученой республики». Такой же путь — от «михайловцев» к «соревнователям» — предстоял и ему. Само пребывание в свободной и просвещенной Европе, дружеские отношения, установившиеся в Париже с Кюхельбекером,— все содействовало росту политического сознания молодого поэта.

С Кюхельбекером в августе 1821 года он вернулся в Петербург, где вскоре оказался в Обществе соревнователей. Все для него было торжественно и значительно на первом заседании — и выступления «соревнователей», среди которых были знакомые и неизвестные ему, и собственное выступление. Он прочел стихотворения Кюхельбекера о Греции, одно из которых («К Аха́тесу») было обращено к нему. Взволнованным голосом читал он посвященные себе строки:

И в вольность и в славу, как я, ты влюблен,
Навеки со мною душой сопряжен!
Мы вместе помчимся туда,
Туда, где восходит свободы звезда!

Так, с именем Греции на устах, вступил Туманский в «соревнователи»: на том заседании, 29 августа, он был официально принят в члены-сотрудники общества.

Молодой поэт внимательно ко всему присматривался и прислушивался во время заседаний. Чтение стихов и прозы, как правило, завершалось спорами. Казалось, сам воздух в доме Войвода накалялся от шумных дебатов. Он не сомневался в выборе — передовое крыло «соревнователей» во главе с Рылеевым и Бестужевым было ему по душе:

Нет! не заблещет лавр бессмертный на челе
Рабов общественного мненья,
Привыкших истину вещать — без убежденья,
Неправду и порок щадящих на земле.

Увлеченный ростом гражданских настроений «соревнователей», Туманский создал несколько стихотворений, встретивших в «Ученой республике» горячее одобрение. Среди них — гимн «Священный союз народов», перевод одного из известных произведений Беранже, чьи политические стихи пользовались популярностью в передовых кругах России. Туманский представил его в «Ученую республику» в декабре 1822 года, после чего сразу был переведен из членов-сотрудников в действительные члены.

К 1823 году он отошел от «михайловцев», составлявших правый фланг, или, как назвал его А. Бестужев, «партию положительного безвкусия», в «Ученой республике». Он был чужд им не только стремлением к общественным мотивам в творчестве, но и более четко оформившейся литературной позицией поэта-романтика, последователя поэтической школы Жуковского. Н. Цертелев и Б. Федоров («голова» и «хвост» этой «партии») вели борьбу с «молодыми романтиками» (вспомним «союз поэтов»). Неудивительно, что их окружение ополчилось и на Туманского. Его стали задевать в статьях и выступлениях в обоих обществах, высмеивать со стра-

ниц «Благонамеренного» в эпиграммах и даже пасквилях. Вот одна из эпиграмм, появившаяся за подписью NN:

Дитя мечтательной натуры,
Поэт-романтик Мглин так слог туманит свой,
Что уж давно пора назвать его мечтой
Иль призраком литературы.

Приверженность левому флангу «соревнователей» Туманский продемонстрировал и на публичном заседании общества, которое состоялось в доме покойного Г. Р. Державина. Вокруг имени Державина в обществе давно ломались копья. Цертелев выступил со статьей, принижавшей гражданские позиции Державина-поэта. Рылеев же в думе «Державин» утверждал:

Он выше всех на свете благ
Общественное благо ставил.

Спор шел не только конкретно о Державине, но и о месте поэта вообще, о его гражданском долге. Рылеев, Бестужев, Глинка, Сомов, Никитин и другие «соревнователи» видели в поэзии Державина достойный пример гражданственности. Для Туманского Державин в первую очередь — «правдивый гражданин». К публичному заседанию он подготовил стихотворение «Век Елизаветы и Екатерины» с подзаголовком «Отрывок из послания к Державину».

В ходе приготовлений к этому особо торжественному собранию страсти в «Ученой республике» накалились, как никогда. Измайлов сообщал своему знакомому, что «сряду десять или пятнадцать заседаний ничего другого не делали, как только спорили, шумели, кричали, бранились. Удивляюсь, как обошлось дело без поединка». Наконец, 22 мая 1823 года к 7 часам вечера у дома вдовы Гавриила Романовича Державина на Фонтанке (теперь дом № 118) собралось множество карет. Давно этот старинный особняк не принимал стольких гостей.

В доме, где некогда жил прославленный поэт, с особым чувством воспринимались строки, прочитанные Туманским:

О, сколько славных дел и памятных картин
В твоих писаниях! Правдивый гражданин,
Свободный в похвале, бесстрашный в порицанье,
Ты пел, восторженный, отчизны ликованье...

«Туманскому аплодировали,— писал А. Бестужев на следующий день Вяземскому,— и стоит; были звонкие стихи и новые картины». Вслед за своим стихотворением Туманский прочел отрывок из поэмы Рылеева «Войнаровский».

И Рылеев, и Бестужев были очарованы талантом Туманского, чувствовали в нем надежного союзника в «Ученой республике». Рылеев обращался к Туманскому: «Да не угасает же в тебе... никогда чистый пламень поэзии, возженный твоею прелестною музою... Пусть пламень сей назло ничтожной и мелкой собратии Федорова чаще и чаще рождает в тебе истинное вдохновение и дразнит самолюбивое безвкусие старообрядцев нашей словесности». Эти слова Туманский прочитал уже в Одессе, куда уехал после выступления в доме Державина.

Северный климат плохо влиял на его здоровье. В Петербурге южанин Туманский часто болел, подолгу не выходил из дома (его адрес, к сожалению, неизвестен). «Добрые приятели, без которых я никогда не оставался, приходят к больному, сидят, толкуют, спорят, и время, хотя с досадой, летит скорей и веселей,— писал Туманский своей кузине.— Иногда милая муза... сходит в мое заточение и тешит меня сладкими звуками невидимой своей арфы». В другом письме поэт писал: «Я чувствую, что я рожден для южных стран, для теплого климата, чувствую, что даже в обществах холодность, равнодушие и притворство враждуют с моим здоровьем, как и с душой моей». Позднее в одном из наиболее популярных своих стихотворений «Мысль о юге» Туманский скажет:

Я взлелеян югом, югом,
Ясным небом избалован;
К югу, югу верной думой,
Словно цепью, я прикован.

. . . .

Там гармония, сиянье,
Благовонье, наслажденье;
Север гордый! север гордый!
Что ж ты дашь мне в утешенье?

Юг, к которому так влекло поэта, во всем великолепии предстал перед ним в июне 1823 года. Туманский определился на службу в канцелярию губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова.

* * *

Несмотря на дальность Петербурга, связи Туманского с петербургскими литературными кругами не ослабевали. Рылеев и Бестужев вели с ним оживленную переписку, печатали его стихи в «Полярной звезде». Узнав, что в Одессу прибыл Пушкин, они поручили Туманскому привлечь его к участию в их альманахе.

Пушкин дружески общался с Туманским в Одессе. Он видел в нем не лишенного дарования поэта, находил в его стихах «гармонию» и «точность слога», но сожалел, что дальше примерного ученичества, то есть к подлинному литературному новаторству, тот не шел. «Дай бог ему премудрости»,— писал он Бестужеву.

Туманский в ту пору стремился к премудрости, но не в поэзии: он задумывался о служебной карьере. Годы шли, и наступала пора проявить себя и занять более видное общественное положение. Воронцов заметил его старательность: «...Туманский — молодой человек очень порядочный и совсем не Пушкинова разбора». Зато Рылеев и Бестужев пеняли ему из Петербурга. «Что твоя лира делает?— вопрошал Бестужев.— Что-то плошает, кажется, под светлым южным небом. Грех, Вася, грех». Рылеев тут

же приписал: «Отжени лень, пиши, но пиши дело — у тебя прекрасный талант: ты сам не дорожишь им».

Петербургские друзья были встревожены угасанием гражданской темы в поэзии Туманского. А может быть, почувствовали даже наметившийся отход от поэзии вообще, настороживший, кстати, и Пушкина. «Сделай милость,— писал он Туманскому,— не забывай своего таланта. Боюсь, чтоб проза жизни твоей не одолела поэзии души». Опасения Пушкина оказались ненапрасными. «Проза жизни» постепенно побеждала. С середины 1820-х годов муза все реже тешила поэта «сладкими звуками невидимой своей арфы», а с конца 1830-х совсем оставила его.

В начале 1826 года следственная комиссия в Петербурге заинтересовалась личностью Туманского. Один из декабристов аттестовал его человеком «горячих чувств и пылкого ума». Никаких улик против поэта собрать, однако, не удалось. В сохранившихся письмах Туманского того времени нет отзвуков событий на Сенатской. Доверять бумаге свои мысли он не решался. Но когда ему удалось достать списки предсмертных писем Рылеева и Пестеля, он тотчас послал их своему ближайшему другу — кузине Софье Туманской. В августе 1826 года, во время коронации Николая I, Туманский оказался в Москве. Описывая кузине праздничный город, он не мог удержаться от восторженного тона, но, перечисляя монаршьи милости, выпавшие на долю высшей знати, с иронией заметил: «Для народа и дворян милостивый манифест в 30 статьях, где разные прощения и облегчения, которые почти никого не простят и не облегчат».

Продолжая службу в Одессе, Туманский старался следить за литературной жизнью. Главой современной литературы он признавал Пушкина и сотрудничал в близких ему изданиях. С 1828 года началась дипломатическая служба Туманского в Румынии, а затем в Турции. Творчество 1830-х годов (последнего десятилетия его поэтической деятельности), небольшое по объему, составило

едва ли не лучшую часть его литературного наследия. Восемь стихотворений этого времени были напечатаны друзьями Пушкина в восьмом томе посмертного пушкинского «Современника» (1837).

* * *

В январе 1839 года после долгого перерыва Туманский вновь поселился в Петербурге и определился на службу в Государственный совет. По инициативе государственного секретаря М. А. Корфа он принялся за составление «Истории Государственного совета».

Тогда же, в 1839 году, Туманский написал одно из последних стихотворений «Жалоба», в котором с горечью признавался в утрате сил и чувств, наполнявших его молодость:

Где прежних дум огонь и сила?
Где вдохновение младой моей поры?
Я старец: чувственность, как бездна, поглотила
Обильной юности дары.

Этим стихотворением, написанным на исходе четвертого десятилетия жизни, Туманский как бы простился и с молодостью, и с поэтической деятельностью.

Туманский жил в доме Цейдлера в Троицком переулке (теперь улица Рубинштейна, 16/6). Возможно, он прожил здесь до 1846 года, когда вышел в отставку и уехал в свое имение под Полтаву.

Последние годы его жизни прошли в преддверии крестьянской реформы. Готовясь к этому великому, по его мнению, событию, он написал заранее речь для крестьян: «Считаю себя истинно счастливым, что дожил до этого радостного для вас дня. От всего сердца поздравляю, добрые крестьяне, с правами гражданства...» В этих словах — отзвук гражданских чувств, сложившихся не без влияния «Ученой республики». Тогда же Туманский был

избран депутатом в Петербург для представления проекта об улучшении быта помещичьих крестьян. Однако по нездоровью поехать он не смог, а в марте 1860 года, не дожив до реформы, умер.

Василий Никифорович Григорьев

В мае 1822 года Рылеев предложил вниманию «соревнователей» стихотворение девятнадцатилетнего Василия Григорьева «Падение Вавилона». Древний Вавилон — царство покорителя Иудеи Навуходоносора, «Пред кем в плену дымились царства, // Стенал народ под варварским жезлом». Говоря о падении Вавилона и смерти его властителя, поэт напоминал, что порок и тирания наказуемы и гибель деспотов неизбежна. Стихотворение понравилось «Ученой республике» и вскоре появилось на страницах «Соревнователя». Вслед за ним в том же журнале стали появляться и другие произведения Григорьева.

Василий Григорьев родился в 1803 году в Петербурге в семье неродовитого и небогатого чиновника экспедиции о государственных доходах. Когда ему исполнилось шесть лет, отец записал его в экспедицию, что давало возможность к началу службы миновать самые низшие ступени чиновничьей лестницы. В 17 лет, закончив губернскую гимназию (позднее 2-я гимназия, теперь школа № 232 на улице Плеханова, 27), Григорьев вступил коллежским секретарем в штат экспедиции, вскоре преобразованной в департамент государственного казначейства, где прослужил 40 лет.

Он чувствовал, что гимназия дала знания довольно скудные, и потому с жадностью принялся за чтение. Денег на покупку книг не хватало, и он стал постоянным читателем Публичной библиотеки. Самым любимым его предметом в гимназии была российская словесность, которую преподавал известный профессор Н. Бутырский.

В пору гимназической юности Григорьев написал свои первые стихи.

Сначала служба не очень увлекала молодого человека, да и обязанностей у него было мало, и он не оставлял поэзии. На него обратил внимание А. Е. Измайлов, служивший в том же департаменте начальником отделения. Стихи Григорьева появились в «Благонамеренном», а сам он стал бывать у Измайлова на Лиговском канале (Лиговский проспект, 11).

Постепенно его литературные знакомства разрослись. Впоследствии он с благодарностью вспоминал «доброе расположение» к себе Дельвига, Илличевского, Николая Бестужева, Греча и, конечно, Рылеева. Правда, в своих воспоминаниях, написанных уже в преклонном возрасте, Григорьев умышленно подчеркнул, что никогда не подозревал в Рылееве человека, «который замышлял произвести в России государственный переворот». «Я видел в нем только литератора»,— писал он[1]. В старости Григорьев неохотно упоминал о своих связях с декабристами, но его творчество 1820-х годов — свидетельство идейной близости с ними.

17 декабря 1823 года Григорьев был избран членом-сотрудником Общества соревнователей. В тот день он получил в обществе диплом следующего содержания: «Санкт-петербургское вольное общество любителей российской словесности, уважая любовь к просвещению и содействие в благотворении господина титулярного советника Василия Никифоровича Григорьева и отдавая должную справедливость трудам его, подъятым для пользы наук и отечественной словесности, на основании § 35 высочайше

[1] Эти обширные воспоминания — «Записки из моей жизни», из которых ранее публиковались только выдержки, хранятся в Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В этом очерке использованы хранящиеся там же формулярный список Григорьева и его диплом члена-сотрудника Общества соревнователей.

утвержденного устава своего, признает его членом-сотрудником со всеми правами и преимуществами, званию сему присвоенными. Дан в Санктпетербурге. Декабря 17 дня 1823 года.

Председатель общества Федор Глинка, цензор прозы Дмитрий Княжевич, цензор поэзии К. Рылеев, цензор библиографии Александр Корнилович, секретарь общества А. Никитин».

А через полтора месяца Григорьев был произведен в действительные члены, после чего особенно часто стал посещать заседания «Ученой республики». Стихи его и до вступления в ряды «соревнователей» не раз читались на «ученых упражнениях» и печатались в журнале общества. Так, в сентябре 1822 года было рассмотрено его послание к одному из друзей — «К С-у, отъезжающему на родину». В обличительном тоне поэт вел в нем речь об отсутствии живых человеческих проявлений в светском обществе:

А здесь, мой друг, приличий светских хлад;
Здесь тухнет пламень вдохновенья,—
И если иногда и прояснится взгляд
Восторгом песнопенья,
То — уцелевший злак под черепом зимы;
То — огонек в глуши полупотухший;
То — слабый луч, чрез скважину тюрьмы
На узника украдкою скользнувший.

В некоторых стихотворениях Григорьев использовал, как и Ф. Глинка, библейскую символику. Вслед за другими «соревнователями» он обращался и к теме новгородской вольности, и к героическим эпизодам русской истории, и к восставшей Греции. В его творчестве преобладали гражданские мотивы, но оно ими не исчерпывалось. Немалое место занимала в его поэзии любовная лирика. Большой популярностью, например, пользовалось его стихотворение «К неверной», опубликованное Дельвигом в «Северных цветах на 1825 год» и позднее не раз появлявшееся в печати:

Не отравляй моей тоски
Улыбкой, ласкою притворной
И сердца снова не влеки
К мучениям любви упорной!

Несмотря на близость к многим декабристам, Григорьев не имел отношения к событиям на Сенатской площади. Но их отзвук слышен в стихотворении «Сетование», также напечатанном Дельвигом. Использовав библейскую символику (древний Вавилон, пленивший иудеев), поэт создал стихотворение, пронизанное гражданской скорбью.

Летом 1826 года Григорьев познакомился с только что освобожденным из-под ареста Грибоедовым. Знакомство продолжилось на Кавказе, куда Григорьев выехал в 1828 году по служебным делам. В Тифлисе он присутствовал на балу, устроенном по случаю свадьбы Грибоедова. А через несколько месяцев в пути из Тифлиса в Нахичевань ему, первому из русских, довелось встретить останки Грибоедова, которые везли из Персии в Тифлис. Под впечатлением этого события Григорьев написал небольшой очерк, напечатанный в «Сыне отечества и северном архиве».

Еще одна встреча на Кавказе глубоко врезалась в память Григорьева. Во время его пребывания в Тифлисе туда был доставлен из Сибири разжалованный в рядовые Александр Бестужев. Четыре года разлуки — срок небольшой, но они сильно изменили Бестужева. Григорьев помнил его «беспечным, веселым и вечно острящим на все, что попадалось ему на глаза». Теперь Бестужев показался ему мрачным, постаревшим. И только в беседе Григорьев узнал в нем прежнего знакомого. Вспоминая в старости эту встречу, Григорьев писал: «Имя его (Бестужева.— *Авт.*) принадлежит истории, которая произнесет над ним свой справедливый приговор».

На Кавказе Григорьев пробыл до конца 1830 года. Все это время в столичных журналах и альманахах появлялись его стихи и статьи с описаниями событий и кар-

тип кавказской жизни. В обязанности Григорьева входило описание нахичеванских земель, персидской границы и торговли в Закавказском крае. Вернувшись в Петербург, он выпустил книгу «Статистическое описание Нахичеванской провинции», которая принесла ему репутацию знатока экономики и статистики. Похвальный отзыв о ней напечатал Пушкин в «Современнике».

К сожалению, неизвестны никакие отзывы Пушкина о поэзии Григорьева. Между собой они были почти незнакомы: единственная мимолетная встреча поэтов произошла у Дельвига, в 1827 или 1828 году. Их разделяло разное общественное положение. Мелкий чиновник Григорьев не мог посещать многие дома, в которых бывал Пушкин. Да и талант его был не столь выдающимся, чтобы он сделался заметной фигурой литературных салонов.

В 1830-х годах Григорьев продолжал служить в департаменте, отлучаясь иногда из Петербурга по служебным делам. Служба не приносила ему ни материального благополучия, ни морального удовлетворения. В мемуарах Григорьев метко обрисовал свое окружение: «Из вице-директоров наших один похож был на египетскую мумию и физически и морально, а другой отличался необыкновенным тупоумием и смешными стародавними манерами; начальники же отделений большею частью были или увальни худоразвитые или истые чиновники, безжизненные формалисты...» О литературных вкусах представителей этой среды можно судить по гоголевскому Аксентию Ивановичу Поприщину, герою «Записок сумасшедшего», который однажды переписал «очень хорошие стишки: *Душеньки часок не видя, // Думал год уже не видал;// Жизнь мою возненавидя, // Льзя ли жить мне, я сказал».* «Должно быть, Пушкина сочинение»,— решил Аксентий Иванович.

Но среди подобных карикатурных персонажей попадались, конечно, и исключения. Широко образованным че-

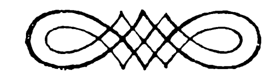
ловеком был, например, директор департамента в 1830-х годах Дмитрий Максимович Княжевич — литератор, журналист, археолог и этнограф. Он был одним из тех, кто поставил свою подпись на дипломе, выданном Григорьеву «Ученой республикой» по случаю принятия в общество. Княжевич, конечно, хорошо помнил Григорьева и способствовал его продвижению по службе, сначала на должность правителя канцелярии, а потом и в начальники отделения.

С годами поэтический темперамент Григорьева постепенно угасал. Григорьев в чем-то схож с Туманским: оба были небогаты и мечтали о хорошей служебной карьере, оба оказались разбужены кипучим движением поэзии 1810—1820-х годов. Высокий уровень поэтической культуры эпохи способствовал выявлению их дарований. Оба поэта выразили в своем творчестве вольнолюбивые настроения тех лет, в большей степени Григорьев. И оба, простившись с молодостью, расстались и с поэзией, став деловыми, степенными чиновниками. Григорьев позднее даже раскаивался в прежних поэтических увлечениях: «Писать стихи было тогда какою-то модою. Этою-то модою, и более ничем другим, увлекся и я, чему особенно способствовало то, что я довольно свободно владел русским языком. Каюсь теперь в моем увлечении: то был не дар, ниспосланный мне свыше, а просто минутная вспышка довольно живого воображения. Каюсь, потому что увлечение писать стихи расположило меня к мечтательности, а судьба готовила меня быть чиновником, то есть занять такое положение в свете, при котором мечтательность не только неуместна, но даже решительно вредна. Вот оттого-то из меня не вышло ни настоящего поэта, ни истинно дельного чиновника».

Нельзя без сожаления читать эти строки. Григорьев не сумел сохранить идеалов молодости, не понял своего таланта. А вот дельный чиновник из него все-таки вышел. Уже после того, как были написаны приведенные строки,

он получил чин действительного статского советника и должность вице-директора департамента. В 1861 году слабое здоровье заставило его уйти в отставку, после чего он прожил еще 15 лет.

За 73 года жизни Григорьев не раз менял квартиры, жил в различных уголках Петербурга. Но большая часть его жизни прошла в стенах дома, который занимал его департамент. В этом доме на углу Садовой и Итальянской улиц (теперь Садовая улица, 12/23, угол улицы Ракова) он родился. Здесь прошла его юность, здесь написаны первые стихи. В этом доме Григорьев жил с семьей и позднее. Похоронен Григорьев на Смоленском православном кладбище.





РЫЦАРИ „ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ“

Я помню, как, прерывая смех Грибоедова, ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал в бой и гибель, как зовут на пир.

А. И. Герцен

О «Полярной звезде» и ее издателях вспоминали многие в тревожные дни после 14 декабря. «Какой-то общий траур пал на жителей Петербурга,— писал воспитанник Академии художеств гравер Ф. Иордан,— всюду царствовала какая-то смертная тишина и общее горе... Все замолкло. Не успели навосхищаться изданием «Полярной звезды», каковой альманах мало кем-либо не был прочитан, имя Бестужева делалось известным каждому, так и «Думы» Рылеева заставляли восхищаться и думать каждого, и вдруг слышим, что и эти две замечательные умные личности сидят в крепости».

Большинство читателей уловило целеустремленность и революционный пафос «Полярной звезды». Три книжки, выпущенные на 1823, 1824 и 1825 годы, разошлись с небывалым успехом. В быстроте распродажи с ними могла конкурировать только «История государства Российского» Карамзина.

Почтенный российский историограф Николай Михайлович Карамзин, человек несомненной честности и прямоты, искренне преданный самодержавию, имел свой взгляд на события 14 декабря. «Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев с «Полярною звездою», Бестужевым, Рылеевым и достойными их клевретами... Дай бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ими не так много!» — так писал он по горячим следам событий на Сенатской площади.

Но прошло несколько дней, и Карамзин написал: *«Оба* рыцаря „Полярной звезды" сидят в крепости...» «Злодеи» стали «рыцарями»! Что это — пренебрежительная насмешка или признание Карамзиным высокой гражданской доблести участников восстания? Вероятнее всего, второе. Каждый день становились известны новые имена причастных к событиям на Сенатской, среди них были хорошо знакомые и близкие Карамзину... Возмущение сменялось сомнением и растерянностью: ведь в числе «злодеев» оказались подлинные патриоты, «рыцари», люди высоких гражданских достоинств и благородства.

...Прошло 30 лет. В августе 1855 года в свет вышла новая «Полярная звезда». На ее обложке — профили пятерых казненных декабристов, на титульном листе эпиграф — пушкинская строка: «Да здравствует разум!»

Издатель «Полярной звезды», преемник революционной традиции декабризма А. И. Герцен, писал: «„Полярная звезда" скрылась за тучами николаевского царствования. Николай прошел — Полярная звезда является вновь...»

Полярная звезда, ярчайшая в созвездии Малой Медведицы, с древних времен считается путеводной. Путеводным для всех передовых людей России стремились сделать свой альманах Рылеев и Бестужев; ту же задачу вслед за ними ставил перед собой Герцен.

* * *

Идея литературного альманаха, который отвечал бы взглядам передовых кругов русского общества, возникла вскоре после знакомства Кондратия Рылеева с Александром Бестужевым. Как-то в феврале или марте 1822 года они, познакомившиеся незадолго перед тем в «Ученой республике», после очередного заседания вместе вышли на улицу, разговорились. Оказалось, оба живут почти по соседству — на Васильевском острове. Дальний путь от дома Войвода до Васильевского, увлеченные беседой, прошли, почти не заметив. Вскоре совместные прогулки и беседы стали для них необходимостью.

Двадцатичетырехлетний Александр Бестужев был моложе своего нового товарища на два года. Он родился и вырос в Петербурге в замечательной семье. Отец, Александр Федосеевич Бестужев, был широко образованным, передовым человеком, сумевшим привить своим детям — у него было пятеро сыновей и три дочери — не только интерес к знаниям, но и такие качества, как честность, прямота, независимость взглядов. Дети воспитывались в необычной обстановке: в доме была богатая коллекция камней и минералов, обширная библиотека; на стенах — картины и эстампы известных художников, всюду были расставлены модели пушек, крепостей и знаменитых архитектурных зданий.

Бестужевы жили тогда в собственном деревянном доме с тенистым садом на 5-й линии Васильевского острова (теперь участок дома № 40). Здесь у них бывали скульптор М. И. Козловский, известный ученый Н. Я. Озерец-

ковский, поэт и публицист И. П. Пнин и другие знаменитости начала XIX века. Александр Федосеевич умер в 1810 году. Он по праву мог бы гордиться своими детьми, четверо из которых стали активными участниками событий на Сенатской площади.

Александр Бестужев, второй по старшинству из братьев, двенадцати лет (в 1810 году) был определен в Горный кадетский корпус (с 1833 года Горный институт)[1]. В стенах этой крупнейшей в России технической школы он провел пять лет. Корпус располагался на Васильевском острове на берегу Большой Невы (теперь набережная Лейтенанта Шмидта, 45). Его здание с колоннадой и треугольным фронтоном, в начале века перестроенное А. Н. Воронихиным, выделялось своим обликом среди других построек в этом районе Петербурга. Недалеко от него, на той же набережной, находился Морской кадетский корпус (теперь дом № 17), где воспитывались (в разное время) братья Александра — Николай, Михаил и Петр. А еще выше по Большой Неве стоял Первый кадетский корпус (Университетская набережная, 15), в котором 13 лет провел Кондратий Рылеев. Его кадетская жизнь началась на шестом году жизни, когда мать привезла его из деревни[2] и определила в корпус «волонтером».

---

[1] Обычно в литературе указывается, что Бестужев поступил в корпус в 1806 году. Однако архивные документы свидетельствуют, что он был принят 10 января 1810 года (см.: *Черняев В. Ю.* Воспитан в Горном корпусе.— Русская литература, 1975, № 4), что подтверждается и биографическим очерком о Бестужеве, хранящимся в Институте русской литературы (Пушкинском доме) — ф. 265, оп. 2, ед. хр. 226.

[2] Бывшее имение Рылеевых Батово находится в Гатчинском районе Ленинградской области на живописном берегу р. Оредеж. Частично сохранился парк усадьбы. К 175-летию со дня рождения поэта-декабриста в нем была открыта стела, в надписи на которой повторена распространенная ошибка: Батово названо родиной Рылеева. Однако место рождения его не установлено (см.: Звенья, т. 9. М., 1951, с. 194—212).

Будущие издатели «Полярной звезды» сняли кадетские мундиры почти в одно время: Рылеев в 1814 году, Бестужев в 1815-м. В интересах обоих юношей литература уже занимала видное место. Оба много читали и пытались сочинять. Бестужев в корпусе писал пьесы в стихах и прозе для кукольных представлений, вел дневник, к сожалению не сохранившийся, куда записывал свои юношеские впечатления и фантазии. На страницах дневника можно было видеть и меткие карикатуры — плод его наблюдательности и острого ума. Кондратий Рылеев в ту же пору сочинял оды, басни, послания.

Кадетские мундиры юноши сменили на полковые. Бестужев вступил в лейб-гвардии Драгунский полк. В течение семи лет службы ему приходилось разделять свою жизнь между Петербургом, Петергофом (там стоял полк) и военными походами. В 1822 году он был назначен адъютантом к главноуправляющему путей сообщения генералу А. Бетанкуру, которого на этом посту вскоре сменил герцог Вюртембергский. Главное управление размещалось у Обухова моста на Фонтанке, в особняке, построенном в 1790-х годах Дж. Кваренги для князя Юсупова (теперь это дом № 115 по набережной Фонтанки). В начале XIX века дворец с флигелями и садом, простиравшимся до Садовой улицы, был куплен казной. В бывшем юсуповском дворце Бестужев появлялся каждое утро, а в определенные дни оставался там на дежурство до вечера. Иногда управляющий посылал его инспектировать дороги. Он был доволен своим адъютантом — его умом, любовью к наукам и неиссякаемым остроумием. Когда в кабинете долго не появлялся ожидаемый посетитель, герцог, посмеиваясь, говорил: «Верно, Бестужев дежурит — с ним заговорились». Впрочем, он считал, что занимательность Бестужева — рассказчика и собеседника, службе не мешает, и вскоре представил его к чину штабс-капитана.

Иначе сложилась военная служба Рылеева. Он попал в провинциальную конноартиллерийскую бригаду, в составе которой почти два года провел за границей, а затем оказался в Воронежской губернии. Здесь Рылеев с головой ушел в литературу, много читал, писал стихи. Однако плоды его вдохновения не имели большого успеха у первых читателей: по воспоминаниям его сослуживца А. И. Косовского, стихи, которые Рылеев дарил товарищам, «уничтожались как неинтересного содержания». Многое Рылеев сжигал сам. Но при этом упорно продолжал работать над техникой стиха, а главное — искать свой путь в поэзии. Путь был со временем найден, и «серьезный стих» Рылеева позвал, по словам Герцена, «в бой и гибель». Но прежде должно было сложиться убеждение, осознанное чувство непримиримости к произволу и несправедливости. И прежде чем убеждение облеклось в «серьезный стих», Рылеев должен был не раз высказать его своим товарищам, самому себе. Тот же сослуживец вспоминал: «...когда Рылеев начинал говорить о предметах, клонящихся до будущего счастия России, он говорил увлекательно, даже с жаром (причем возражений не терпел). В это время речь его лилась плавно, он казался проникнутым благородными чувствами и твердостию убеждений своих предположений. Он жестоко нападал на наше судопроизводство, карал лихоимство, доказывал, сколько зла в администрации!.. и много кое-чего говорил подобного!!»

Не менее страстно Рылеев обличал жестокость армейских порядков, насаждаемую всюду аракчеевщину. «Для нынешней службы нужны подлецы,— писал он однажды матери,— а я, к счастию, не могу им быть...» В 1818 году, на пятом году службы, Рылеев подал в отставку. Это решение полностью поддержала его невеста Наталья Михайловна Тевяшова, с которой он встретился в воронежской глуши. Выйдя в отставку и женившись, осенью 1819 года Рылеев переехал к матери в Батово.

* * *

Семьдесят с небольшим верст отделяли Батово от Петербурга, три почтовых перегона по Белорусскому тракту (теперь Киевское шоссе). Вскоре Рылеев помнил на этой дороге каждое примечательное место.

Наезжая в Петербург, он свел знакомства с Гнедичем, Дельвигом, Глинкой, Булгариным, Измайловым. Познакомился, по-видимому, и с Пушкиным. Всякий раз Рылеев уносил уйму впечатлений. В Петербурге, как нигде, чувствовался «дух времени»:

Чтоб я младые годы
Ленивым сном убил!
Чтоб я не поспешил
Под знамена́ свободы!
Нет, нет! тому вовек
Со мною не случиться;
Тот жалкий человек,
Кто славой не пленится!
Кумир младой души —
Она меня, трубою
Будя в немой глуши,
Вслед кличет за собою
На берега Невы!

Рылеев душой стремился «под знамена свободы» — на берега Невы, где кипела передовая культурная и общественная жизнь.

Но столичный мир многолик, и неискушенного провинциала не могли не поразить процветающие в нем пустое модничанье, слепое поклонение всему заморскому, падение нравов. Рылеев задумал сатирический триптих «Провинциал в Петербурге», герой которого, оглядываясь вокруг, восклицает: «O tempora, o mores!» (О времена, о нравы!). Два очерка были опубликованы в «Невском зрителе», и читатели, знакомясь с ними, наверное, вспомнили и «Модную лавку» И. А. Крылова, и его «Почту духов», и известные гравюры А. Г. Венецианова, обли-

чавшие те же пороки,— Рылеев следовал сложившимся традициям русского сатирического искусства.

Обличительные мотивы стали быстро крепнуть в творчестве Рылеева. В стихотворении «Пустыня» он вывел «надутого» столичного вельможу, вкушающего покой «На пурпуровом ложе // С прелестницей младой», в то время как в его прихожей многочисленные посетители «чинно и смиренно» дожидаются «судьбы своей решенья» от его «глупого сужденья». Рылеев понимал, что зло и лихоимство, которые он еще в полку обличал перед товарищами, рождались в столице и отсюда тлетворно распространялись по всей России. Духом протеста против Петербурга как рассадника многих общественных бед, проникнуты строки другого его стихотворения:

Едва заставу Петрограда
Певец унылый миновал,
Как разлилась в душе отрада,
И я дышать свободней стал,
Как будто вырвался из ада.

Подобный мотив звучит и в одном из ранних произведений Александра Бестужева —«Подражании Первой сатире Буало»:

Бегу от вас, бегу, Петропольские стены,
Сокроюсь в мрак лесов, в пещеры отдаленны,
Куда бы не достиг коварства дикий взор
Или судей, писцов и сыщиков собор.
. . . .
Почто же медлить здесь? Оставим град развратный,
Не добродетелью— лишь зданиями знатный,
Где дерзостный порок деяний всех вождем
С заслугой к счастию идут одним путем,
Коварство кроется в куреньях тонкой лести,
Где должно почести купить ценою чести...

Если поэзия предшествующего XVIII века в основном прославляла развивавшуюся молодую столицу, то в 1820—

1830-х годах образ Петербурга в русской литературе начал раздваиваться: это город, «зданиями знатный», и город, скованный «духом неволи». Тема Петербурга как города с «двойным бытием» получила блестящее развитие в произведениях Пушкина и Гоголя и в дальнейшем стала одной из магистральных в русской литературе. У истоков этой темы оказались Рылеев и Бестужев.

Осенью 1821 года Рылеев надел на себя «столичной жизни цепи»: избранный соседями-помещиками в Петербургскую уголовную палату, он переехал с женой и маленькой дочкой в Петербург. Квартиры в центральной части города были ему не по карману, пришлось поселиться на окраине Васильевского острова.

Васильевский имел свой парадный фасад — Стрелку с ее гранитной набережной, причалами порта, Ростральными колоннами и торжественной Биржей. От Стрелки вниз по Большой Неве — «знатные» здания, некоторые из них смотрелись в широкую водную гладь со времен Петра. К северу от Большой Невы остров прорезали прямолинейные улицы — линии, почти все они начинались каменными, а заканчивались деревянными постройками. В парадной части острова, ближе к центру города, каменные дома вплотную примыкали друг к другу, а ближе к взморью и на северной окраине деревянные дома, а подчас и не дома, а, скорее, лачуги одиноко стояли, разделенные садами, огородами, захламленными пустырями. Там уже не было мощеных улиц, редко попадались фонари. Бестужевы жили в парадной части острова. Собственный дом в 5-й линии, вероятно, был продан вскоре после смерти главы семьи. В 20-х годах Бестужевы снимали квартиру в двухэтажном каменном доме мещанина Михайлы Гурьева на 7-й линии. Дом выглядел нарядно — пилястры, наличники, высокое крыльцо с перилами (основательно перестроен в начале XX века, теперь дом № 18). Место было бойкое — напро-

тив Андреевский рынок, один из старейших в Петербурге. Шум рыночной толчеи, доносившийся через окна, сменялся благовестом соседней церкви Андрея Первозванного.

Рылеев поселился в отдаленной части острова — на 16-й линии, где не было ни каменных особняков, ни каменных мостовых. Он снял либо дом Мазуркевич на углу 16-й линии и Большого проспекта, либо дом купчихи Белобородовой, стоявший в глубине 16-й линии (теперь соответственно участки домов № 13 и № 23 по 16-й линии). Не позднее 1823 года Рылеев сменил квартиру — поселился в доме «купеческой жены» Земской на углу 12-й линии и Малого проспекта (теперь участок дома № 49/37 по 12-й линии). Здесь, как и на 16-й линии, он занял небольшой деревянный дом со «службами» и палисадником.

За домом Земской вдоль 12-й линии построек не было — до самой Черной речки (позднее ее стали называть Смоленкой, а в старину еще называли Глухой) тянулись огороды. За ними виднелся полупустынный остров Голодай, отрезанный от Васильевского узкой речкой. До Голодая было рукой подать, и можно предположить, что Рылеев иногда прогуливался по нему. Мимо скромных домишек чухонской слободки, растянувшейся по Голодаю вдоль Черной речки, мимо канатной фабрики и неказистых построек чугунного завода, минуя далее огороды, насаженные василеостровцами, можно было выйти на поросший кустарником топкий берег, откуда открывался морской простор.

В этом пустынном безлюдном месте, как гласит предание, в июльскую ночь 1826 года Рылеев был тайно похоронен со своими товарищами...

Но до той июльской ночи оставалось еще почти пять лет со времени, когда Рылеев обосновался с семьей на Васильевском. Впереди была короткая, но и самая замечательная пора его жизни!

* * *

Вскоре после переезда Рылеева в Петербург состоялось знакомство и началось быстрое сближение с Александром Бестужевым. Но и до первой встречи они уже знали друг друга — по литературным выступлениям.

Бестужев начал печататься в 1818 году. Известность уже на следующий год ему принесли две нашумевшие критические статьи, в которых начинающий критик, оказавшийся противником «заржавевшей славянщины» и «простонародности», подверг строгому разбору катенинский перевод трагедии Расина «Эсфирь» и комедию Шаховского «Липецкие воды»[1]. Через три года, то есть ко времени знакомства с Рылеевым, Бестужев был уже автором тридцати с лишним критических статей, фельетонов, рецензий, переводов, напечатанных в столичных журналах. Под некоторыми из них стояла подпись: *Марлинский.* Свои первые произведения он создавал во время службы в Петергофе, где жил, по-видимому, недалеко от дворца Марли. Тогда Бестужев и придумал себе этот псевдоним, под которым позднее его творчество снискало огромную популярность.

Стихи Рылеева впервые появились в печати в марте 1820 года, не обратив на себя особенного внимания читателей. Но подлинную сенсацию произвела напечатанная осенью того же года в «Невском зрителе» сатира «К временщику»:

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырствами злодей!

---

[1] Критика «Эсфири» была дерзким выпадом Бестужева, если учесть, что трагедия очень понравилась в Зимнем дворце: после ее постановки в 1816 году Катенин получил «высочайшее» приглашение на обед, тогда же «Эсфирь» была сыграна в покоях вдовствующей императрицы.

С первых же строк читатели догадывались, что речь идет об Аракчееве, чье имя почти все в России произносили с ненавистью и страхом. Аракчеев пользовался неограниченным доверием царя, влияние его было огромно. «На Литейной,— вспоминал «соревнователь» А. Д. Боровков,— стояла кузница, в которой под тяжелым молотом знаменитого мастера Аракчеева выковывались должности, чины, ордена...» В этой «кузнице» (аракчеевский особняк не сохранился, он стоял на месте нынешнего Дома офицеров на углу Литейного проспекта и улицы Салтыкова-Щедрина) прошел закалку и полковник Ф. Е. Шварц, «прославившийся» жестокостью в Екатеринославском полку, где оставил после себя братскую могилу засеченных солдат. После этого он получил под командование один из прославленных русских полков — лейб-гвардии Семеновский. Невыносимой муштрой и изуверскими наказаниями ставленник Аракчеева довел солдат до возмущения — в октябре 1820 года головная рота заявила коллективный протест и ее поддержал весь полк. «Семеновская история» закончилась трагично: зачинщики были биты и сосланы на каторгу, полк расформирован.

Александр Бестужев писал в те дни сестрам, что специально ездил в Кронштадт проститься с «семеновцами» перед их отправкой в заключение — в Свеаборгскую крепость. В то время, когда Петербург был взбудоражен «семеновской историей», когда ненависть к аракчеевскому режиму достигла, казалось, предела, и появилась сатира Рылеева. Как метко заметил Николай Бестужев, «Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины». Стихи заканчивались грозным пророчеством:

Все трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!

Под стихотворением-вызовом стояла подпись: Рылеев.

Через некоторое время министр внутренних дел получил донос, в котором отмечалось, что автор имел в виду, «кажется, лично графа А. А. Аракчеева». Николай Бестужев вспоминал: «Нельзя представить изумления, ужаса, даже, можно сказать, оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире». Однако сначала Аракчеев потребовал разбирательства от министра народного просвещения А. Н. Голицына. Тот поручил дело своему подчиненному А. И. Тургеневу. Тургенев, человек передовых взглядов, брат известного декабриста, друг Жуковского, Вяземского, Пушкина, оказался в неловком положении, но сумел выйти из него весьма остроумным способом. От имени министра он запросил Аракчеева: «Так как, ваше сиятельство... требуете, чтобы я отдал под суд цензора и цензурный комитет за оскорбительные для вас выражения, то, прежде чем я назначу следствие, мне необходимо нужно знать, какие именно выражения принимаете вы на свой счет?» Аракчееву оставалось либо признать себя подлецом, тираном и т. п., либо промолчать, что он и сделал. Никто не пострадал, но Рылеева, конечно, власти взяли на заметку. Знаменательно, что в доносе, посланном министру внутренних дел, наряду с произведением Рылеева упоминается и бестужевское «Подражание Первой сатире Буало»: авторам еще предстояло знакомство, а их имена уже стояли рядом в политическом доносе, словно предрекая их будущий союз.

Нашумевшая сатира Рылеева знаменовала новый этап в его творчестве: поэт твердо вступил на путь гражданской лирики. Гражданственность и патриотизм, «общественное благо» становятся девизом рылеевской музы. Эта

тема, шедшая из самых глубин души поэта, прозвучала столь громко, что определила ему особое место среди поэтов тех лет. Об этом хорошо сказал один из первых биографов Рылеева В. И. Маслов: «Поэт-гражданин, ставящий общественное благо выше всех других благ, горячо любящий свою родину и выражающий свои гражданские чувства в лирической, доходящей часто до возвышенного пафоса форме — вот каким выступает Рылеев... и образ его сохраняется в таких чертах в сознании последующих поколений».

В начале 1820-х годов Рылеев принялся за цикл стихотворений, названных позднее думами. «Напоминать юношеству о подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории...» — такую «священную» цель ставил он перед собой. В 1822 году в печати появилось 13 дум, потом публиковались и другие, а в 1825 году думы вышли отдельным изданием. Перед читателями открывались героические страницы русской истории — времена Олега и Игоря, период татаро-монгольского ига, эпоха Петра I...

Во время интенсивной работы над думами Рылеев и сблизился в «Ученой республике» с Александром Бестужевым, в котором почти сразу угадал надежного литературного соратника. Бестужеву оказалось близким рылеевское понимание задач литературы на современном этапе, главнейшей из которых представлялось гражданско-патриотическое воспитание современников. Бестужев сумел понять и точно определить цель рылеевских дум: «возбуждать доблести сограждан подвигами предков». Эти слова стали одним из лозунгов декабристской литературы.

В 1822 году, возможно не без влияния Рылеева, Бестужев написал повесть «Роман и Ольга», действие которой отнесено ко временам новгородской вольницы. Позднее Вяземский под впечатлением повести и дум писал друзьям: «Взимайте оба дани с предков наших, один сти-

хами, другой прозою... и пустите в ход мертвые капиталы нашей истории».

Еще до знакомства Рылеев и Бестужев строили планы собственных литературных предприятий — Бестужев пытался получить разрешение на издание журнала «Зимцерла» (имя богини зари и весны у древних славян), а Рылеев предполагал возглавить журнал «Невский зритель». По разным причинам оба плана не удались. Весной 1822 года друзья, теперь уже сообща, вернулись к мысли о собственной литературной трибуне, которая сплотила бы наиболее прогрессивных русских литераторов. Сама жизнь, борьба литературных сил, особенно ощутимая на собраниях «Ученой республики», подсказывали, что такая трибуна необходима. Воплощая в жизнь свою идею, Рылеев и Бестужев решили издавать не журнал, получить разрешение на который было трудно, а альманах. И вот в последние дни уходящего 1822 года в типографии Греча на Невском (дом № 15) была отпечатана «„Полярная звезда”. Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности. На 1823 год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым».

Книжка выглядела привлекательно — изящный формат, хорошая печать. Открывалась она обзором российской словесности от времен летописей до последних новинок, написанным Александром Бестужевым. Была представлена и его художественная проза — «Роман и Ольга» и «Вечер на бивуаке». Рылеев поместил думы «Рогнеда», «Борис Годунов», «Иван Сусанин» и «Мстислав Удалой». Альманах украсили басня И. А. Крылова «Крестьянин и овца», стихи Пушкина «Гречанке», «Овидию». Поэзия вообще была представлена лучшими именами — П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич, А. А. Дельвиг, Д. В. Давыдов, Ф. Н. Глинка, В. И. Туманский. С прозой выступили О. И. Сенковский, А. О. Корнилович, О. М. Сомов, Ф. В. Булгарин, Ф. Н. Глинка.

За полторы недели немалый тираж — 1200 экземпляров — был распродан полностью. Большинству «любительниц и любителей» словесности книжка пришлась по душе. Следом за ней, с интервалом в год, вышли две другие. Вот мнение о второй книжке, которое высказал чиновник министерства народного просвещения граф Е. Е. Комаровский: «Мне кажется, что можно ее приветствовать как чудо. В старину открывали созвездия, а теперь их издают... за исключением нескольких пятен (в этом она схожа с солнцем) в ней есть прекрасные лучи, и она издает из себя большой поток света». Подобного мнения придерживались многие. Круг авторов «Полярной звезды» был широк, отличались разнообразием и темы их произведений, но мотивы любви к родине и борьбы за ее свободу господствовали в альманахе.

Две первые книжки вышли при содействии известного столичного книгопродавца (а кстати, и поэта-дилетанта) Ивана Сленина, торговавшего на Невском проспекте у Казанского собора (теперь дом № 30). Он взял на себя все заботы по печатанию и распродаже. Как обычно, из выручки Сленин платил только типографу и издателям. Авторы периодических изданий и альманахов не получали никакого гонорара и довольствовались моральным удовлетворением. А ведь многие из них не были обеспечены и терпели нужду, вынуждены были служить, что отвлекало их от литературного труда. Само развитие литературы, усиление ее влияния, рост общественной значимости писателя выдвигали на повестку дня вопрос профессионализации писательского труда. Пушкин сформулировал на этот счет довольно недвусмысленную формулу: «Не продается вдохновенье, // Но можно рукопись продать».

Вопрос этот волновал и издателей «Полярной звезды». Принимаясь за третью книжку, они решили сломать сложившуюся традицию и выплатить участникам альманаха

гонорары. Пришлось отказаться от посредничества Сленина, оставив за ним лишь продажу за определенные проценты части тиража. Остальная часть поступила в другие книжные лавки. Введение гонораров, предпринятое Рылеевым и Бестужевым, поддержал в 1830-х годах крупнейший издатель и книгопродавец А. Ф. Смирдин. Прижилась и сама форма издания — альманах. Правда, она не была новинкой в России — читатели XVIII века знали альманахи, которые выпускали М. М. Херасков и Н. М. Карамзин. Эти альманахи имели успех, но издательской традиции не создали. Начало ей положила «Полярная звезда»: после нее литературные альманахи стали появляться один за другим.

Успех «Полярной звезды» не мог быть не замечен при дворе. После выхода третьей книжки обе императрицы — супруга Александра I и его мать —«пожаловали» издателей ценными подарками. Парадокс в том, что именно третья книжка отличалась революционным пафосом, ведь работая над ней, издатели были уже активными участниками Северного общества.

* * *

Первым на революционный путь встал Рылеев. Внимание Северного общества он привлек не только литературными выступлениями, но и своей деятельностью в палате уголовного суда.

Палата, куда Рылеев был выбран на трехлетний срок, размещалась в доме губернских присутственных мест напротив Адмиралтейства (Адмиралтейский проспект, 6). С первых же дней Рылееву довелось увидеть немало неприглядных сторон судопроизводства. А в силе сострадания человеческому горю, в глубине негодования против злоупотреблений, в желании помочь страждущему он не уступал славившемуся теми же качествами Федору Глинке.

Деятельность Рылеева в палате уголовного суда стала примером честности, справедливости и благородства. «Имя и честность его вошли в пословицу»,— писал Николай Бестужев. Он же сохранил в памяти интересный эпизод. Какой-то мещанин, схваченный по важному подозрению, был доставлен к Милорадовичу. Не зная за собой вины, он все отрицал. Милорадович, не доверяя мещанину, стал стращать его судом. Каково же было удивление генерал-губернатора, когда мещанин со слезами благодарности бросился к его ногам. «Какую же милость оказал я тебе?»— спросил губернатор. Тот отвечал: «Вы меня отдали под суд, и теперь я знаю, что избавлюсь от всех мук и привязок, знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не дает погибать невинным!»

Нет оснований не доверять этому эпизоду, но все же он —из области мемуарных свидетельств. Из документальных же сведений о деятельности Рылеева в палате дошли только те, что связаны с «делом» разумовских крепостных. Летом 1821 года в ораниенбаумских владениях графа Разумовского произошли крестьянские волнения. Уголовная палата, рассмотрев «дело», приняла решение о суровом наказании бунтовщиков. Заседатель от дворянства Рылеев подал особое мнение, в котором, в частности, предложил пересмотреть существовавшие в вотчинной конторе положения, которыми прикрывались в своем жестоком обращении с крестьянами староста и помещик. Ссылаясь на давность принятия этих установлений, Рылеев предложил разобраться, не «отяготительны» ли они для крестьянства.

Видимо, еще более решительным был он в своих устных выступлениях. Н. Бестужев подчеркивал, что он один встал на сторону угнетенных, с необычайной смелостью говоря правду. Выступая против жестокого обращения помещиков с крестьянами, Рылеев постепенно стал задумываться о законности, о моральной допустимости крепостного права вообще — увиденное и услышан-

ное в палате влекло ко многим размышлениям и важным выводам.

Переход Рылеева на гражданскую службу совпал с поисками некоторыми декабристами новых форм служения отечеству. Иван Пущин, отпрыск старинного дворянского рода, оставив гвардию, мог рассчитывать на какое-нибудь почетное и выгодное место, однако выбрал должность квартального надзирателя, постыдную для дворянина, по представлениям людей его круга. Этот выбор позорным пятном ложился и на его близких, и сестра Пущина на коленях умоляла его переменить свое решение. Но Пущин согласился лишь на частичную уступку — стал судейским чиновником. Такие должности занимали люди неродовитые и бедные, а главное — с неблагородными помыслами, старавшиеся выслужиться и нажиться на взятках. Борьба с произволом и взяточничеством в суде занимала важное место в декабристской программе. Верность декабристским программным установкам заставила Пущина сделать выбор, на который решился бы далеко не каждый член тайного общества. Эти установки, не будучи членом общества, выполнял и Рылеев.

Пущин определился в уголовную палату в июне 1823 года. Он коротко узнал Рылеева и осенью принял его в общество. С той поры вся деятельность Рылеева получила более конкретное содержание и была поставлена в прямое соотношение с декабристской программой.

Вскоре Рылеев получил право принимать новых членов и в январе 1824 года раскрыл тайну общества Александру Бестужеву. Бестужев вспоминал: «Он сказал мне, что есть тайное общество, в которое он уже принят и принимает меня». Общая высокая цель еще более сплотила друзей.

Тогда же Рылеев выступил в обществе с оригинальным предложением: для воздействия «на ум народа» сочинять и распространять песенки в народном духе противоправительственного и свободолюбивого содержания.

Идея понравилась. Русский народ любит и ценит меткое, хлесткое слово; если соединить фольклорную форму с вольнолюбивым содержанием или сатирой, то такие песенки несомненно придутся ему по вкусу. Народ и сам создавал вольнолюбивый фольклор — в казармах распространялась поэма «Солдатская жизнь», по Петербургу ходила песня с красноречивым названием «Глас вопиющего в военных поселениях». На такие произведения и ориентировались декабристы, создавая произведения, обращенные к народу. Более десяти песенок, написанных Рылеевым и Бестужевым, стали первыми опытами стихотворной прокламации в России. Некоторые они писали сообща, другие порознь. Иногда это были подражания подблюдным песням, то есть тем, которые поют при святочных гаданиях, иногда — пародии на распространенные бытовые песни и романсы. Так, на популярную песню Нелединского-Мелецкого

Ох, тошно мне
На чужой стороне;
  Все постыло,
  Все уныло:
Друга милова нет...

они сложили перепев:

Ах, тошно мне
И в родной стороне:
  Все в неволе,
  В тяжкой доле,
Видно, век вековать.
Долго ль русский народ,
Будет рухлядью господ,
  И людями,
  Как скотами,
Долго ль будут торговать?..

В той же песне дана и откровенная характеристика судопроизводства, державшегося на подкупе:

А уж правды нигде
Не ищи, мужик, в суде,

Без синюхи[1]
Судьи глухи,
Без вины ты виноват.
Чтоб в палату дойти,
Прежде сторожу плати,
За бумагу,
За отвагу —
Ты за все, про все давай!..

Заканчивалась песня недвусмысленной угрозой:

А до бога высоко,
До царя далеко,
Да мы сами
Ведь с усами,
Так мотай себе на ус.

Песенки распевались на дружеских вечеринках, передавались из рук в руки, некоторые доходили и до основного адресата — крестьян и солдат. Николай Бестужев вспоминал: «Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могли находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов...» Один морской унтер-офицер говорил Николаю Бестужеву, что помнит наизусть многие стихи и песни Рылеева и что «у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений, и особенно песен Рылеева».

Это свидетельство Н. Бестужева следует рассматривать все же как частный случай. Агитационные песни декабристов проникали в народные массы, однако далеко не все декабристы решались распространять в народе подобные бунтарские произведения. Народ, по их мнению, нужно было готовить к принятию дворянской революции, а не подстрекать на собственное выступление.

Северное общество, в которое вступили Рылеев и Бестужев, придерживалось конституционно-монархической

[1] Синюха — пятирублевая ассигнация (синего цвета).

программы. Но на юге России существовала тайная организация, ставившая перед собой более радикальную цель — установление республиканского строя. Южане и северяне, входившие до 1821 года в единый Союз благоденствия, вели переговоры о преодолении программных расхождений и воссоединении. Весной 1824 года в Петербург приехал один из идеологов южан Павел Пестель. На совещаниях, которые происходили в различных домах, в том числе и у Рылеева, обсуждались разногласия в программах и пути их преодоления. В жизни Рылеева этот факт имел особое значение — под влиянием Пестеля он стал сторонником республиканской программы. Вслед за Рылеевым принял ее и Александр Бестужев. Неудивительно, что и голос «Полярной звезды» становился все более решительным и уверенным.

* * *

«По духу времени и вкусу я был романтик до конца ногтей»,— писал позже Бестужев, имея в виду не только литературное направление, но и определенный образ мыслей, которому был свойствен протест против сложившихся в России общественных устоев и дороги идеалы политической свободы. Романтизм такого толка стал литературным знаменем «рыцарей» «Полярной звезды».

К середине 20-х годов Бестужев завоевал симпатии читателей своей беллетристикой —«Поездкой в Ревель», «Замком Нейгаузен», «Романом в семи письмах». Но пожалуй, особое внимание привлекли критические обзоры словесности, которыми открывались все три книжки «Полярной звезды». Они отличались живостью, темпераментностью, наступательным тоном. Вспоминая эти обзоры, Ксенофонт Полевой писал: «В стоячем болоте тогдашней нашей критики это казалось явлением необыкновенным».

Все больший интерес читателей вызывало и творчество Рылеева. Вскоре после вступления в тайное общество

он создал одно из лучших своих произведений — поэму «Войнаровский». По времени она относится к Петровской эпохе, но Рылеев сделал все, чтобы поэма прозвучала современно. Ради этого он сознательно поступился исторической достоверностью — изобразил Андрея Войнаровского, сосланного Петром в Якутск, и его дядю гетмана Украины Мазепу такими, что по духу они стали близки передовым людям 1820-х годов. Впрочем, во имя истины поэме были предпосланы «жизнеописания», в которых сообщались реальные черты исторических прототипов. Такой романтический антиисторизм смутил немногих — поэма, воспевавшая героизм и волю к борьбе, мужество в изгнании, была принята как нельзя лучше. Ее высоко оценили Н. Бестужев, Языков, Баратынский; есть сведения, что декабристы-москвичи специально собирались «для рассуждения о поэме». С нее было снято огромное количество списков (многие сохранились в архивах до наших дней), хотя поэма печаталась отрывками в нескольких журналах и вышла отдельным изданием. Уже в 20-х годах ее стали переводить на иностранные языки. Высокую оценку «Войнаровскому» дал Пушкин. Конечно, примириться с ограниченным историзмом Рылеева он не мог, зато оценил многие другие достоинства поэмы — динамичность повествования, художественную выразительность.

Пушкин пристально следил за литературной деятельностью Рылеева и Бестужева. Когда он в 1820 году по царской воле покидал Петербург, Рылеев еще был безвестен в литературе, Бестужев проявил себя только критическими выступлениями против Катенина и Шаховского. Впрочем, с тем и другим Пушкин, вероятно, успел познакомиться до отъезда. Весной 1822 года он получил письмо от Бестужева с припиской Рылеева. Они просили принять участие в первом выпуске только что задуманной «Полярной звезды». С ответным письмом Пушкин послал стихи. В конце письма он просил Бестужева об-

нять Рылеева. Так завязалась переписка, и во многих письмах повторялась мысль о встрече. «Прощай, поэт — когда-то свидимся?» — заканчивал Пушкин одно из писем Рылееву в 1825 году.

Свидеться так и не довелось... Но все эти годы между Пушкиным и издателями «Полярной звезды» шла переписка, отразившая живейший интерес великого поэта к своим товарищам по литературному труду. Что-то радовало Пушкина, а что-то огорчало, и он не скрывал от них своего мнения. Это приводило к спорам, в которых Рылеев и Бестужев не всегда занимали оборонительную позицию. Так, высоко оценив пушкинских «Цыган», с романтически расцвеченной в поэме вольной жизнью, наполненной борьбой глубоких страстей, они были несколько разочарованы первой главой «Евгения Онегина», где вместо мятежного героя увидели, по словам Бестужева, «франта, который душой и телом предан моде».

Полного совпадения взглядов и быть не могло: Пушкин в те годы уже вышел из рамок романтического искусства на путь реализма, подлинного историзма и народности. Не все понимая и принимая в творчестве Пушкина, Рылеев и Бестужев осознавали, конечно, его масштабность. «Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца»,— писал ему Рылеев. И некоторые свои успехи они считали плодом ученичества у Пушкина. Рылеев не сомневался, что обязан Пушкину своим заметно возросшим художественным мастерством. Пушкин не отрекся от ученика: «Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою». В заключительных словах — признание художественной оригинальности Рылеева, ярко проявившейся, по мнению Пушкина, уже в некоторых думах, и особенно в «Войнаровском».

Успех поэмы, доказавший, что на историческом материале можно рассматривать проблемы современности, вдохновил Рылеева. У него созрели обширные планы сразу

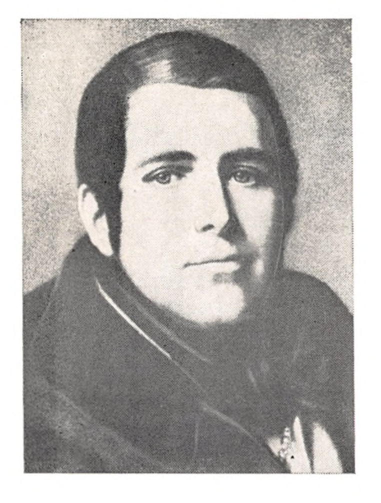
нескольких поэм — «Хмельницкий», «Палей», «Наливайко». Он работал над ними в 1824—1825 годах, но завершить не успел. Сохранившиеся планы и отрывки говорят о том, что поэт уверенно поднимался на новые ступени идейно-художественной зрелости. О том же свидетельствует лирика Рылеева последних лет, вершинным достижением которой стало стихотворение «Гражданин»:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладною душой бросают хладный взор
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

Многих современников Рылеева волновали эти строки, вдохновляя на борьбу. А позднее пламенный монолог одного из первых русских революционных поэтов воодушевлял борцов за свободу, сменивших декабристов.

* * *

Свои последние произведения Рылеев создавал уже на новой квартире — в доме Российско-Американской компании у Синего моста на Мойке (теперь дом № 72, отмечен мемориальной доской). Компания занималась



П. А. Плетнев. Портрет работы А. В. Тыранова. 1836 г.



В. И. Туманский. Фотография с портрета 1859 г.

Ул. Садовая, 12. Здесь жил В. Н. Григорьев.

К главе СОРЕВНОВАТЕЛИ ПРОСВЕЩЕНИЯ



ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ
ВСЕПРЕСВѢТЛѢЙШАГО, ДЕРЖАВНѢЙШАГО, ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ
АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО
ИМПЕРАТОРА И САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО
и прочая, и прочая, и прочая

Председатель общества Феодоръ Глинка.
Цензоръ Прозъ Дмитрій Языковъ
Цензоръ Стиховъ К. Рылѣевъ.
Цензоръ Библіографіи Александръ Корниловичъ
Секретарь Общества А. Никитинъ

Диплом, выданный «Ученой республикой» В. Григорьеву (ГПБ им. Салтыкова-Щедрина; воспроизводится впервые).

Фрагмент диплома Григорьева — автографы руководителей общества.

«Полярная звезда» (титульный лист).

К. Ф. Рылеев. Портрет работы О. Кипренского (?). Начало 1820-х гг.

А. А. Бестужев. Портрет работы Н. Бестужева. 1823—1824 гг.







К главе РЫЦАРИ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

22

Церковь Андрея Первозванного на Васильевском острове, вблизи которой жила семья Бестужевых. Литография К. Беггрова по рис. К. Ф. Сабата и С. П. Шифляра. 1820-е гг.

Мойка, 72. Здесь размещалась Российско-Американская компания. Современная фотография.

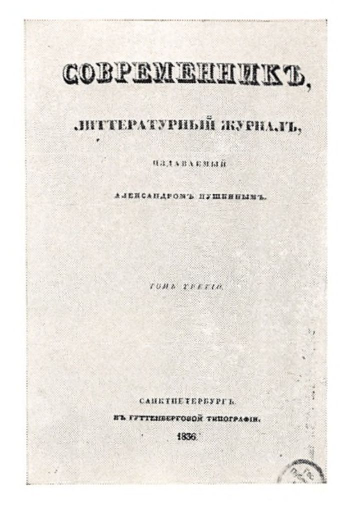
14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Акварель К. И. Кольмана. 1820-е гг.

Памятник на острове Декабристов. Современная фотография.





СѢВЕРНЫЕ
ЦВѢТЫ.
1825.
С. ПЕТЕРБУРГЪ.



СОВРЕМЕННИКЪ,
ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
ИЗДАВАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ГУТТЕНБЕРГОВОЙ ТИПОГРАФІИ.
1836.

К главе ВОКРУГ ПУШКИНА

«Северные цветы» (титульный лист).

«Современник» (титульный лист).

Вид набережной Невы в день преполовения. Гравюра И. А. Иванова. 1815 г. В этот день в 1828 г. Пушкин и Вяземский посетили место казни декабристов.

Д. В. Веневитинов. Портрет А. Лагрене. 1826 г.

Московский въезд. Гравюра Гоберта по рис. А. М. Горностаева. 1834 г. Здесь был арестован Веневитинов.






В ЭТОМ ДОМЕ
С 1829 ПО 1831 ГОД
ЖИЛ И РАБОТАЛ
ИЗВЕСТНЫЙ
РУССКИЙ ПОЭТ
АНТОН
АНТОНОВИЧ
ДЕЛЬВИГ

А. А. Дельвиг. Портрет работы В. Лангера. 1829 г.

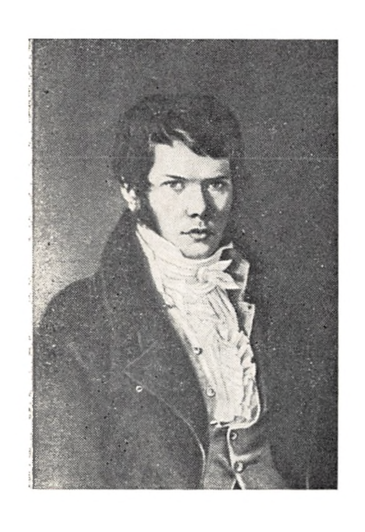
Мемориальная доска на доме № 1 по Загородному проспекту.

Загородный пр., 1. Современная фотография.

И. И. Козлов. Литография по рис. О. Кипренского.

Исаакиевская пл., 3. Здесь жил Козлов.









П. А. Вяземский. Портрет работы К. Рейхеля. 1817 г.

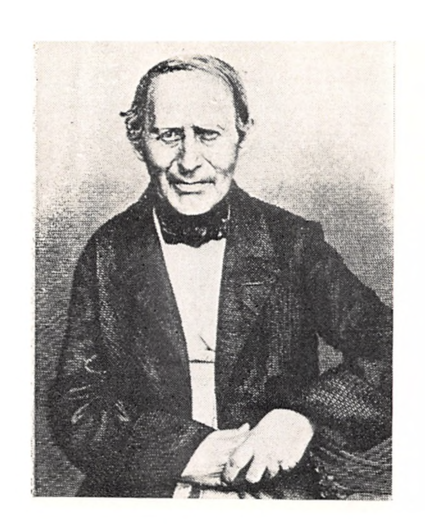
Моховая ул., 32. В 1837 г. здесь жил Вяземский. Современная фотография.

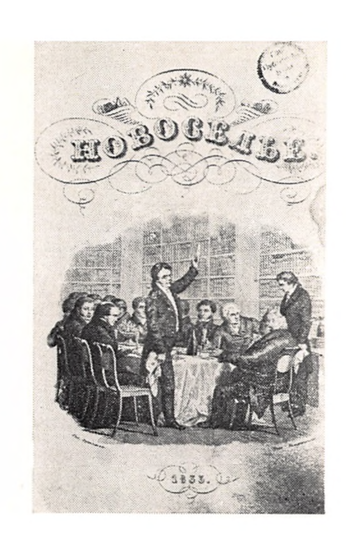
Вяземский. Фотография 1860-х гг.

А. Ф. Смирдин. Гравюра.

Фронтиспис 1-го тома альманаха «Новоселье». Гравюра С. Галактионова по рис. А. Брюллова.

Невский пр., 22. Здесь размещалась книжная лавка Смирдина. Современная фотография.





К главе ПОЭТЫ «БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ»

БИБЛІОТЕКА

ДЛЯ ЧТЕНІЯ,

ЖУРНАЛЪ

СЛОВЕСНОСТИ, НАУКЪ, ХУДОЖЕСТВЪ, ПРОМЫШЛЕНОСТИ, НОВОСТЕЙ и МОДЪ,

составляемый

изъ

ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И УЧЕНЫХЪ ТРУДОВЪ

[illegible] и другихъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА АЛЕКСАНДРА СМИРДИНА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

въ типографіи вдовы Плюшаръ съ сыномъ.

1834.



«Библиотека для чтения» (титульный лист).

О. И. Сенковский. Гравюра.

Ул. Союза Связи, 21. Здесь жил Сенковский. Современная фотография.

В. Г. Бенедиктов. Гравюра.

Пер. Гривцова, 22. В этом доме снимал квартиру Бенедиктов. Современная фотография.





А. В. Тимофеев. Гравюра 1830-х гг.

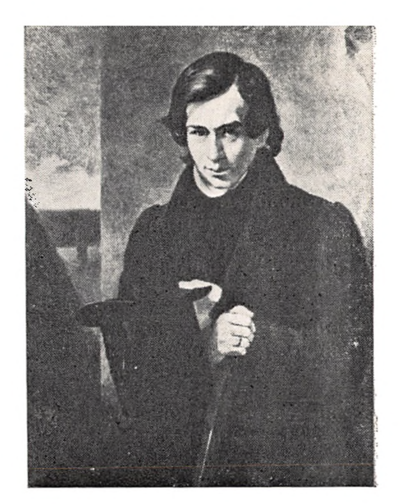
Средний пр., 24. В 1837 г. здесь жил Тимофеев. Современная фотография.

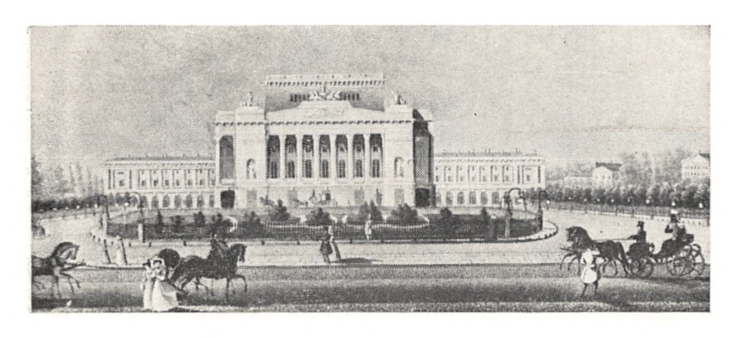
К. Брюллов, М. Глинка (за роялем) и Н. Кукольник. Гравюра И. Матюшина по рис. П. Бореля с оригинала П. Каратышевского. 1842 г.

Н. В. Кукольник. Портрет работы К. Брюллова. 1836 г.

Фонарный пер., 3. Здесь жили братья Кукольники. Современная фотография.







Александринский театр. С литографии И. Иванова по рис. В. Садовникова. 1835 г.

Панорама Петербурга с башни Кунсткамеры (фрагмент). Акварель А. Тозелли. 1817—1820 гг.

освоением принадлежавшей России Аляски. Рылеев занял в ней место правителя канцелярии по рекомендации Н. С. Мордвинова весной 1824 года, когда истек его выборный трехлетний срок в суде.

Новая квартира была просторна — восемь комнат и кухня, расположенные в нижнем этаже, окнами на Мойку и во двор. Несколько необычно Рылеев оборудовал свой кабинет. Вдоль одной из стен устроил из досок нечто вроде прилавка, обтянутого холстом. Разложив на нем бумаги и книги, он работал стоя, переходя от одного места к другому. Над этим оригинальным столом была протянута проволока, на которой висел подсвечник. От пояса Рылеева к подсвечнику тянулась веревка, так что подсвечник двигался вслед за ним.

В этом кабинете закончен «Войнаровский», написано стихотворение «Гражданин»; здесь шла работа над новыми поэмами. Здесь же создан цикл любовных элегий, диссонансом врывающийся в общее гражданско-патриотическое звучание зрелого творчества Рылеева.

История этого любовного цикла небезынтересна. Он связан с женщиной, сведений о которой почти не сохранилось. Известно, что она была полькой, а фамилия ее начиналась с буквы К. Ее стремление покорить сердце Рылеева было сильным, и поэт разрывался в мучительной борьбе между любовью к жене и новым чувством:

Покинь меня, мой юный друг,—
Твой взор, твой голос мне опасен:
Я испытал любви недуг,
И знаю я, как он ужасен...
Боюся встретиться с тобою,
А не встречаться не могу.

Рылеев всегда ратовал за строгие моральные принципы, поэтому увлечение «полькой К.» было для него причиной глубоких переживаний. Однако вскоре друзьям поэта удалось выяснить, что эта женщина была... шпио-

ном правительства, нарочно подосланным к Рылееву. Это положило конец душевным мукам поэта.

В лирическом цикле, посвященном «польке К.», есть один характерный для Рылеева мотив: даже любовь, блаженство не в силах оторвать от борьбы за свободу:

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,—
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

Общественные интересы Рылеев всегда ставил выше личных. Труд литературный, служба в компании, дела тайного общества заполняли все его время. Наемный рассыльный «Полярной звезды» вспоминал, что попросить что-нибудь у хозяина (кстати, по его словам, очень доброго и мягкого со слугами) можно было только поздним вечером: «Ложится спать — тут ему говори, а вот утро — не ходи; когда запрется с колектурами (корректурами.— *Авт.*) — не мешай». Рылеев почти всегда был занят, у него чуть не ежедневно сходились многочисленные друзья. Нелегко приходилось его жене. Приветливая и предупредительная к гостям, втайне она ощущала досаду и утомление от беспокойной жизни, которую приходилось вести. «Офицеры сюда почти каждый день ходят,— писала она сестре,— а мне такая тоска, когда там сижу; очень грустно сделается, я уйду в свою половину и лежу или что-нибудь делаю».

В обширной квартире на Мойке и впрямь бывало шумно и многолюдно. У Рылеева, ставшего душой и руководителем Северного общества, собирались его товарищи — С. Трубецкой, Н. Тургенев, Н. Муравьев, Е. Оболенский, П. Каховский, А. Корнилович, И. Пущин, братья Бестужевы. Выразительно характеризовал атмосферу рылеевских собраний Петр Бестужев: «...там хоть кого обратят к свободному образу мыслей». В запале политических споров высказывались порой и крайне решительные взгляды. Александр Бестужев, переходя как-то порог ры-

леевского кабинета, сострил: «Я переступаю Рубикон, то есть руби кого ни попало».

Жаркие политические дебаты сменялись оживленными литературными дискуссиями. Они разгорались на «русских завтраках», которые Рылеев устраивал для знакомых литераторов. Собирались «около второго или третьего часа пополудни». На столе появлялся графин «очищенного русского вина», кислая капуста и ржаной хлеб. Подчеркнуто русским колоритом Рылеев и его товарищи выражали свою любовь к родной земле, ко всему народному, к старине. В отечественной истории и русском быту искал вдохновения Рылеев — поэт и революционер.

«Завтраки» привлекали многих интересных людей и проходили так оживленно, что Александр Бестужев, например, ради них не раз искал причину отказаться от роскошного обеда у своего начальника. Его брат Михаил писал: «Я тоже очень любил эти *завтраки*, и, как только была возможность, я спешил отдохнуть там душою и сердцем, в дружной семье литераторов и поэтов...» Эту «семью» составляли представители как радикального, так и умеренного флангов «Ученой республики»: кроме братьев Бестужевых тут бывали Глинка, Дельвиг, Гнедич, Сомов, Баратынский (в приезды из Финляндии). С осени 1824 года у Рылеева стал появляться Грибоедов, а с весны 1825-го — Кюхельбекер.

Захаживал к Рылееву и Лев Пушкин, нередко приносивший новые стихи ссыльного брата, которые с удовольствием читал собравшимся. Наверное, чаще ему приходилось читать поэму «Цыганы», особенно полюбившуюся издателям «Полярной звезды». А на одном из «завтраков» он прочел недавно присланный братом разговор Тани с няней из «Онегина». Отрывок привел всех в восторг. Рылеев и Бестужев попросили продать его в альманах. Лев Сергеевич согласился, но при условии, что получит по пяти рублей ассигнациями за строчку. «Ты про-

махнулся...— сказал Бестужев,— не потребовав за строку по червонцу... Я бы тебе и эту цену дал, но только с условием пропечатать нашу сделку в «Полярной звезде», для того, чтоб знали все, с какою готовностью мы платим золотом за золотые стихи».

Рылеев и Бестужев знакомили друзей с материалами, собранными для «Полярной звезды». Многие произведения не пропускала или уродовала цензура, с них тут же снимались копии. На «завтраках» читал свою комедию Грибоедов, Гнедич — отрывки из «Илиады», Рылеев — стихи, как свои, так и чужие. Декламируя, он преображался на глазах: лицо озарялось, черные глаза, взгляд которых обычно бывал серьезен, начинали искриться, излучая, по словам современника, «силу и огонь». В возбуждении речь Рылеева «текла плавно, как огненная лава». Так происходило с ним всегда, читал ли он стихи или говорил о чем-то очень важном и дорогом для себя.

В конце 1824 года у Рылеева стал бывать Адам Мицкевич, высланный с родины с группой товарищей за участие в студенческом движении, преследовавшем просветительские и патриотические цели. Из Петербурга им надлежало ехать в различные российские губернии. «По чувствам и образу мыслей» Рылеев сразу увидел в них единомышленников. Немногим более двух месяцев Мицкевич пробыл в Петербурге, но память о встреченных здесь друзьях сохранил надолго:

О где вы? Светлый дух Рылеева погас,—
Царь петлю затянул вкруг шеи благородной,
Что, братских полон чувств, я обнимал не раз.
Проклятье палачам твоим, пророк народный!
Нет больше ни пера, ни сабли в той руке,
Что, воин и поэт, мне протянул Бестужев.
С поляком за руку он скован в руднике,
И в тачку их запряг тиран, обезоружив.

Не раз вспоминал Мицкевич, как встречал с Бестужевым в Петербурге новый, 1825 год. Запомнились ему

и шумные сходки у Рылеева, где читались вольнолюбивые стихи, распевались агитационные песни.

Один из «русских завтраков» глубоко запечатлелся в памяти Михаила Бестужева: «Помню, как зашла речь о Жуковском и как многие жалели, что лавры на его челе начинают блекнуть в придворной атмосфере, как от сожаления, неприметно, перешли к шуткам на его счет. Ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой, то там, то сям вырывались стихи с оттенками эпиграммы или сарказма, и наконец брат Александр, при шуме возгласов и хохота, редижировал (составил. — *Авт.*) известную эпиграмму, приписанную впоследствии А. Пушкину:

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый венец.
С указкой втерся во дворец;
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
„Бедный певец!.."»

Выпад против Жуковского был резким и не вполне справедливым. Жуковский служил придворным педагогом и на свою службу смотрел как на своего рода долг. Он пытался не только передавать знания, но и пропагандировать в царской семье идеи разума, гуманности, общественного прогресса. Нелегкой была эта служба. Критика Жуковского Рылеевым, Бестужевым и Кюхельбекером была вызвана не столько его положением при дворе, сколько направлением и своеобразием его поэзии. Отдавая дань художественности поэзии Жуковского, ценя его патриотическую лирику и переводческую деятельность, они резко отрицательно относились к мистическим мотивам, пронизывающим многие его произведения. При этом нельзя не отметить, что критики Жуковского совсем недавно были его горячими поклонниками.

В защиту Жуковского выступил Пушкин. Допуская возможность критики поэзии Жуковского, он считал крайне неуместной ее огласку, способную подорвать в

публике заслуженное признание поэта. Пушкин напоминал друзьям, что все они когда-то учились у Жуковского. «Не совсем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском,— писал он Рылееву.— Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались?»

На «завтраках» Рылеева появлялись Греч и Булгарин. Греч в свое время поддержал Александра Бестужева, вселив в него уверенность в своих литературных способностях и силах. Как уже отмечалось, он был склонен в эти годы к умеренному либерализму, подстраиваясь под время, его дух. Поддерживая талантливых писателей, предоставляя им свои издания, Булгарин и Греч тем самым укрепляли свое положение ведущих журналистов-издателей, получали новых подписчиков. Рылеев, восхищенный энтузиазмом Булгарина — издателя и литератора, сошелся с ним до приятельских отношений и посвятил ему две свои думы. Но отношения оказались далеко не безоблачными. Рылеев вскоре убедился, что Булгарин прибегает к неблаговидным приемам в борьбе со своими конкурентами, и, хотя Рылеева это лично не касалось, он был однажды настолько шокирован этим, что решил тут же порвать с Булгариным. Со временем к сомнениям в личной порядочности Булгарина добавилось отвращение к верноподданническому тону его «Северной пчелы». «Ты не Пчелу, а Клопа издаешь»,— говорил ему Рылеев. А как-то, по словам Греча, Рылеев мрачно пошутил: «Когда случится революция, мы тебе на «Северной пчеле» голову отрубим».

* * *

На 1826 год Рылеев и Бестужев решили выпустить альманах меньшего объема, чем предыдущие, и назвать его «Звездочкой». Интенсивная работа над ним шла осенью 1825 года. Бестужев тогда же поселился в соседней квартире у литератора О. М. Сомова. Дом на Мойке ему давно был как родной. У Рылеева он бывал чуть

ли не ежедневно. А когда друг оставался один, проводив жену и дочь в деревню, то перебирался к нему с Васильевского. Орест Михайлович Сомов, сосед Рылеева, тоже служил в Российско-Американской компании, но главным для себя считал труд литературный. Он писал стихи и прозу, занимался переводами, литературной критикой, активно участвовал в «Ученой республике», где сначала поддерживал «михайловцев» и Каразина, а потом постепенно сблизился с Рылеевым и Бестужевым. Эта близость навлекла на Сомова подозрения после событий на Сенатской. Он был арестован, но вскоре за неимением улик выпущен. А. Е. Измайлов рассказывал, что во время допроса Николай I спросил Сомова: «Где вы служите?» Сомов назвал Российско-Американскую компанию. «То-то хороша собралась у вас там компания», — заметил царь.

Еще один любопытный слух ходил по Петербургу в связи с арестом Сомова. Рассказывали, будто, выйдя из крепости, он зашел к Булгарину и, зная его трусливость, в шутку солгал, что бежал из-под стражи и теперь, мол, надеется на его дружескую помощь. Булгарин уверил его в своей преданности, обещал содействие, а пока запер в одной из комнат. Через некоторое время туда вошла полиция. Говорили, что Сомов поплатился за свой розыгрыш тремя днями ареста.

После переезда к Сомову Бестужев почти не заглядывал на Васильевский, в квартире было пусто, одиноко: мать и сестры — в деревне[1]. Николай с Петром жили в Кронштадте, Михаил — в казармах Московского полка, младший Павел — в артиллерийском училище.

Словно предчувствие драматических событий заставило всю семью собраться вместе 13 декабря, накануне восстания. В этот воскресный день дом Гурьева на 7-й линии

---

[1] Усадьба Бестужевых «Сольцы» находилась на территории города Кириши Ленинградской области.

наполнился оживленными голосами. Сестры, только что приехавшие из деревни, забрасывали братьев вопросами: что нового в Петербурге, каковы зимние моды, что в театре, правда ли, что Константин Павлович отрекся от престола в пользу младшего брата?.. Мать во время праздничного обеда с гордостью посматривала на сыновей. «С мрачными думами,— вспоминал Михаил Бестужев,— сидели мы, опустив головы, и украдкою перебрасывались взглядами, старались улыбаться, когда она, любуясь нами, осыпала нас своими материнскими ласками».

Вечером того же дня у Рылеева бурлило последнее, решительное совещание. Стало известно, что на завтра, 14-е, назначена присяга Николаю. План восстания вырабатывался уже несколько дней, сразу после того как стало известно о смерти Александра I. Все эти дни собирались то у Рылеева, то у Трубецкого, то у Оболенского. 13-го вечером у Рылеева уточнялись детали плана. Решено было до присяги Николаю провести переговоры с Сенатом и добиться от него отказа от присяги и публикации манифеста, в котором было бы объявлено о ниспровержении самодержавной власти и крепостничества, о гражданских свободах, сокращении срока службы солдат и передаче власти Временному революционному правительству. Обсуждая в последний раз этот план, все, по словам Михаила Бестужева, были «в каком-то лихорадочно-высоконравственном состоянии». Рылеев с горящими глазами, «озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями».

На следующее утро Александр и Михаил Бестужевы первыми явились на площадь во главе двух рот лейб-гвардии Московского пехотного полка. Позднее с моряками пришли Николай и Петр. На площади кто с удивлением, а кто с восхищением смотрел, как Александр, скинув шинель и оставшись в мундире, белых панталонах и гусарских сапогах, перепрыгнул через решетку,

окружавшую памятник Петру I, и демонстративно принялся точить свою саблю о его гранитное подножие. В решительном и возвышенном настроении вышел на площадь и Рылеев. Он приветствовал товарищей «первым целованием свободы». А под конец этого великого и трагического дня Рылеев сказал Николаю Бестужеву: «...последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы; мы дышали ею...»

Вечером, по словам очевидца, «на всех площадях образовались бивуаки казаков, гревшихся около костров. Часто попадались кареты, окруженные конницею, скачущие галопом, имея в экипаже жертву заговора». Начались аресты. В это время в квартире Рылеева собралось несколько человек: И. Пущин, В. Штейнгель, П. Каховский, Н. Оржицкий. Забежал перепуганный Булгарин. Рылеев, зная, что тот ни в чем не замешан, передал ему часть своего архива. Многие бумаги тут же сжег. С минуты на минуту он ждал ареста.

Через некоторое время в квартиру вошел флигель-адъютант Дурново с шестью солдатами-семеновцами, а в половине двенадцатого Николай записал: «...ко мне привели Рылеева. Это — поимка из наиболее важных».

На следующий день на гауптвахту Зимнего дворца добровольно явился Александр Бестужев.

Арест был наложен и на частично отпечатанную «Звездочку». 36 лет пролежала она в кладовых типографии Главного штаба и затем была сожжена. Но два экземпляра «Звездочки» уцелели поистине чудом и попали в руки замечательных книголюбов-исследователей П. А. Ефремова и М. И. Семевского. Оба экземпляра находятся сейчас в ленинградских архивах.

* * *

«Завидна смерть за родину, и честно будет погребение храброму из храбрых»,— писал Александр Бестужев

в повести «Изменник». Она была напечатана в последнем выпуске «Полярной звезды». Там же Рылеев поместил отрывок из поэмы «Наливайко», озаглавленный «Исповедь Наливайки»:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа,—
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

Когда Рылеев писал «Исповедь Наливайки», в его квартире жил Михаил Бестужев. Выслушав только что написанные строки, он воскликнул: «Знаешь ли, какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою».— «Неужели ты думаешь,— отвечал поэт,— что я сомневался хоть минуту в своем назначении. Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян».

...Ночью 13 июля 1826 года на берегу Кронверкского протока под приглушенный бой барабанов на виселицу взвели Рылеева. Рядом с ним стояли Пестель, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. Из-за неопытности палачей троим из них пришлось умирать дважды: в первый раз Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол сорвались.

«Завидна смерть за родину...» Такую смерть приняли «рыцари» «Полярной звезды». Жизнь Рылеева в 30 лет оборвалась на виселице. Бестужев в 39 погиб в боях на Кавказе.

Приговором верховного суда Бестужев был отнесен к «преступникам» первого разряда (в нем числилось еще 30 человек), которые должны были принять смертную казнь отсечением головы. Николай даровал всему первому разряду жизнь. 17 августа 1826 года Бестужева с группой товарищей вывезли в Финляндию, где заключили в форте «Слава». Смастерив из жести перо и изготовив из сажи чернила, он работал там над повестью в стихах «Андрей, князь Переяславский». Осенью следующего года его неожиданно доставили в Петербург. Здесь начальник Главного штаба генерал Дибич сообщил ему о переводе на поселение в Якутск с правом писать и печататься, но при условии «не писать никакого вздору» и «без указания имени сочинителя».

В Якутске не раз, наверно, вспоминалась ему поэма Рылеева «Войнаровский». Поселением в Якутск поплатился за измену Петру I герой поэмы. Якутск оказался почти таким, как описал его Рылеев,—«унылым и глухим». Как метался в нем от бездеятельности Андрей Войнаровский!

Рожденный с пылкою душой,
Полезным быть родному краю,
С надеждой славиться войной,
Я бесполезно изнываю
В стране пустынной и чужой...

Метался в Якутске и Александр Бестужев. Судьба словно зло шутила с ним, поставив в положение героя ему же посвященной поэмы. Он стал проситься на Кавказ, в действующую армию. В 1829 году просьба была удовлетворена, началась его солдатская служба.

В суровых жизненных испытаниях талант Бестужева возмужал и окреп. Он продолжал писать стихи, критические статьи, но особенно популярными стали его повести «Фрегат „Надежда"», «Аммалат-Бек», «Мореход Никитин», «Мулла-Нур». Писатель *Бестужев* исчез из литературы, но появился писатель *Марлинский*, снискавший

в короткий срок славу первого русского прозаика. В 30-х годах он был самым ярким представителем прогрессивного романтизма и одним из самых читаемых авторов. Только к началу следующего десятилетия, в связи с утверждением реализма, интерес к его прозе стал резко падать.

В изгнании Бестужев часто с тоской вспоминал Петербург, где он родился и вырос, где прошли лучшие годы его жизни и где оставались его близкие — мать и сестры. «Конечно, Петербург не Италия,— писал он еще из Сибири,— но как пристально гляжу я на запад, куда так величаво сходит солнце и вслед за ним летит мое сердце. Как вздыхаю я о волнах моей Невы, о берегах моей Невы...» В воспоминаниях неизменно всплывал образ друга: «До последней искры памяти не забуду дружбы Рылеева».

В феврале 1837 года в Тифлисе до Бестужева дошло известие о гибели Пушкина. На могиле Грибоедова он заказал панихиду. Рылеев, Грибоедов, Пушкин... «Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней!.. Вот уже трое погибло, и какой смертью все трое!» Когда Бестужев писал эти строки, он думал и о своей судьбе. Ее превратности усиливали трагическое восприятие жизни: «Я чувствую, что моя смерть также будет насильственной и необычайной, что она уже недалеко...» Размышляя о своей судьбе в лирических стихотворениях, он сравнивал ее то с низвергающимся в бездну водопадом, то с тающим в небе облаком:

Блести, лети на ветерке,
Подобно нашей доле —
И я погибну вдалеке
От родины и воли!

7 июня 1837 года Александр Бестужев погиб в боях за мыс Адлер. Тела его не нашли. Те, кто были рядом с ним накануне, утверждают, что он сам искал смерти.

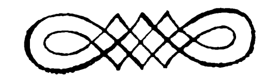
* * *

Места захоронений многих декабристов неизвестны. Среди них и могила пятерых казненных в Петербурге. Современники считали, что их похоронили на острове Голодай.

К 100-летию казни на этом острове, переименованном в остров Декабристов, был заложен, а в 1939 году открыт памятник. Строгий обелиск из черного мрамора на гранитном постаменте символически отметил безвестную могилу пятерых казненных.

В 1925 году Сенатскую площадь переименовали в площадь Декабристов. Их именами назвали улицы. Среди них есть улица Рылеева.

В 150-ю годовщину восстания обелиском отмечено место казни на кронверке Петропавловской крепости.





ВОКРУГ ПУШКИНА

Первые годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны.

А. И. Герцен

«После несчастного происшествия 14 декабря,— писал один из высокопоставленных николаевских чиновников М. Я. фон Фок,— в котором замешаны были некоторые люди, занимавшиеся словесностью, петербургские литераторы не только перестали собираться в дружеские круги, как то было прежде, но и не стали ходить в привилегированные литературные общества, уничтожившиеся без всякого повеления правительства. Нелепое мнение, что государь император не любит просвещения, было общим между литераторами, которые при сем жаловались на цензурный устав... Литераторы даже избегали быть

вместе и, только встречаясь мимоходом, изъявляли сожаление об упадке словесности...»

Фон Фок, возможно, искренно верил, что император готов на многое ради просвещения. Николай делал все, чтобы создать такое мнение. «Я жалею,— лицемерно заявил он Жуковскому,— что не знал о том, что Рылеев — талантливый поэт; мы еще недостаточно богаты талантами, чтобы терять их». Но история хранит и другое. Узнав о смерти Лермонтова, Николай, по свидетельству современника, произнес: «Собаке собачья смерть»...

В первый же год царствования Николая I был разработан новый цензурный устав. Катенин недоумевал: «Местами я не мог понять, например, что значит: «отрывки... не имеющие полного содержания в отношении к полезной цели... запрещаются»? Зато запрещение всех книг, где дело о логике и философии, очень ясно и бьет прямо в цель просвещения». Московский цензор Сергей Глинка (брат декабриста) дал меткое определение этому институту николаевского режима —«чугунный». В 1828 году устав был пересмотрен, но ослабление цензурного гнета оставалось несбыточной мечтой писателей.

Николай усматривал в литературе один из источников вольномыслия. Московский литератор М. А. Дмитриев писал: «С самого начала царствования Николай Павлович смотрел неблагоприятно на литераторов как на людей мыслящих, следовательно, опасных деспотизму, а вследствие этого почитал опасною и литературу».

Но ведь запретить литературу нельзя, значит, нужно держать ее в узде. Это было вменено в обязанность III отделению, образованному при личной канцелярии царя. Позже Герцен назвал его «центральной шпионской конторой». Его создателем и главой стал А. Х. Бенкендорф, незадолго перед тем назначенный шефом жандармских частей, объединенных вскоре в корпус жандармов. В функции III отделения входил и контроль за словесностью, за направлением мыслей в писательской среде.

На Бенкендорфа Николай возложил и «попечение» о Пушкине, которого вернул из ссылки.

Что же представлял собой первый жандарм России, ставший своего рода куратором русской словесности? Барон М. А. Корф писал: «...он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно...»

Памятный современникам случай, характеризующий Бенкендорфа, произошел в 1831 году. Газета «Северный Меркурий» поместила статью «Естественная история ослов». В ней, в частности, говорилось: «Несправедливо судят о сем животном, которое заслуживает в свете гораздо почетнейшее место, нежели определено ему в кругу обитателей земли. Сие неуважение заставило многих ослов искать счастья под различными названиями, заимствованными у других народов. В сих-то видах многие ослы занимают важные места в свете... Все почти естествоиспытатели описывают нам осла как животное четвероногое, с длинными ушами и обыкновенно серого цвета. Но каждый человек, имеющий хотя малейшие познания об ослах, скажет, что ни серая шерсть, ни длинные уши, ни даже четыре ноги не составляют важнейших примет, по которым узнаются ослы... Немецкий писатель Функ говорит, что осла можно узнать издали по звуку, часто им издаваемому, который имеет сходство с *ja*, что значит по-русски *да*. Но и сия примета неверна, ибо есть множество ослов, которые нередко кричат: *нет! нет!*» Статья немало посмешила читателей, но шефа жандармов привела в крайнее возмущение. Он счел ее «неблагонамеренной и дерзкой», потребовал наказания цензора и строгого предупреждения издателя.

Самому Бенкендорфу сразу было за всем не уследить. Но у него нашлось много помощников — и подчиненных по службе, и добровольных.

Одним из негласных осведомителей стал Фаддей Булгарин. 14 декабря окончательно прояснило его общест-

венную позицию. Булгарин поспешил перепечатать в своей «Северной пчеле» официальное сообщение из «С.-Петербургских ведомостей» о событиях на Сенатской, где говорилось, что восставшими солдатами командовали «семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках». Булгарин спешил публично откреститься от прошлого. И он, и Греч были напуганы размахом арестов, оба почувствовали недоверие к себе властей из-за прежней близости к тем, кто оказался в Петропавловской крепости. К тому же старый конкурент журналист А. Ф. Воейков состряпал на них донос. Нужно было оправдываться. Булгарин сообщил властям приметы Кюхельбекера, а Бенкендорфу даже пожаловался, что в свое время Рылеев стращал его за преданность самодержавию, обещая отрубить голову на «Северной пчеле».

Восстановив репутацию «верноподданных», Булгарин и Греч постарались упрочить свое положение ведущих журналистов-издателей. Они добились того, что «Северная пчела», которую Булгарин сначала издавал один, а затем совместно с Гречем, стала единственной частной газетой, имевшей право сообщать о политических событиях, что сделало ее весьма популярной. События освещались, конечно, в соответствии с официальной точкой зрения. Бенкендорф видел главнейшую цель газеты в «утверждении верноподданнических чувствований и в направлении к истинной цели, то есть преданности к престолу и чистоте нравов». Булгариным первый жандарм России был доволен и, характеризуя его, писал: «...был употребляем по моему усмотрению по письменной части... все поручения он исполнял с отличным усердием». Сам же Булгарин в одном из официальных писем называл себя «благонамеренным русским писателем и смиренным верноподданным». В лагерь «благонамеренных», то есть строго следующих официальному курсу мнений, постепенно вошли Н. Кукольник, В. Бенедиктов, С. Шевырев,

М. Загоскин, О. Сенковский, Н. Полевой... Этот лагерь формировался в конце 20-х — 30-е годы.

К концу 20-х годов сложился и другой лагерь — пушкинский круг писателей. К этому времени Пушкин занял ведущее место в литературной жизни России и стал центром сплочения прогрессивных сил. Пушкинский круг складывался из обломков распавшихся литературных обществ и союзов — «Арзамаса», «дружины славян», «союза поэтов», «Ученой республики». Литературными органами пушкинского лагеря стали «Северные цветы», «Литературная газета», а в 1836 году — «Современник».

После прекращения «Полярной звезды» ее недавний конкурент — дельвиговский альманах «Северные цветы» оказался не только непревзойденным среди других изданий по своему художественному значению и составу участников, но и выступал продолжателем декабристских традиций. В нем печатались произведения оппозиционного характера, а кроме того, без подписи или под псевдонимом публиковались труды Рылеева, Кюхельбекера, Н. Бестужева, А. Одоевского. Причем стихи Одоевского раньше не появлялись в печати, и публикация их в «Северных цветах» и «Литературной газете» стала анонимным дебютом поэта-декабриста.

Первое время в «Северных цветах» участвовал и Фаддей Булгарин. Полный разрыв с ним произошел в конце 1829 года, когда родилась идея «Литературной газеты».

Мысль об издании, которое подчинялось бы определенной литературной программе и выходило чаще, чем альманах, давно занимала Пушкина. Альманаху, выходящему один раз в год, непосильны задачи, которые могли быть решены журналом или газетой. А задачи стояли грандиозные — ориентировать читателя на подлинно талантливую и прогрессивную литературу, знакомить его с европейскими и особенно с отечественными новинками, развивать серьезную литературную критику...

Сохранились воспоминания двоюродного брата Дельвига о рождении «Литературной газеты»: «...русской литературой в Петербурге завладели Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин, издававшие журналы «Сын отечества» и «Северный архив» и газету «Северная пчела». Первый из них был сильно заподозреваем в шпионстве, а последний был положительно агентом III отделения канцелярии его величества, то есть шпионом. Они оба употребляли всякого рода средства, чтобы не допустить новых периодических изданий и держать литературу в своих руках. Конечно, необходимо было ее вырвать из таких непотребных рук и начать новый орган, который отличался бы беспристрастными суждениями о нашей словесности... В конце 1829 года эта мысль созрела...» Издателем и редактором стал Дельвиг, но ядро газеты совместно с ним составили Пушкин и Вяземский. Ближайшим помощником Дельвига стал Орест Сомов. Первые двенадцать номеров (газета выходила с января 1830 года один раз в пять дней) редактировал Пушкин, так как Дельвиг уезжал в Москву.

Противниками «Литературной газеты» оказались не только издания Булгарина и Греча, но и столичная газета «Северный Меркурий» (издатель М. А. Бестужев-Рюмин), и «Московский телеграф» (издатель Н. Полевой). В любом из этих изданий можно было прочесть выдержанные подчас в вульгарном тоне пасквильные пародии и брань в адрес Пушкина и близких к нему писателей.

«Литературная газета» выполняла в основном намеченную программу, но вырвать литературу из «непотребных рук» было нелегко: «Северная пчела» располагала почти 4 тысячами подписчиков, в то время как «Литературную газету» выписывало около 100 читателей. Популярность «Северной пчелы», как уже отмечалось, была обеспечена ее правом на освещение политических событий. К тому же ее литературный уровень был более доступен рядовым читателям. «Литературную газету», отра-

жавшую все новое в развитии поэзии, критики, художественной прозы, выписывали более искушенные в вопросах литературы читатели.

«Литературная газета» сразу обратила на себя внимание властей отсутствием «благонамеренного» тона. Начались придирки, а осенью 1830 года газета была запрещена. Это стало одной из причин болезни и ранней смерти Дельвига. Только через пять лет пушкинский круг вновь приобрел собственную литературную трибуну — журнал Пушкина «Современник». В нем печатались Жуковский, Вяземский, Плетнев, Гоголь, Языков, Давыдов, Баратынский. В «Современнике» появились стихи молодого Кольцова, увидели свет стихотворения тогда еще почти никому не известного Тютчева. Журнал публиковал литературную критику, статьи по науке, истории. Пушкин успел издать всего четыре книжки. Последняя из них вышла незадолго до его гибели.

О некоторых писателях, входивших в пушкинский круг, уже говорилось в предыдущих главах (Катенин, Баратынский, Плетнев). Здесь же будет продолжен рассказ о Дельвиге и пойдет речь о поэтах Вяземском, Козлове и Веневитинове. Несколько особое место в пушкинском кругу занимает Веневитинов. Он вышел из литературной группы «любомудров», эстетические позиции которой во многом были чужды поэтам пушкинского окружения. Но именно Веневитинов после 14 декабря почувствовал необходимость сближения «любомудров» с пушкинским кругом. И это сближение началось в последние месяцы его крайне короткой жизни, прошедшие в Петербурге. Это было самое начало николаевского царствования, когда многим, кто был идейно близок декабристам, столичная жизнь с ее резким переломом от общественного подъема к зловещему затишью казалась теперь духовно мертвой. «Здесь мертвая тишина»,— писал Катенин. «Дух неволи» ощущал в столице Пушкин. Таким же узнал Петербург Дмитрий Веневитинов.

Дмитрий Владимирович Веневитинов

8 или 9 ноября 1826 года у Московской заставы остановились два экипажа. Здесь заканчивались два многоверстовых тракта — один шел от Москвы, другой из малоросских земель. Московская застава не отличалась от других столичных въездов — полосатые черно-белые столбы, такой же шлагбаум. Располагалась она у моста через сухой Обводный канал, сооружение которого велось уже давно.

В солнечную погоду, подъезжая к заставе, путешественники отчетливо видели впереди золоченый шпиль собора Петропавловской крепости. Для многих в те, последекабрьские, месяцы он был лишним напоминанием недавно разыгравшейся в Петербурге драмы. Застава — конец долгого пути, «ворота» столицы. Каждый путешественник не без волнения подъезжал к ним, тем более если направлялся в Петербург впервые.

Итак, 8 или 9 ноября (точный день неизвестен) у Московского въезда остановились два экипажа. Путники, трое молодых мужчин, предъявили документы. Жандармский офицер сообщил, что двое арестованы. Одним из них был поэт Дмитрий Веневитинов.

Он приехал из Москвы, где родился и почти безвыездно прожил двадцать один год, где получил блестящее образование — сначала дома, затем в университете. Способности же у него были редкостные: прекрасно рисовал, сочинял музыку, пел, писал стихи и прозу. С отроческих лет увлеченный философией, Веневитинов уже в 18 лет занял одно из ведущих мест в московском Обществе любомудрия, кружке литераторов-философов. Примечательна была и внешность Веневитинова: «Высокого роста, словно изваяние из мрамора. Лицо его имело кроме красоты какую-то еще прелесть неизъяснимую,— писала современница.— Громадные глаза голубые, опушенные очень длинными ресницами, сияли умом. Голос

его был музыкальным, в нем чувствовалось, что он очень хорошо поет...»

Преисполненный, по словам Герцена, «идей 1825 года», Веневитинов переезжал в Петербург, где ему суждено было острее почувствовать тоску по этим неразрешившимся идеям. Разлука с родным городом, с родственниками и друзьями, с женщиной, которую он любил, обостряли его уныние. В Петербурге Веневитинова ждала вакансия в Коллегии иностранных дел. В Петербурге ждала его ранняя смерть.

Петербургская жизнь началась с ареста. Веневитинов приехал с переводчиком Коллегии иностранных дел Федором Хомяковым и швейцарцем Карлом Воше. За Воше давно охотилась полиция. Секретарь и библиотекарь графа И. С. Лаваля, он возвращался из Сибири, куда провожал дочь графа Екатерину Трубецкую, последовавшую за сосланным мужем. Властям стало известно, что Воше вез с собой «много писем от преступников». Было дано указание задержать его еще до Москвы. Но Воше, избрав кружной путь, избежал опасности и благополучно прибыл в Москву. Там он присоединился к Веневитинову и Хомякову, ехавшим в Петербург. При въезде в столицу Веневитинов и Воше были арестованы.

По утверждению современника, Веневитинова отвезли на гауптвахту Главного штаба, где его допрашивал дежурный генерал Потапов — один из тех, кто еще недавно вел допросы декабристов. На вопрос о связях с тайным обществом Веневитинов ответил с резкой прямотой: к обществу не принадлежал, но вполне мог принадлежать.

Продержали его недолго, но пребывание в холодном и сыром помещении губительно сказалось на его здоровье — сильный кашель и озноб с тех пор часто мучили его. Арест вызвал и душевное потрясение.

Несколько дней после освобождения Веневитинов вел «бродячую жизнь», то есть, по-видимому, жил у знакомых. 22 ноября он поселился вместе с Хомяковым в

доме управляющего министерством внутренних дел В. С. Ланского на Мойке. Ланскому принадлежала небольшая городская усадьба — дом с флигелями, сад (усадьба находилась на участке дома № 84 по Мойке). Дом стоял в глубине участка, а на набережную Мойки выходил сад, огражденный от проезжей части решеткой, на Мойку же были обращены и два флигеля. В верхнем этаже одного из них и обосновался Веневитинов с другом. У самых окон раскачивались верхушки деревьев, теряя последнюю листву, а внизу, в своем гранитном ложе, неслышно текла река. Место выглядело поэтично, тем более что стояла прекрасная погода, редкая для ноября в Петербурге — сухая и солнечная.

Веневитинов с интересом осматривал город. «Я видел Неву, все великолепные здания на ее берегах, памятник Петру Великому, Казанский собор, словом, все наиболее красивое в Петербурге...» — писал он сестре. Но тут же добавлял, что сердце его по-прежнему привязано к Москве.

Коллегия иностранных дел, куда он определился в азиатский департамент, размещалась относительно недалеко от дома Ланского — на Английской набережной (теперь набережная Красного Флота, 32). Неподалеку была и Сенатская площадь, напоминавшая о недавних событиях и вызывавшая в памяти знакомые лица: Вильгельм Кюхельбекер, Александр Одоевский... После того что произошло на этой площади, нельзя было жить прежними взглядами. К Веневитинову, по выражению современного исследователя, пришло «горькою ценою добытое нравственное совершеннолетие, какая-то, конечно, давно подготавливаемая, но теперь окончательно пробудившаяся душевная и гражданская зрелость». Как мыслитель, он перешел от общефилософских тем к темам историческим; как критик поднялся до важнейших проблем реалистической эстетики. Это сказалось на оценке пушкинского «Бориса Годунова». Веневитинов был одним из немногих,

кто в 20-х годах сумел понять величие новаторства Пушкина.

Свое отношение к Пушкину Веневитинов выразил в стихотворном послании к нему:

Волнуясь песнею твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала...

Близко узнать Пушкина ему довелось осенью 1826 года в Москве. Пушкин тогда только вернулся из ссылки. Он привез с собой рукопись «Бориса Годунова» и читал ее московским знакомым. Дважды чтения состоялись в доме Веневитиновых. Тогда же у бывших «любомудров» (общество самоликвидировалось после событий 14 декабря) появилась идея издания журнала при ближайшем участии Пушкина. Пушкин дал согласие, и с 1827 года дважды в месяц стал выходить «Московский вестник». Веневитинов уже жил в Петербурге, но это не мешало ему быть не только сотрудником, но и вдохновителем журнала. Из столицы он посылал стихи, статьи, давал советы и указания редактору журнала и его участникам.

Одну из задач «Московского вестника» он видел в борьбе с официозной журналистикой. «Надобно поразить,— писал он в Москву,— трехглавую петербургскую гидру —«Северную пчелу», «Архив» и «Сын отечества»: мира с ними не может быть». А «гидра», в лице Булгарина и Греча, была не прочь завлечь в свои сети талантливого юношу. «Они оба увиваются около меня, как пчелки около липки, только не дождутся от меня меду»,— писал Веневитинов. В борьбе с журналистикой булгаринского толка он нашел союзников в Петербурге: «Истинные литераторы за нас. Дельвиг также поможет...» А в другом письме подчеркивал: «Главное, отнять у Булгариных их влияние».

С «истинными литераторами» Веневитинов общался у И. И. Козлова, В. Ф. Одоевского, бывшего председателя

«любомудров», также переехавшего в столицу, у Дельвига.

С Дельвигом поэт познакомился сразу по приезде в Петербург и вскоре с удовлетворением отметил, что они подружились «как сыны одной поэзии». Дельвиг принимал его у себя по-братски и сам нередко наведывался во флигель на Мойке. «Вчера у меня провел весь вечер Дельвиг;— писал в январе 1827 года Веневитинов брату,— мы провели время очень весело, пели и швыряли друг в друга стихами». Музыка и поэзия, журналистика и литературная борьба, сочувствие разгромленному движению декабристов сближали их. По предложению Дельвига Веневитинов принял участие в «Северных цветах на 1827 год». И позднее, уже после смерти Веневитинова, Дельвиг печатал его стихи и прозу.

В Петербурге постепенно собрались и некоторые из московских друзей Веневитинова. Кроме В. Одоевского и Ф. Хомякова приехали А. Кошелев, В. Титов и брат Ф. Хомякова — поэт Алексей Хомяков. Кошелев вспоминал: «Мы все часто виделись и собирались по большей части у князя Одоевского. Главным предметом наших бесед была уже не философия, а наша служба с ее разными смешными и грустными принадлежностями. Впрочем, иногда вспоминали старину, пускались в философские прения и этим несколько себя оживляли».

Владимир Федорович Одоевский, бывший председатель Общества любомудрия, был знатоком не только философии, но и химии, математики, истории, географии. Он занимался журналистикой (совместно с Кюхельбекером издавал в 1824 году «Мнемозину»), выступал как писатель, литературный и театральный критик.

Одоевский был известен и как глубокий знаток, теоретик и пропагандист музыки. Многие из собиравшихся у него друзей были фанатично преданы музыке. Одоевский жил тогда вблизи Невы в Мошковом переулке (теперь Запорожский переулок, 1).

В конце 1826 года Одоевский познакомился с Михаилом Глинкой. «Чудо малый! Музыкант, каких мало»,— восторженно восклицал он в одном из писем. Возможно, Глинка посещал в ту зиму вечера Одоевского, и Веневитинов имел возможность узнать его и оценить. Музыка составляла неотъемлемую часть его духовного существования. Веневитинов посещал петербургские филармонические концерты и оперу. Здесь впервые познакомился он с некоторыми произведениями Бетховена, приведшими его в восторг. Пробовал он и собственные силы в музыкальном творчестве — сочинил романс на стихи Пушкина «Ночной зефир...» (ноты не сохранились).

Веневитинов постоянно вспоминал Москву. И в этих воспоминаниях часто рисовался мучивший его женский образ.

Ее звали Зинаидой Волконской. Веневитинов называл ее «богиней», Пушкин —«царицей муз и красоты». Княгиня Волконская, как и ее поклонник Веневитинов, восхищала современников сочетанием замечательного ума, красоты и разнообразных талантов. Она писала стихи и прозу, пела и сочиняла музыку, имела актерский талант. Родственница декабристов С. П. Трубецкого и С. Г. Волконского, она всей душой сочувствовала сосланным. В ее доме в Москве останавливались перед отъездом в Сибирь Мария Волконская и Екатерина Трубецкая.

Зинаида Волконская была старше Веневитинова на 16 лет. У нее была семья. Это не мешало поэту питать к ней, по-видимому, очень сильное чувство. Скорее всего, и переезд в Петербург был связан с желанием родственников Веневитинова удалить его от Волконской.

В стихах, написанных в Петербурге, поэт часто обращается к своей «богине»:

Не думы гордые вздымают
Страстей исполненную грудь,
Не волны певские мешают
Душе усталой отдохнуть,—

Когда я вдоль реки широкой
Скитаюсь мрачный, одинокой
И взор блуждает по брегам,
Язык невнятное лепечет,
И тихо плещущим волнам
Слова прерывистые мечет.

. . . .

Что счастье мне? зачем оно?
Не ты ль твердила, что судьбою
Оно лишь робким здесь дано,
Что счастья с пламенной душою
Нельзя в сем мире сочетать,
Что для него мне не дышать...

Казалось бы, Веневитинов жил в Петербурге бурной, наполненной жизнью. Из его писем видно, как многообразны были его интересы: театры, балы, служба, концерты, вечера у друзей. Но в письмах слышны и жалобы на одиночество, признания в подавленности духа, в желании бежать из Петербурга. Еще откровеннее состояние угнетенности передают стихи:

Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!
Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

Что же так угнетало и мучило поэта? Что в двадцать один год заставляло его думать о смерти, а порой даже о самоубийстве? На эти вопросы едва ли найдется однозначный ответ. Здесь и крушение тех надежд, которыми жило передовое дворянство до декабря 1825 года, здесь и ощущение чужого города, давящего своим бездушием и холодом, здесь, конечно, и любовная тоска. Хрупкая, болезненная натура Веневитинова не выдержала. Один из современников сказал о нем: «У него смерть в глазах».

Многие поэты тех лет умерли молодыми, полными сил, но никто не ушел из жизни так рано: Веневитинов умер на двадцать втором году жизни.

О его смерти сохранилось несколько рассказов. Известно, что после заключения на гауптвахте всю зиму он

чувствовал недомогание. В. Одоевский вспоминал, что как-то, вероятно, в начале марта, у Ланских был бал, после которого Веневитинов, разгоряченный танцами, в накинутой на плечи легкой шинели вышел в сад и поднялся в свой флигель. Вечер был морозный. Вскоре Веневитинов слег.

7 марта он писал в Москву Погодину: «...тоска не покидает меня... здоровьем я плох.

...Пишу мало. Не знаю, пришлю ли я вам что-нибудь для следующей книжки.

Пламя вдохновения погасло. Зажжется ли его светильник?

Последнее время меня тяготит сомнение в себе. Трудно жить, когда ничего не сделал, чтобы заслужить свое место в жизни. Надо что-то сделать хорошее, высокое, а жить и не делать ничего — нельзя.

Я уже выше писал, что тоска замучила меня. Здесь, среди холодного, пустого и бездушного общества, я — один. Скорее бы отсюда, в Москву, к вам.

Я ни за что не могу взяться.

...Я еду в Персию. Это уже решено. Мне кажется, что там я найду силы для жизни и вдохновения...»

Он еще строил планы на будущее (служба в дипломатической миссии в Персии), однако дни его были уже сочтены, и это письмо оказалось последним словом Дмитрия Веневитинова. Трагический тон сливается в нем с высокими душевными нотами: «Жить и не делать ничего — нельзя». Поэт и не жил никогда в бездеятельности. За четыре месяца в Петербурге он создал многое, в том числе около тридцати стихотворений — лучших в его творчестве. Сказывалась «душевная и гражданская зрелость». Его увлеченностью, творческим горением восхищался Федор Хомяков: «Это — чудо, а не человек; я перед ним благоговею... у него в 24-х часах, из которых составлены сутки, не пропадет ни минуты, ни полминуты. Ум и воображение и чувства в беспрестанной деятель-

ности. Как скоро он встал, и до самого того времени, как он выезжает, он или пишет, или бормочет новые стихи; приехал из гостей, весело ли ему было или скучно, опять за то же принимается, и это продолжается обыкновенно до трех часов ночи».

В центре философской лирики Веневитинова многие темы. Одна из них — о высокой миссии поэта, его плодотворном воздействии на жизнь:

Блажен, кому судьба вложила
В уста высокий дар речей
. . . .
Мне тайный голос обещал,
Что не напрасное мученье
До срока растерзало грудь.
Он говорил: «Когда-нибудь
Созреет плод сей муки тайной
И слово сильное случайно
Из гру́ди вырвется твоей;
Уронишь ты его не даром:
Оно чужую грудь зажжет,
В нее как искра упадет
И в ней пробудится пожаром».

...Когда Веневитинов в начале марта 1827 года слег, братья Хомяковы не отходили от него. Врач обнадеживал, обещал выздоровление, но неожиданно объявил, что поэт не проживет до следующего дня. Алексей Хомяков надел умирающему перстень — подарок Зинаиды Волконской, который, по желанию Веневитинова, мог быть надет ему при венчании или смерти. Это было вечером 14 марта. В пять часов утра следующего дня Веневитинов умер.

Петербургские литераторы прощались с ним в соборе Николы Морского. После отпевания тело в цинковом гробу было отправлено в Москву.

Смерть Веневитинова вызвала множество эпитафий. Их авторами стали А. Дельвиг, З. Волконская, Н. Языков, А. Одоевский, А. Кольцов, М. Деларю, М. Лермонтов и другие поэты. Глубокой скорбью отозвалась она

в сердце Пушкина. По воспоминаниям Н. Полевого, он и Мицкевич в Москве «провожали гроб Веневитинова и плакали о нем, как о друге».

* * *

Вся литературная деятельность Веневитинова пронизана стремлением придать поэзии глубокое содержание. Он был убежден, что поэзия не должна быть лишь выражением чувств: «У нас чувство освобождает от обязанности мыслить, тогда как истинные поэты всех веков и народов были глубокими мыслителями, философами». Именно поэтому он оказался в Обществе любомудрия, которое видело свою цель в соединении поэзии с философией. До «любомудров» искания в этой области не были ни столь основательными, ни столь целенаправленными. Потрясение, вызванное 14 декабря, направило общественную мысль в России к философскому осмыслению действительности, истории и деятельности человека. Философия стала утверждаться и в поэзии. Кроме поэтов-«любомудров» — Веневитинова, С. Шевырева, А. Хомякова — к философской лирике обратились Пушкин, Баратынский, Тютчев, Лермонтов. Не во всем сходясь со своими предшественниками-«любомудрами», они учитывали их практику — завоевания и неудачи. Глубокий интерес вызывала у них и поэзия Веневитинова, самого талантливого из «любомудров».

Антон Антонович Дельвиг

32 года — столь малый век выпал на долю Дельвига. Жизнь короткая, нелегкая, но в то же время счастливая! Пушкин говорил, что жизнь Дельвига была богата «не романтическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым чистым разумом и надеждами».

Когда юный Дельвиг вместе с Пушкиным вступал в литературу, поэты объединялись в литературных обществах. Тогда гремели «Арзамас», «Беседа», Михайловское общество, а позднее «Ученая республика». Но во второй половине 20-х годов общества распались, и в культурной жизни возросла роль литературных кружков и салонов. В Петербурге в то время выделялся кружок Дельвига, объединявший в основном сотрудников «Северных цветов» и «Литературной газеты».

* * *

Дворцовой слободой издавна называли район, примыкавший к Владимирской площади, где стояла деревянная церковь Владимирской богородицы. В первой половине XVIII века здесь жили придворные служители. В 1760-х годах на месте деревянной церкви была возведена новая, каменная, а позже, по проекту Дж. Кваренги, колокольня. В 20-х годах XIX века бывшая петербургская окраина уже имела вполне сложившийся городской вид — каменные дома, примыкавшие один к другому, мощеные улицы, наполненные движением и шумом.

Жизнь Антона Антоновича Дельвига связана с этой частью города. Рядом и Троицкий переулок, где жил он с Павлом Яковлевым после окончания Лицея, и слобода Семеновского полка, где квартировал с Баратынским, и Загородный проспект, где в доме Кувшинникова жил перед женитьбой. В том же доме (Загородный проспект, участок нынешнего дома № 9) Дельвиг поселился с женой через год после свадьбы. А еще через три (в конце 1829-го) они сменили квартиру, поселившись в начале Загородного, напротив Владимирской церкви, в доме купца Аники Тычинкина (теперь дом № 1, отмеченный мемориальной доской).

Дважды в неделю, по средам и воскресеньям, около восьми часов вечера у Дельвигов (сначала в доме Кув-

шипникова, а затем в доме Тычинкина) собирались друзья. Тут можно было встретить и признанных и второстепенных литераторов — Жуковского, Гнедича, Веневитинова, Крылова, А. Римского-Корсака, В. Щастного, В. Одоевского, А. Подолинского, А. Крюкова, Е. Розена, Н. Коншина, П. Яковлева. Из старых лицейских товарищей чаще других бывали М. Яковлев, А. Илличевский и С. Комовский. К ним присоединились лицеисты последующих выпусков — Д. Эристов, М. Деларю, В. Лангер. Конечно, частым гостем был Плетнев. До отъезда в 1827 году на Кавказ почти каждый день заходил Лев Пушкин. Своим человеком у Дельвигов стал Орест Сомов. «Обаяние Дельвига,— пишет современный литературовед,— единодушно признавамое всеми, кто постоянно общался с ним, сделало его центром писательского круга, объединявшего все наиболее прогрессивное в последекабрьской России. Его мнением дорожили. Под его влиянием возникали или менялись творческие замыслы. Нельзя измерить и исчислить все, что дали нашей литературе встречи, беседы, споры в доме Дельвига».

Дельвиговский кружок был неотъемлемой частью сложившегося в те годы пушкинского круга писателей. И, словно в знак этого, портрет Пушкина, выполненный по заказу Дельвига Орестом Кипренским, висел в гостиной на Загородном на самом видном месте.

На дельвиговских вечерах всегда звучала музыка. Нередко сам хозяин пел под аккомпанемент жены. Чаще это были его собственные песни, написанные «на голос», то есть на знакомую мелодию. В этом жанре особенно проявилась музыкальная одаренность Дельвига. Стихи его очень мелодичны. Не случайно к ним писали музыку многие композиторы. Союз поэзии и музыки, характерный для всей художественной атмосферы 20—30-х годов, процветал в дельвиговском кружке.

Из завсегдатаев выделялся Михаил Яковлев. Он прекрасно пел, играл на скрипке, гитаре, фортепьяно, писал

музыку. Его песни на стихи Пушкина, Державина, Дельвига, Жуковского часто звучали в гостиной Дельвига. Был у Яковлева и еще один своеобразный талант — как никто, он умел развлекать и веселить гостей. Неистощимый на выдумки, придумывал он вместе с Дмитрием Эристовым различные шутки, показывал фокусы, демонстрировал чревовещание и тому подобное.

Летом 1828 года Яковлев пригласил к Дельвигу Михаила Ивановича Глинку. Дельвиговские вечера пришлись Глинке по душе. Анна Керн, близкая приятельница и соседка Дельвигов по дому Кувшинникова, вспоминала, как Глинка «часто услаждал весь... кружок своими дивными вдохновениями». Дельвиг высоко ценил талант Глинки, а великий композитор, в свою очередь, любил стихи Дельвига и писал к ним музыку. Эти песни также звучали в гостиной на Загородном.

Вместе с Глинкой к Дельвигам иногда приходил молодой певец Николай Иванов. Позднее он совершенствовался в вокале в Италии и имел огромный успех в Европе. У Дельвигов часто раздавался его «мягкий, симпатичный», по словам Керн, голос. Прекрасно исполнял Иванов романс на стихи Дельвига «Соловей мой, соловей...». Музыка Алябьева и более поздние (1833) фортепьянные вариации к ней Глинки прославили это стихотворение.

Особенно оживлялись вечера на Загородном, когда в Петербург приезжал Пушкин. После освобождения в 1826 году из ссылки Пушкин жил то в Москве, то в деревне, появляясь в столице изредка. Так продолжалось до 1831 года, до женитьбы. Пять раз за эти годы Пушкин наведывался в столицу. И каждый раз в первую очередь спешил навестить Дельвига. Керн, свидетельница их встреч, вспоминала: «...они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях».

О духовной близости с Дельвигом Пушкин писал в стихотворении на лицейскую годовщину 1825 года:

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел...

С годами они еще более дорожили своей дружбой. Но лицейский круг редел.

Но на время омрачим
Мы веселье наше, братья,
Что мы двух друзей не зрим
И не жмем в свои объятья.

Так Дельвиг вспомнил Пущина и Кюхельбекера в лицейскую годовщину 1826 года. Распался и их поэтический союз: Кюхельбекер — в темнице, Баратынский — в Москве, Пушкин же без постоянного пристанища — то здесь, то там.

Каждый приезд Пушкина был для Дельвига большим событием. Он спешил расспросить друга о новых трудах, и тот читал ему и Софье Михайловне «Бориса Годунова», «Графа Нулина» и другие свои новинки. Пушкин с интересом знакомился со стихами Дельвига. Но тот писал мало, его отвлекали издательские труды и служба, которую при вечной нехватке денег он не мог бросить (после Публичной библиотеки Дельвиг служил чиновником особых поручений в различных департаментах министерства внутренних дел). Дельвиг признавался Пушкину, что сочиняет лишь изредка и, как прежде, его любимые жанры—идиллии, песни. Слушая последние творения Дельвига, Пушкин с радостью убеждался в его творческом росте. Идиллии «Изобретение ваяния» и «Отставной солдат», стихотворения «Грусть», «Слезы любви», песни и другие произведения последних лет стали высшим творческим достижением Дельвига. К сожалению, они

оказались его лебединой песней. В 1829 году вышел сборник стихотворений Дельвига. Эта первая книжка стала и последней при жизни поэта и подвела итог его почти 15-летней творческой работы. Она дала представление читателю о мастерстве и смелости Дельвига в освоении гекзаметра и сонета, идиллий и русского фольклора.

При Пушкине на дельвиговских вечерах особенно горячо обсуждались вопросы литературной борьбы. Иногда тут же рождались острые памфлеты, эпиграммы. На одном из вечеров Пушкин сочинил эпиграмму «В Элизии Василий Тредьяковский...», направленную против консервативного журналиста М. Каченовского. Дельвиг напечатал ее в альманахе «Подснежник», выпущенном в дополнение к «Северным цветам» в 1829 году.

На вечерах Дельвига бывал и Адам Мицкевич. «Вот кто был постоянно любезен и приятен,— писала Керн.— Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал... Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого».

Двоюродный брат Дельвига вспоминал, что Мицкевич «целые вечера импровизировал разные, большею частию фантастические, повести в роде немецкого писателя Гофмана». О художественной силе его вдохновенных импровизаций сохранился рассказ Вяземского: «Для русских приятелей своих, не знавших по-польски, он иногда импровизировал по-французски, разумеется, прозою, на заданную тему. Помню одну. Из свернутых бумажек, на коих записаны были предлагаемые задачи, жребий пал на тему, в то время и поэтическую и современную: приплытие Черным морем к одесскому берегу тела Константинопольского православного патриарха, убитого турецкой чернью. Поэт на несколько минут, так сказать, уединился

во внутреннем святилище своем. Вскоре выступил он с лицом, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены... Импровизация была блестящая и великолепная... Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге». Это — воспоминание Вяземского о вечере у Пушкина, в один из приездов его в Петербург. Подобные вечера с импровизациями Мицкевича бывали и у Дельвигов.

Мицкевич всегда был близок передовым кругам русского общества. С симпатией и пониманием встретил его в первый приезд в Петербург круг сотрудников «Полярной звезды». Не меньшее признание нашел Мицкевич в Петербурге после 14 декабря.

...Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта...

Так в 1834 году Пушкин вспомнил Мицкевича, былые встречи с ним. И эти воспоминания отчасти связаны и с домом Дельвига, где когда-то он беседовал с Мицкевичем о литературе, истории, мечтал «о временах грядущих». Поэт А. Подолинский рассказывал, что на дельвиговских вечерах ему «неоднократно случалось слышать продолжительные и упорные прения Пушкина с Мицкевичем... Первый говорил с жаром, часто остроумно, но с запинками, второй тихо, плавно и всегда очень логично». Дельвиговский кружок способствовал популяризации творчества польского поэта. Стихи Мицкевича в перево-

дах А. Илличевского, В. Щастного, И. Козлова печатались в «Северных цветах».

Среди своих молодых друзей Дельвиг особенно выделял Михаила Деларю. Восемнадцатилетним юношей, только что окончившим Лицей, примкнул он в 1829 году к дельвиговскому кружку. На Дельвига смотрел с благоговением, считая его своим первейшим учителем в поэзии. Как и Дельвиг, он писал сонеты, идиллии, антологические эпиграммы, обращался к гекзаметру. Поддерживая и наставляя своего юного друга, Дельвиг не забывал предостерегать его от подражательности: «Пишите, милый друг, доверяйтесь вашей музе, она не обманщица, она дама очень хорошего тона и может блестеть собственными, не заимствованными красотами». Дельвиг печатал стихи Деларю в своих изданиях, а одно из них — «Сон и смерть» — выпустил отдельной брошюрой. Доходы с него были переданы какой-то женщине, о которой Дельвигу стало известно, что она потеряла мужа и троих детей и осталась без средств с ребенком на руках.

Несколькими годами раньше Деларю из Лицея вышел другой частый гость дома Дельвига — Валериан Лангер, художник, переводчик и критик. Статьи его печатались в «Литературной газете», а выполненные им фронтисписы украшали «Северные цветы». В конце 1829 года Лангер нарисовал портрет Дельвига, который был помещен в альманахе «Царское Село», выпущенном Е. Розеном и Н. Коншиным, также примыкавшими к дельвиговскому кружку. Дельвиг остался доволен своим изображением. Еще во время работы Лангера над портретом он сообщал Розену в письме, выдержанном в размере гекзаметра: «Лангер рожу рисует мою и, кажется, трафит (то есть угождает.— *Авт.*)».

Портрет правдиво, достоверно передает облик Дельвига. Таким он и запомнился друзьям. «Он был росту выше чем среднего,— писал Коншин,— лицо имел открытое, лоб высокий, прекрасный, всегда спокойный; голу-

бые глаза его, вечно вооруженные очками, высказывали невыразимую доброту, ум и мысль». Еще одну драгоценную дельвиговскую черту как будто сумел передать в портрете Лангер. О ней писала Керн: «В его поэтической душе была какая-то детская ясность, сообщавшая собеседникам безмятежное чувство счастия...»

Летние месяцы 1829 и 1830 годов Дельвиги проводили на даче на Петербургской стороне. Жили они недалеко от Крестовского перевоза, там, где река Карповка впадает в Малую Невку (теперь участок набережной Адмирала Лазарева у Большого Крестовского моста). Место было живописное: нарядные дачи, зеркальная гладь Малой Невки, по которой скользили небольшие парусники и лодки, за рекой — утопающие в зелени острова Крестовский и Каменный. Вечерами над дачами разносилась роговая музыка, исполняемая крепостными музыкантами вельможи Д. Л. Нарышкина; его дача стояла в устье Карповки, поблизости от Дельвигов. А ночь здесь была словно ожившая картина из идиллии Гнедича «Рыбаки»:

Вот полночь; шумевшая вечером тысячью весел,
Нева не колыхнет; светла и спокойна, как небо;
Разъехались все городские веселые гости.
Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, все тихо;
Лишь изредка крик из деревни, протяжный, промчится,
Где в ночь откликается ратная стража со стражей...

Эти строки были хорошо знакомы Дельвигу. Сама гнедичевская идиллия привлекала его оригинальной попыткой использовать древний жанр для выражения русского содержания, и под ее впечатлением он работал над идиллией «Отставной солдат», героем которой должен был стать бывший русский солдат-инвалид, проливший кровь за родину в войне с французами. На даче Дельвигу работалось лучше, чем в Петербурге. Работал он большей частью днем, вечерами съезжалось обычно много гостей: обсуждали литературные и политические новости,

читали новые произведения, музицировали, катались в лодках по реке или переправлялись на соседние острова, иногда забрасывали невод.

Жена Дельвига Софья Михайловна была приветливой хозяйкой. Ей были близки интересы мужа и его друзей. Так, после выхода первого номера «Литературной газеты» она писала подруге: «Надеюсь, что ты нашла разницу между «Литературною газетою» и другими журналами. *У нас* — критика, *а не брань,* и критика хорошего тона». Софья Михайловна помогала мужу в издательских делах, но с сожалением замечала, что издательская работа и служба отвлекают его от поэзии. Той же подруге она писала: «...надеюсь, что он возвратится... к своей музе; я хотела бы, чтобы она приходила навещать его почаще (ревность в сторону)». Умная, талантливая, образованная, Софья Михайловна была в то же время натурой эксцентричной, увлекающейся. Ей льстили ухаживания Алексея Вульфа, приятеля Пушкина, и Языкова, чуть ли не претендовавшего на роль первого русского ловеласа. Возможно, не оставили ее равнодушными и знаки внимания со стороны Сергея Баратынского, младшего брата поэта, жившего некоторое время у Дельвигов. Семейная жизнь Дельвига, внешне счастливая и благополучная, на самом деле приносила ему немалые душевные страдания. Одно из последних стихотворений, обращенное, скорее всего, к жене, проникнуто горечью и отчаяньем: «За что, за что ты отравила // Неисцелимо жизнь мою?..»

Как один из виднейших представителей пушкинской литературной когорты, Дельвиг не раз подвергался нападкам со страниц враждебных изданий. Издатель газеты «Северный Меркурий» М. А. Бестужев-Рюмин выступил даже с таким заявлением о поэзии Дельвига: «Пиитические произведения его недурны более потому, что одна половина их... принадлежит Пушкину, а другая — Баратынскому». Подобные выпады позволяли себе и «Северная пчела», и «Московский телеграф». Особенно ополчи-

лись они на Дельвига, когда в 1830 году стала выходить «Литературная газета».

Тот год, оказавшийся последним в жизни Дельвига, выдался очень напряженным. Каждые пять дней должна была выходить газета. Необходимо было не только собирать и обрабатывать материал, но и проводить его через цензуру. Цензура пропускала не все, но порой и пропущенное вызывало неприятности. По разным поводам Дельвиг вынужден был иногда являться для объяснений к Бенкендорфу. Он выслушивал внушения и угрозы, а когда однажды попытался оправдаться ссылкой на закон, то услышал ядовитый ответ: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальств!»

Осенью 1830 года над головой Дельвига разразилась гроза. 28 октября он поместил в газете небольшую заметку: «Вот новые четыре стиха Казимира де-ла-Виня на памятник, который в Париже предполагают воздвигнуть жертвам 27-го, 28-го и 29-го июля». Далее следовал французский текст [1]. Упоминание Июльской революции в Париже, даже косвенное, послужило поводом к запрещению газеты. Двоюродный брат Дельвига вспоминал: «В ноябре Бенкендорф снова потребовал к себе Дельвига, который введен был к нему в кабинет в присутствии жандармов. Бенкендорф самым грубым образом обратился к Дельвигу с вопросом: «Что ты опять печатаешь недозволенное?» Выражение *ты* вместо общеупотребительного *вы* не могло с самого начала этой сцены не подействовать весьма неприятно на Дельвига. Последний отвечал, что о сделанном распоряжении не печатать ничего, относящегося до последней французской революции, он не знал и что в напечатанном четверостишии, за которое он подвергся гневу, нет ничего недозволительного для печати. Бенкен-

---

[1] Перевод: «Франция, скажи мне их имена. Я их не вижу на этом печальном памятнике. Они так скоро победили, что ты была свободна раньше, чем успела их узнать».

дорф объяснил, что он газеты, издаваемой Дельвигом, не читает, и когда последний, в доказательство своих слов, вынув из кармана номер газеты, хотел прочесть четверостишие, Бенкендорф его до этого не допустил, сказав, что ему все равно, что бы ни было напечатано, и что он троих друзей — Дельвига, Пушкина и Вяземского уже упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь. Тогда Дельвиг спросил, в чем же он и двое других названных Бенкендорфом могли провиниться до такой степени, что должны вскоре подвергнуться ссылке, и кто может делать такие ложные доносы. Бенкендорф отвечал, что Дельвиг собирает у себя молодых людей, причем происходят разговоры, которые восстановляют их против правительства, и что на Дельвига донес человек, хорошо ему знакомый. Когда Дельвиг возразил, что собирающееся у него общество говорит только о литературе... и что он между знакомыми своими не находит никого, кто бы мог решиться на ложные доносы, Бенкендорф сказал, что доносит Булгарин и если он знаком с Бенкендорфом, то может и подавно быть знаком с Дельвигом. На возражение последнего, что Булгарин у него никогда не бывает, а потому он его не считает своим знакомым и полагает, что Бенкендорф считает Булгарина своим агентом, а не знакомым, Бенкендорф раскричался, выгнал Дельвига словами: „Вон, вон, я упрячу тебя с твоими друзьями в Сибирь"».

15 ноября «Литературная газета» была запрещена. Узнав об этом, Пушкин сокрушенно писал из Москвы: «Итак, русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу!» Но газету надо было спасать, и Пушкин в письме Плетневу советовал Дельвигу постараться оправдать себя в глазах правительства, «а то шпионы-литераторы заедят его как барана, а не как барона». Пушкин еще шутил, не подозревая всех последствий этой истории.

На защиту Дельвига и «Литературной газеты» встали Жуковский и крупный чиновник Д. Н. Блудов, в прош-

лом «арзамасец». Вследствие их хлопот на квартире Дельвига неожиданно появился жандарм, который сообщил, что имеет поручение от господина Бенкендорфа принести извинение за излишнюю горячность при последней встрече (сам-де Бенкендорф «по нездоровью» заехать не может). Что касается «Литературной газеты», то правительство не против ее существования, но... только под редакцией господина Сомова. Расшаркавшись, посланный ушел.

Стычки с цензурой, вызовы к Бенкендорфу, официальное отстранение от редактирования газеты, семейные неприятности — все это подрывало душевное равновесие и ослабляло Дельвига физически. Весь ноябрь и декабрь 1830 года он хворал, почти нигде не показывался, принимал только самых близких, завел дотоле невиданную в его доме моду — каждый вечер садиться за бостон. Дельвиг вообще не отличался крепким здоровьем. И когда очередная болезнь обрушилась на него, сил для борьбы с ней оказалось мало.

Еще 4 января 1831 года Софья Михайловна безмятежным тоном сообщала подруге: «Мое маленькое семейство здравствует» (у них незадолго перед тем родилась дочь Елизавета). А через несколько дней Дельвиг слег от сильной простуды. Болезнь поразила его с ужасающей стремительностью: 12 января он впал в беспамятство, а 14-го в 8 часов вечера Михаил Деларю закрыл ему глаза. По медицинской терминологии тех лет, Дельвиг умер от «гнилой горячки». Но пожалуй, прав был Кюхельбекер, записавший в своем дневнике, что это была смерть «от тоски и грусти».

15 января Плетнев отправил печальное известие в Москву. Пушкин и Баратынский, получив его, были убиты горем. «Потеря Дельвига для нас незаменяема»,— писал Баратынский. «Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная...— писал Пушкин,— никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он

один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели».

17 января Дельвига похоронили на Волковом кладбище[1].

По Петербургу разнесся слух, что в смерти Дельвига повинен Бенкендорф. Опасаясь жандармского обыска, вдова и друзья покойного сожгли его огромный архив.

Очередной номер «Литературной газеты» вышел траурным — с некрологом Плетнева и статьей Василия Туманского «К гробу барона Дельвига». Там же эпитафия Гнедича:

...Я над твоею могилою ранней
Слышу надгробный плач дружбы и муз и любви!

В память покойного друга Пушкин и его товарищи издали «Северные цветы на 1832 год».

Иван Иванович Козлов

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!..

Эти задумчиво-грустные стихи редкой поэтической красоты и мелодичности могут служить своеобразной «визитной карточкой» поэта Ивана Козлова. Представляющие вольный перевод одного из стихотворений английского поэта Томаса Мура, они были опубликованы впервые в «Северных цветах на 1828 год». Сначала современник Козлова польский композитор Станислав Монюшко, а позже русский композитор Александр Гречанинов напи-

[1] В 1930-х годах останки Дельвига были перенесены в Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры.

сали к ним музыку, и вот уже многие десятилетия не меркнет слава «Вечернего звона».

Не меньшую популярность приобрели и другие произведения Козлова. Среди них перевод стихотворения ирландского поэта Чарлза Вольфа «На погребение английского генерала сира Джона Мура»:

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили...

Эти стихи, также впервые напечатанные Дельвигом, сразу покорили читателей. Воспринятые как песня, они приобрели широкую известность: их пели, им подражали другие поэты. Молодой Лермонтов под их обаянием написал стихотворение «В рядах стояли безмолвной толпой...». На тот же мотив пели позднее революционную песню «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Ритмические строки Козлова заново ожили и под пером Марины Цветаевой в цикле «Стихи к Пушкину»: «Нет, бил барабан перед смутным полком, // Когда мы вождя хоронили: // То зубы царевы над мертвым певцом // Почетную дробь выводили...» Нельзя не вспомнить и «Венецианскую ночь» Козлова, которую пели на мотив венецианской баркаролы в столичных и провинциальных салонах, и его поэму «Чернец», и многое другое, что принесло поэту прижизненную славу.

* * *

Иван Иванович Козлов пришел в литературу поздно: ему было 42 года, когда в печати впервые появились его стихи. Это было в 1821 году, а уже через три-четыре года его имя знали все знатоки и любители поэзии. Козлов печатался в различных изданиях той поры, в том числе в «Полярной звезде» и «Северных цветах». Дельвиг помещал его произведения в каждом альманахе.

Петербургские литераторы знали Козлова задолго до выступления в печати. Знали не как поэта, а как образованного, общительного человека, старинного друга Жуковского и братьев А. И. и Н. И. Тургеневых. До Отечественной войны Козлов жил в Москве, где состоял на военной, а потом на гражданской службе. В 1813 году с женой и двумя детьми он приехал в Петербург и определился на службу в департамент государственных имуществ. Жуковский познакомил его со многими литераторами-петербуржцами. Отечественную и иностранную литературу Козлов любил и неплохо знал, в подлинниках читал итальянских и французских поэтов. Пробовал и сам писать стихи на французском языке.

На первый взгляд путь Козлова к настоящей поэзии кажется поистине неисповедимым: его поэтический голос набрал полную силу в то время, когда на него обрушился нежданный недуг. В 1818 году у Козлова парализовало ноги, затем постепенно начало пропадать зрение. В 1821-м он ослеп. И в том же году в печати появилось его первое стихотворение.

Телесные страдания, сознание физической неполноценности Козлов сумел побороть силой своего духа:

Когда же я в себе самом,
Как в бездне мрачной, погружаюсь,—
Каким волшебным я щитом
От черных дум обороняюсь!
Я слышу дивный арфы звон,
Любимцев муз внимаю пенье,
Огнем небесным оживлен;
Мне льется в душу вдохновенье,
И сердце бьется, дух кипит,
И новый мир мне предстоит.

Он пришел в литературу в ту пору, когда одним из кумиров русских поэтов и читателей был Байрон. Великим английским романтиком был увлечен и Жуковский. Он приносил Козлову произведения Байрона, читал и переводил их другу, не знавшему тогда английского языка

(вскоре Козлов принялся за английский и немецкий и быстро овладел ими). Дружба с Жуковским и увлечение Байроном во многом способствовали пробуждению его творческого духа. И первый литературный труд Козлова был данью Байрону: в 1819 году при поддержке Жуковского он взялся за перевод на французский «Абидосской невесты» (позднее перевел и на русский). Третьим, после Жуковского и Байрона, учителем и кумиром начинающего поэта стал Пушкин. «Когда я собираюсь писать стихи,— признавался Козлов Пушкину,— то читаю моего Байрона, Жуковского и Вас, и с грехом пополам воображение начинает работать, и я принимаюсь петь». Традиции Байрона, Жуковского и Пушкина органически переплелись в творчестве Козлова.

В 1822 году вышла первая романтическая поэма Пушкина «Кавказский пленник». Она глубоко взволновала Козлова: у него появился замысел собственной романтической поэмы, с героем которой читатель должен сопережить «И скорбь души, обманутой мечтами, // И пыл страстей, волнующих сердца». Осень и зиму Козлов увлеченно воплощал этот замысел. Вскоре одна из глав появилась в «Новостях литературы», а затем «Чернец», так назвал поэт свой труд, стал расходиться в списках. В 1825 году поэма с предисловием, написанным Жуковским, впервые увидела свет. Успех «Чернеца» у публики превзошел все ожидания. Поэму приветствовали Вяземский, Баратынский и другие поэты. Сочувственно встретил ее Пушкин. В 1835 году итальянский перевод «Чернеца» вышел в Пизе. Переводчик Боччелла (позднее он перевел для своих соотечественников поэмы Пушкина) писал Козлову: «Ваша слава — всеевропейская, и ей мудрено польстить скромным даром в виде иностранного перевода».

Причины огромного успеха «Чернеца» В. Г. Белинский видел в том, что поэма «полна чувства»: «...страдания чернеца, высказанные прекрасными стихами, дыша-

щими теплотою чувства, пленили публику и возложили миртовый венок на голову слепца-поэта».

Весной 1825 года Козлов послал экземпляр только что вышедшей поэмы Пушкину в Михайловское. Пушкин тотчас отозвался посланием:

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел...

В «Чернеце» прозвучали почти все те основные мотивы, которые стали ведущими в творчестве Козлова: воспоминание утрат, невозвратимость потерянного счастья, желание найти успокоение в религии, в мечтах о загробном блаженстве. Лирика Козлова отразила его личную судьбу, прозвучала исповедью человека, оказавшегося перед лицом несчастья, раскрыла мир души, не сломленной в тяжком испытании. Откликнулась она и на общественные события, волновавшие передовые круги. Козлов, как и многие поэты начала 1820-х годов, приветствовал национально-освободительную борьбу в Греции. Под впечатлением думы Рылеева «Наталья Долгорукова», воспевшей подвиг женщины, которая последовала в ссылку за своим мужем, приближенным Петра I, Козлов написал на тот же сюжет поэму, и, когда жены и невесты декабристов повторили подвиг его героини, он послал им поэму в Сибирь.

Лирические стихотворения Козлова часто являются переводами или подражаниями. И в этом он оказался сродни Жуковскому. Но, как и Жуковский, беря в качестве основы известные литературные образцы, он создавал новые оригинальные произведения. Белинский, подчеркивая самостоятельность творчества Козлова, писал: «...самобытность замечательного таланта Козлова не подлежит ни малейшему сомнению». Однако, справедли-

вости ради, следует отметить, что в небольшом литературном наследии поэта далеко не все равноценно. Так, например, не имели большого успеха у современников упомянутая ранее поэма «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова» и повесть в стихах «Безумная»; Александр Бестужев считал, что в переводах Байрона Козлову не удалось передать в полной мере бунтарский дух великого романтика. Все это, конечно, не умаляет ни в коей мере заслуг поэта.

Ослепший Козлов вынужден был диктовать свои стихи. Сам записывал их редко — строчки ложились вкривь и вкось. Его преданным и терпеливым помощником и секретарем была дочь Саша. Нелегко доводилось ей порой — больной отец бывал раздражителен и резок, порой впадал в апатию и уныние. Все это, однако, не отражалось в его поэзии и оставалось, по-видимому, не замеченным большинством из его многочисленных посетителей, неизменно восторгавшихся твердостью его духа и благородной простотой обхождения.

Круг друзей и знакомых, посещавших Козлова, необычайно широк. Их имена занимают едва ли не большую часть дневниковых записей поэта. Чаще других упоминаются Жуковский, Дельвиг, Лев Пушкин, Гнедич, Плетнев. Поразительны лаконичные и меткие характеристики, рассыпанные в дневнике: «Человек умнейший, каких мало» — это о Грибоедове в записи 3 мая 1825 года, а 12 августа 1830 года записано: «Пришел интересный и любезнейший Тютчев». Кажется, не было поэта, который не побывал бы у Козлова. В записях дневника до декабря 1825 года встречаются фамилии Рылеева, Ф. Глинки, Кюхельбекера (с пометкой: «Этот оригинал»). Его навещали Веневитинов и Туманский, Баратынский и Вяземский, И. А. Крылов, Зинаида Волконская (посвятившая ему свое стихотворение).

Особенно дружны были с Козловым Александра Воейкова, племянница Жуковского, и графиня А. Г. Лаваль.

Во второй половине 1820-х годов у Козлова стал бывать Пушкин, знавший, по-видимому, его еще до ссылки. В 1828 году к поэту приходил Адам Мицкевич. Незадолго перед тем вышли его «Крымские сонеты», и Козлов взялся за их перевод. Ксенофонт Полевой был свидетелем того, как Мицкевич, «сидя у болезненного одра слепого поэта», слушал переведенные им стихи и указывал не совсем точно выраженные места. В следующем году в Петербурге увидела свет книжка «А. Мицкевич. Крымские сонеты. Переводы и подражания Ивана Козлова». Своему петербургскому переводчику польский поэт посвятил поэму «Фарис».

В гостиной Козлова часто звучала музыка. У него играли Глинка, Даргомыжский, Шимановская. Даргомыжский был почти завсегдатаем дома. Иногда он играл в четыре руки с дочерью поэта. Там же пела известная немецкая певица Генриетта Зонтаг, гастролировавшая в 1830 году в Петербурге. Выступали и певицы-любительницы Прасковья Бартенева (ученица Глинки) и Мария Потоцкая.

Что сделало салон Козлова столь популярным? Только ли сочувствие страдальцу-поэту? На эти вопросы ответили сами современники. Так, Николай Полевой писал, что к Козлову приходили «не разделять бремя скорби и болезни, но слушать поэта, говорить с ним, дивиться этому непонятному психологическому явлению». «Говоря с Козловым,— отмечал Полевой,— я забыл, что он слепой, что бремя болезни приковало его к одру страдания. Мы говорили о многом, и обширные сведения Козлова изумили меня. С удивлением слушал я, как читал он мне наизусть стихи Пушкина, Баратынского, множество стихов Байрона, Мура; говорил о поэзии французской, итальянской... Он живет в мире поэзии и воображения». Гости Козлова отдавали дань его мужеству, полноте жизненных сил. Замечательны слова музыкального критика Александра Улыбышева, прозвучавшие в 1825 году со

страниц петербургской газеты «Journal de St.-Petersbourg» (выходила на французском языке): «Сколько зрячих и отменно здоровых людей достойно большего сожаления, нежели наш слепой и парализованный поэт».

Различные обстоятельства (главным образом, вероятно, материальные затруднения) заставляли Козлова не раз менять квартиры. В начале 20-х годов он жил на Исаакиевской площади в доме Бреммера (теперь дом № 3), а в конце того же десятилетия — на Малой Садовой в доме купца Армянинова (дом № 4). Есть сведения, что в 1826 году он квартировал в доме Глазуновой на Садовой (современный адрес не определен), а в 1831-м — на Фонтанке, где-то «через дом от Екатерининского института». С Фонтанки он перебрался в дом купца Жербина (площадь Искусств, участок дома № 2)[1], где, по-видимому, прожил свои последние годы.

В 30-х годах болезнь Козлова стала резко обостряться. Летом 1832 года А. Г. Лаваль сообщала своей дочери, Екатерине Трубецкой, в Сибирь: «У него (Козлова.— *Авт.)* все то же сердце, но талант его понемногу слабеет, здоровье разрушается, он боится, что ему откажут руки...» А осенью 1837 года Жуковский просил Вяземского: «Навести Козлова, он в ужасном положении. Пальцы уже одеревенели и язык начинает неметь. Слух давно ослабел. А душа как будто живет».

19 января 1840 года Козлов продиктовал дочери последнюю дневниковую запись. Следующую она сделала от своего имени: «10 дней болезни: воспаление мозга. 2 раза приобщился святых тайн, благословил своих детей. Во вторник, 30-го января, около 4-х час. после полудня он тихо испустил последний вздох». Отходные молитвы над умиравшим другом читал Жуковский. Поэта погребли в Александро-Невской лавре.

---

[1] *Фокин Н. Н.* Рукопись.

Петр Андреевич Вяземский

В записных книжках Петра Андреевича Вяземского есть любопытная запись: «„Знаете ли вы Вяземского?"— спросил кто-то у графа Головина. «Знаю! Он одевается странно». Поди после, гонись за славой! Будь питомцем Карамзина, другом Жуковского и других ему подобных, пиши стихи, из которых некоторые, по словам Жуковского, могут назваться образцовыми, а тебя будут знать в обществе по какому-нибудь пестрому жилету или широким панталонам!— Но это Головин, скажете вы!— Хорошо! но, по несчастью, общество кипит головиными».

И эти головины видели в молодом Вяземском или известного франта, или потомка старинного княжеского рода, богача, промотавшего после смерти отца полумиллионное состояние. Запись о головиных сделана в 1810-х годах. Едва ли отношение к Вяземскому людей подобной категории изменилось позднее.

А вот что писал о Вяземском Пушкин:

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

Это надпись 1820-го года к портрету Вяземского. Сколько в ней искренней дружеской симпатии! Талант и «возвышенный ум» выдвинули Вяземского на передний край общественной и культурной жизни. В образованной и свободомыслящей части русского общества Вяземского знали как поэта и переводчика, критика и публициста, человека смелого и независимого характера и ума. Среди его ближайших друзей были Пушкин, Жуковский, А. Тургенев, К. Батюшков, И. Дмитриев, Д. Давыдов, Е. Баратынский.

Для властей же Вяземский, несмотря на его старинный княжеский титул, долгие годы оставался фигурой

весьма одиозной. Красноречив тот факт, что когда власти обрушились на «Литературную газету», то Бенкендорф, запугивая Дельвига, обещал отправить его в Сибирь в компании с Пушкиным и Вяземским. Бенкендорф не ошибся, отнеся Вяземского к передовым силам русского общества, сплотившимся в последекабрьские годы.

* * *

Долгая жизнь Вяземского — 86 лет — почти поровну разделилась между двумя столицами. Он родился в Москве в 1792 году и до 38 лет жил в основном там и в подмосковном имении Остафьеве, наезжая довольно часто в Петербург. Постоянным же жителем новой столицы Вяземский стал в 1830 году и оставался им на протяжении чуть ли не полувека. В этом небольшом очерке мы рассмотрим лишь отдельные этапы «петербургской» биографии Вяземского, важные для понимания его личности, его литературной и политической эволюции.

Летом 1805 года тринадцатилетний Петр Вяземский был определен отцом в петербургский Иезуитский пансион. Это популярное тогда учебное заведение располагалось в новом здании, возведенном архитектором Руска для Иезуитского ордена (теперь канал Грибоедова, 8). Под кровом иезуитов Вяземский пробыл полтора года. Живой, восприимчивый, с горячим воображением, он заметно выделялся среди товарищей. О себе он тогда писал: «Я очень люблю изучение некоторых предметов, в особенности поэзии. Я не стараюсь отгадать, подлинное ли я дитя муз или только выкидыш,— как бы то ни было, я сочиняю стихи». А вот его мнение об этих первых стихах в зрелые годы: «Нечего и говорить, что все это было более или менее безграмотно. Но червяк стихотворства уже шевелился во мне». Первые стихи Вяземский написал, вероятно, в 1805 году. Перед читателями он впервые предстал в 1808 году, но поэтом признал се-

бя только в 1816-м, получив долгожданное одобрение Карамзина.

Николай Михайлович Карамзин занимал в те годы особое место в жизни Вяземского. В 15 лет он остался сиротой, и Карамзин, женатый на его сводной сестре, стал его опекуном и старшим другом. В его лице Вяземский обрел также учителя и строгого судью своих творений, судью требовательного и беспристрастного, наставлявшего его: «Берегитесь, нет никого жалче и смешнее худого писачки и рифмоплета». В начале 1816 года Вяземский сопровождал Карамзина в поездке в Петербург. Николай Михайлович вез для представления императору свой многолетний труд — первые восемь томов «Истории государства Российского». В столице они поселились у давней знакомой Карамзина Е. Ф. Муравьевой, вдовы известного писателя, матери будущих декабристов Никиты и Александра Муравьевых. Трехэтажный дом Муравьевых находился недалеко от Невского проспекта на Фонтанке (теперь дом № 25). Гостям отвели комнаты в верхнем этаже, где вскоре стали собираться знакомые и друзья послушать страницы «Истории». Успех был огромный! Столичные литераторы, просвещенная публика поздравляли Карамзина. В его честь устраивали вечера. Один из них состоялся у Александра Ивановича Тургенева, образованнейшего человека, друга многих писателей, занимавшего видный пост в министерстве народного просвещения и духовных дел. Он жил в доме министерства на Фонтанке (дом № 20), в верхнем этаже. В 1816 году у него поселился младший брат Николай, видный ученый-экономист, смолоду решивший посвятить себя борьбе против крепостничества. Эта решимость привела Николая Тургенева в стан декабристов. Вяземский был знаком и дружен с братьями, особенно с Александром, с детства, вел переписку и, приезжая в Петербург, непременно бывал у них на Фонтанке, где встречал много замечательных людей.

На вечере в честь Карамзина присутствовали Крылов, Жуковский, живший в это время у А. Тургенева, и другие писатели. По просьбе хозяина и Вяземский прочел собравшимся несколько новых стихотворений. Карамзин, слушавший очень внимательно, громко сказал: «Теперь уже не буду отклонять вас от стихотворства. Пишите с богом». Растроганный и обрадованный, Вяземский еще более возликовал, когда Иван Андреевич Крылов попросил его повторить какое-то особенно понравившееся стихотворение.

И словно в ознаменование утверждения Вяземского в мире поэзии, вскоре произошли две памятные и знаменательные для него встречи — с Державиным и Пушкиным. Державина Вяземский посетил вместе с Жуковским и Карамзиным в его особняке на Фонтанке (ныне дом № 118). А в двадцати с лишним верстах от него, в Царском Селе, находился юный Пушкин, которого Державин уже назвал своим преемником. 25 марта 1816 года Вяземский с друзьями посетил Лицей. Он давно мечтал повидать царскосельского стихотворца, о котором еще в начале 1815 года писал Батюшкову: «Дай бог ему здоровия и учения, и в нем будет прок и горе нам. Задавит, канальяǃ»

Они сразу оказались в одном литературном лагере — «арзамасском». Находясь безотлучно в Лицее, Пушкин завидовал Вяземскому, который участвовал в заседаниях «Арзамаса» и имел удовольствие «погребать покойную Академию и Беседу губителей российского слова». Под последней подразумевалась «Беседа любителей русского слова», для борьбы с которой Вяземский предлагал создать общество еще за два года до появления «Арзамаса». Когда же возник «Арзамас», он, москвич, заочно присоединился к столичному обществу и наконец в феврале 1816 года, прибыв в Петербург с Карамзиным, впервые побывал на заседании «Арзамаса». По традиции во вступительной речи требовалось «отпеть» кого-либо из

литературных врагов. Вяземский выбрал П. И. Голенищева-Кутузова, автора од и переводов древних, куратора Московского университета, известного своими реакционными настроениями. Речь Вяземского заканчивалась эпиграммой: «Дурной он куратор, // Дурной он сенатор, //Дурной он поэт». Московская молодежь быстро подхватила эпиграмму и скандировала ее, встречая карету Кутузова.

Блестящее остроумие и язвительность сделали Вяземского грозой литературных ретроградов. «Арзамасец» Ф. Ф. Вигель вспоминал: «Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа, любовию же к нему возбуждаемого. А впрочем, что за беда? Дитя молодое, пусть еще тешится; а дитя куда тяжел был на руку. Как Иван-царевич, бывало, князь Петр Андреевич кого за руку — рука прочь, кого за голову — голова прочь». Недаром в арзамасском собрании Вяземский получил прозвище Асмодей (злой дух, бес).

Посещение Петербурга в феврале — марте 1816 года оказалось важным и памятным для Вяземского. Одобрение его стихов Карамзиным и Крыловым, встреча с Державиным и начало знакомства с Пушкиным, участие в арзамасских баталиях — все укрепило его решимость активно действовать на избранном поприще.

С 1817 года Вяземский служил в Варшаве, в канцелярии Новосильцева, полномочного делегата при правительствующем совете Царства Польского. Здесь кипела необычная работа — втайне подготавливался проект конституции. Вяземскому такая работа была и по душе, и по плечу. Воспитанный на традициях французского Просвещения, зараженный «вольтерианским» духом, он критически относился ко многим явлениям русской действительности. Поэтому, когда в марте 1818 года при открытии первого польского сейма в Варшаве Александр I произнес либеральную речь, Вяземский воспринял ее с

воодушевлением. Обещание императора «даровать благотворное конституционное правление всем народам» произвело впечатление не на одного Вяземского.

Из Варшавы Вяземский часто наезжал в Петербург. И вот однажды, летом 1819 года, Александр I принял его по делам службы в Каменноостровском дворце. С полчаса продолжалась беседа. Император расспрашивал о Польше, о службе. Зашла речь и о конституционном проекте, и Александр I высказал желание вскоре его осуществить. В искренность императора хотелось верить, но Вяземский помнил, как бесславно закончились его «либеральные» порывы в первые годы царствования, когда в том же дворце на Каменном острове Негласный, или Интимный, комитет во главе со Сперанским разрабатывал проекты реформ. Вскоре Сперанский попал в опалу, а проекты развеялись как дым. Теперь император снова говорил об освобождении крестьян и о конституционных основах, но во все это мало верилось на фоне аракчеевщины.

А в 1820 году Александр I отверг предложение нескольких дворян (среди них был и Вяземский) о создании общества, которое занялось бы вопросом раскрепощения крестьян. Речь Александра I при открытии второго польского сейма и его участие в конгрессе в Троппау, посвященном подавлению революционных движений в Европе, окончательно развеяли надежды на либеральные преобразования в России. К началу 20-х годов Вяземский все резче стал осуждать как российские порядки, так и самого властителя. Разочарованием, порой переходящим в возмущение, проникнуты его мысли в записных книжках и письмах друзьям.

Из записной книжки: «Кажется, Полетика сказал: в России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение». Из писем А. Тургеневу: «Нас морочат, и только; великодушных намерений на дне сердца нет ни на грош. Хоть сто лет он живи, царствование его кончится парадом, и только».

В конце 1820 года Вяземский прислал Тургеневу стихотворение «Негодование»:

Мой Аполлон — негодованье!
При пламени его с свободных уст моих
Падет бесчестное молчанье
И загорится смелый стих.
. . . .
Здесь у подножья алтаря,
Там у престола в вышнем сане
Я вижу подданных царя,
Но где ж отечества граждане?
Для вас отечество — дворец,
Слепые властолюбья слуги!
Уступки совести — заслуги!
Взор власти — всех заслуг венец!
. . . .
Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед, вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы!
Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!

Какие раскаленные строки! Когда Александр Тургенев поручил одному из своих подчиненных переписать их, тот спустя некоторое время вернулся в испуге: «Дрожь берет при одном чтении, не угодно ли вам поручить писать другому?» Слух о «Негодовании» быстро распространился в передовых кругах. К Тургеневу специально приезжали послушать стихотворение.

«Негодованием» и смелыми высказываниями в письмах Вяземский словно бросал вызов властям. Подозревая, что его письма вскрываются, он писал Тургеневу: «Пусть правда доходит до ушей, только бы не совсем пропадала в пустынном воздухе». Дерзость поэта вызвала недовольство и раздражение в правительственных кругах. Было решено приструнить его. В апреле 1821 года, когда Вяземский находился в Петербурге, он неожиданно получил сообщение, что от дальнейшей службы при

Новосильцеве отстранен. Ему даже не позволили вернуться в Варшаву за семьей. Но эти меры нисколько не охладили кипевшего в Вяземском негодования. Напротив, он не преминул усугубить разрыв с властями, дерзко потребовав сложить с него придворное звание камер-юнкера, на деле подтверждая слова, написанные перед тем Тургеневу: «Не только словом и делом, но и молчанием, и бездействием потакать не хочу ненавистному ходу вещей и в списке ливреи быть гнушаюсь».

Вольнолюбие определило и литературную позицию Вяземского. Когда на рубеже 20-х годов в России заспорили о романтизме, он, несмотря на свое рационалистическое воспитание, стал его защитником. Он ценил в романтизме идею свободной личности, поиски новых форм искусства, стремление к развитию национального начала. С пропагандой своих воззрений он выступил в статьях о романтических поэмах Пушкина.

Романтическое мироощущение отразилось и в поэзии Вяземского, в частности, в одной из самых известных его элегий «Первый снег» (1819). «Роскошным слогом», как отметил Пушкин, Вяземский передал радостное ощущение первого «праздника зимы» — только что выпавшего снега:

> Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость!
> . . . .
> Кто может выразить счастливцев упоенье?
> Как вьюга легкая, их окриленный бег
> Браздами ровными прорезывает снег
> И, ярким облаком с земли его взвевая,
> Сребристой пылию окидывает их.
> Стеснилось время им в один крылатый миг.
> По жизни так скользит горячность молодая,
> И жить торопится, и чувствовать спешит!

Вяземский признавался, что влюблен в эти стихи. «Тут есть русская краска»,— говорил он. Национальный колорит — быт и пейзаж — в сознании поэта-романтика

определял особенности характера человека: северянин здоров нравственно и физически, он чист в своих помыслах и радостно воспринимает жизнь.

«Первый снег» с восторгом встретили современники Вяземского. Пушкин помнил его наизусть и последнюю строку приведенного отрывка взял эпиграфом к первой главе «Онегина».

Стихи Вяземского в 20-х годах появлялись в различных столичных изданиях. Охотно печатали их Рылеев и Бестужев. «Давайте нам сатиры, сатиры и сатиры»,— призывал Вяземского Рылеев. Меткие, хлесткие и язвительные строки запоминались читателям, а некоторые входили в речь как пословицы. Например, «И вольнодумец тот, кто смеет рассуждать» или «Но истины язык не внятен для ушей»— из «Послания к И. И. Дмитриеву», напечатанного в «Полярной звезде».

Присматриваясь к Вяземскому, руководители Северного общества задумали вовлечь его в свою организацию. Но в ходе «испытательных» бесед выяснились разногласия. Несмотря на разочарование в Александре I, Вяземский все же оставался сторонником идеи просвещенного монархического правления. Это сближало его с умеренно настроенным декабристским крылом. Но он категорически отвергал идею заговора и насильственных действий. Существовали и другие, более частные расхождения, было, вероятно, и сомнение в возможности вообще что-либо изменить в России в ближайшие годы. Но непоколебимым оставалось негодование Вяземского, пробужденное сложившимися в России общественными порядками. В отношении к ним он, отказавшийся от революционного пути, оставался непримиримым оппозиционером.

В 1828 году в «Северных цветах» появилось стихотворение Вяземского «Море». Поэт говорил в нем, что земля для него осквернена навеки и лишь морские волны — «стаи гордых лебедей»— еще могут возбуждать в нем вдохновение. Посылая стихотворение Пушкину, Вязем-

ский писал: «...я пою или визжу сгоряча, потому что на сердце тоска и смерть, частное и общее горе». Что осквернило землю? Что заставило Вяземского написать такое стихотворение? И что значит его приписка, адресованная Пушкину? «Тоску и смерть» вызвало известие о казни декабристов, заставшее Вяземского на ревельских купаниях летом 1826 года. Там написано «Море», а два года спустя, весной 1828 года, находясь в Петербурге, Вяземский вместе с Пушкиным посетил место казни.

В тот весенний день на Неве шел лед и мосты были сняты. По случаю церковного праздника множество людей на лодках, яликах и катерах переправлялось через реку к крепости. Добравшись до острова, друзья присоединились к крестному ходу, шедшему по крепостным стенам. «Много странного и мрачно- и грозно-поэтического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах»,— писал Вяземский в тот же день жене. И конечно, они не могли не вспомнить о своих товарищах и знакомых, томившихся в этих казематах совсем недавно. Воспоминание привело их на кронверк крепости, где свершилась казнь. На «лобном» месте подняли они на память пять мелких щепок. Дома Вяземский положил их в шкатулку и надписал: «Праздник преполовения за Невой. Прогулка с Пушкиным 1828 года». Пять древесных обломков, напоминание о пятерых повешенных, он хранил так же бережно, как хранят семейные реликвии.

Тогда же в Петербурге Вяземский подал просьбу об определении на гражданскую службу при главной квартире 2-й армии, воевавшей с Турцией. Николай I отказал ему по той причине, что «все места в оной заняты». «Можно подумать,— писал Вяземский,— что я просил командования каким-нибудь отрядом, корпусом или по крайней мере дивизиею...» Для Вяземского новый царь — палач, а его окружение —«паемная сволочь». Для Николая I Вяземский — личность, не внушающая доверия.

Отсутствие имени его в списках мятежников служило для Николая лишь доказательством того, что он «был умнее и осторожнее других». Свое мнение Николай составлял, в частности, по доносам. В одном из них говорилось: «Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе «Негодование», служившей катехизисом заговорщиков, которые чуждались его единственно по бесхарактерности и непомерной склонности к игре и крепким напиткам». Намек на якобы дурную нравственность был развит в другом доносе.

Посещение Петербурга весной 1828 года оставило тяжелый осадок в душе Вяземского. Уезжая, он писал:

...Я Петербурга не люблю,
Здесь жизнь на вахтпарад похожа,
И жизнь натянута, как кожа
На барабане.

В том же году Вяземский создал одно из самых острых в его творчестве сатирических произведений — стихотворение «Русский бог»:

Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.
. . . .
Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он русский бог.

К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог...

Вновь Вяземский вернулся в столицу в последний день февраля 1830 года. Он не собирался перебираться сюда из Москвы навсегда, но случилось так, что с этого дня Петербург стал местом его постоянного проживания.

Остановился он у Карамзиных, переехавших в столицу и занимавших квартиру в доме Мижуева на Моховой. Купец первой гильдии Корнил Мижуев еще в начале XIX века приобрел и застроил большой участок, выходивший с одной стороны на Фонтанку (теперь дом № 26), с другой — на Моховую (дом № 41). Парадный фасад дома со стороны Фонтанки, украшенный шестью полуколоннами и фронтоном, был выполнен по проекту Андреяна Захарова, прославившего позднее свое имя перестройкой Адмиралтейства. Этот фасад мало изменился с тех пор; дом же, выходящий на Моховую, приобрел другой облик после перестройки в 1864 году. Мижуев как будто нарочно подбирал жильцов необычных. В 1810-х годах у него поселился генерал-губернатор Западной Сибири И. Б. Пестель, отец будущего декабриста. Из стен столичной квартиры он умудрялся деспотически управлять Сибирью. По Петербургу тогда ходила острая сатира Вяземского — ноэль «Спасителя рожденьем...», в котором в уста сибирского губернатора вложены хвастливые слова:

Что правит бог с небес землей —
ни в грош не ставлю;
Диви, пожалуй, он глупцов,
Сибирь и сам с Невы брегов
И правлю я, и граблю!

Павел Пестель бывал в ту пору у своих родителей в доме на Фонтанке.

В том же доме в 1813 году родился Владимир Александрович Соллогуб, будущий писатель и мемуарист, чьи первые литературные успехи отметил Пушкин. В доме Мижуева со стороны Моховой в 20—30-х годах жила дочь Кутузова, друг Пушкина и Вяземского Е. М. Хитрово. В квартире этой образованной женщины, сведущей в вопросах культурной и политической жизни России и Европы, бывали многие литературные знаменитости. Владимир Соллогуб, посещавший Хитрово в мо-

лодости, вспоминал: «Самой оживленной, самой «эклектической», чтобы выразиться модным словом, петербургской гостиной была гостиная Елисаветы Михайловны Хитрово...»

В 1823 году к Мижуеву переехали Карамзины. Они поселились в доме со стороны Моховой. Один из восторженных поклонников Карамзина записал в своем дневнике, что, найдя дом, где живет историк, с трепетом смотрел на его окна: «Заглянул к верху — и сердце у меня забилось: вот где он пишет свою Русскую историю». В доме Мижуева Карамзин работал над 12-м томом «Истории государства Российского», но закончить его не успел. В начале 1826 года врачи признали у него чахотку, и родные решили везти его для лечения в Италию. Временно Николая Михайловича перевезли в Таврический дворец (ныне улица Воинова, 47). Там 22 мая 1826 года Карамзин умер. Семья покойного историографа вернулась в дом на Моховой и оставалась там до лета 1832 года.

Салон Карамзиных и после смерти писателя, по словам того же Соллогуба, считался одним из «самых остроумных и ученых», в нем «царствовал элемент чисто литературный, хотя и бывало также много людей светских. Все, что было известного и талантливого в столице, каждый вечер собиралось у Карамзиных...»

Приехав в Петербург в 1830 году, Вяземский, как всегда, поселился у своих близких — Карамзиных. На этот раз его привело в столицу дело, на первый взгляд неожиданное — он приехал «мириться» с властями.

Потрясенное 1825 годом передовое дворянство искало легальный путь борьбы за прогрессивные государственные преобразования. В первые годы николаевского царствования это казалось возможным, так как Николай I поддерживал иллюзию, будто и сам он является сторонником и даже инициатором реформ. Укрепить царя в «благих» намерениях, направить в соответствующее русло его деятельность и тем самым по-своему продолжить дело

декабристов — вот задача, которую ставили перед собой передовые писатели и мыслители. И как ни велик был скептицизм Вяземского относительно успеха этой миссии, иного выхода он не видел. Вот почему он принял решение «примириться» с властями, поступить на государственную службу, перебраться в Петербург, хотя ему очень нелегко было протянуть руку палачу декабристов.

«Примирение» началось с «Исповеди», посланной царю. Сдержанно, рассудительно, с достоинством поэт говорил в ней о себе. То, что он оказался в «ряду противников» правительства, Вяземский объяснил непоследовательностью правительственного курса Александра I, который отказался от своих либеральных заявлений и намерений. Отстаивая независимость мнений, Вяземский подчеркнул, что правительству следовало бы принимать с благодарностью его смелые высказывания в перехваченных письмах, так как из них можно было извлечь больше пользы, чем из сплетен и доносов, приносимых мелкими прислужниками власти. С негодованием отверг Вяземский выдвинутые против него обвинения в безнравственном образе жизни. Он отметил, что в доносах видит лишь «одно гнусное беспокойство некоторых журналистов, коих позорная деятельность бесчестит русскую литературу и русское общество». Кого он имел в виду, догадаться нетрудно. В заключение он предложил себя — образованного, бескорыстного, твердого в убеждениях — для использования на каком-нибудь служебном поприще, где он мог бы принести максимум пользы.

Николай не сразу принял новоявленного «блудного сына». Он потребовал от него «покаянного» письма к своему брату Константину Павловичу. Вяземский никак не мог понять, за что именно он должен извиняться перед Константином, и написал письмо в самых общих выражениях. После этого ему пришлось писать еще раз самому Николаю.

Вскоре после «покаянных» письменных изъяснений Вяземского вызвал к себе Бенкендорф и объявил, что царь прощает его и «обеими руками» принимает на службу. Оставался открытым весьма важный вопрос — на какую службу. Д. В. Дашков, бывший «арзамасец», занявший в 1826 году должность товарища министра внутренних дел, хлопотал об определении Вяземского «по юридической части». Однако Николай I принял неожиданное решение — определить Вяземского чиновником по особым поручениям в... министерство финансов. Николай словно посмеивался над ним, давая понять, что прошлое сразу перечеркнуть нельзя. К «тарабарской грамоте», как Вяземский называл финансовое делопроизводство, Николай приковал его «роковыми кандалами» на долгие годы. Единственное утешение Вяземский находил в мысли, что подчинен общему порядку в России — «ставить человека с ног на голову».

Первое время он воспринимал службу особенно болезненно. 3 июня 1830 года Вяземский записал: «Вчера утром в департаменте читал проекты положения маклерам. Если я мог бы со стороны увидеть себя в этой зале, одного за столом, читающего чего не понимаю и понимать не хочу, куда показался бы я себе смешным и жалким. Но это называется служба, быть порядочным человеком. полезным отечеству, а пуще всего верным верноподданным». Но к счастью, за пределами департамента существовала другая жизнь, разнообразная и увлекательная. Он то спешил к Жуковскому на литературный вечер «слушать новые басни Крылова и смотреть, как он ест поросенка», то гулял с Дельвигом в Екатерингофе, то устраивал «гомерическое пиршество» — обедал с Гнедичем. Неприятность, приключившаяся с Вяземским, — лихой извозчик вывалил его на Каменноостровском мосту и Вяземский ушиб ногу, после чего несколько дней безвыездно провел дома, — лишний раз напомнила ему, сколько у него верных и заботливых друзей в Петер-

бурге. Его навещали Лев Пушкин и его отец, Дельвиг, Гнедич, графиня Лаваль, Оленин, ежедневно соседка Хитрово и другие. Даже неоднократно высмеянный Вяземским бездарный поэт Д. И. Хвостов собрался к своему врагу с визитом, огорченный его несчастьем. Льву Пушкину Хвостов объяснял: «Князь Вяземский писал на меня много эпиграмм, но это ничего общего с ногою его не имеет, и я очень жалею о случившемся с ним».

Вяземский не был одинок в Петербурге, не имел оснований жаловаться на скуку, и тем не менее столица во многом оставалась ему чужда. Вынужденный из-за службы жить в Петербурге, он не спешил вызывать из Москвы семью: не был уверен, что задержится на службе, что вообще сможет свыкнуться со столицей, надеялся, что со временем подыщет какое-нибудь подходящее место в Москве. Чем же отталкивал его Петербург? Не он ли посвятил этому городу восторженные строки:

Я вижу град Петров чудесный, величавый,
По манию Петра воздвигшийся из блат,
Наследный памятник его могущей славы,
Потомками его украшенный стократ!

И поэтическая красота Северной Пальмиры не оставила его равнодушным:

Я Петербург люблю, с его красою стройной,
С блестящим поясом роскошных островов,
С прозрачной ночью — дня соперницей беззнойной,
И с свежей зеленью младых его садов

Но к этим строкам своеобразным примечанием могут служить мысли Вяземского, высказанные в одном из писем. Говоря о красоте Каменного и соседних островов, где в летнее время жила царская фамилия и петербургская знать, Вяземский отмечал: «Вид... прелестный: панорама зелени, воды и красивых зданий. Точно искусно написанная декорация, но и только: в кулисы не входи... Все это

поддельное, смазанное, природы ни на грош». Великосветское общество, живущее среди роскошных петербургских «декораций», в последекабристскую эпоху стало еще более угодливо-покорным, беспринципным, превращаясь в послушную, безликую толпу. «Я всегда нахожу,— писал Вяземский,— что петербургское общество подернуто каким-то туманом или паром, в котором лица зыблются». Впрочем, некоторые лица в придворных кругах различались четко: Вяземский находил тут и «глупорожих», и «плуторожих», и «куклорожих». Наблюдения петербургского света, как всегда у него, язвительны и умны. Лицемерие, укоренившееся здесь, вызвало в его памяти слова И. А. Крылова: «Сосед соседа звал откушать, // Но умысел другой тут был». После гуляний на Крестовском острове он записал: «Петербургские гуляния напоминают Елисейские поля (но, вероятно, не парижские): точно тени бродят. Не видать движения, не слыхать звука. Это называется общественным порядком». Итоговое впечатление от столичного общества: от него веет таким холодом, что для сближения с ним необходимо сначала «остынуть», потом «оледенеть».

Долгое время Петербург оставался для него торжествующим символом российских порядков, против которых выступили декабристы, порядков, с которыми и сам он не мог смириться. Единственным его оружием было перо — перо критика, поэта, публициста. Но для его действенного применения нужна была трибуна — газета или журнал передового направления. Такой трибуной в 1826—1827 годах был для Вяземского журнал «Московский телеграф», а в 1830 году — «Литературная газета». Продолжая традиции передовой русской журналистики, Вяземский ратовал за гражданственность литературы, пропагандировал сатирические жанры, боролся с официозным направлением в литературе.

Весной 1830 года он близко сошелся с Дельвигом и стал много сил отдавать «Литературной газете». Жене в

Москву он писал тогда же: «Скажи ему (Пушкину.— *Авт.)*, чтобы он прислал что-нибудь в газету, которая что-то чахнет. В Петербурге нет возможности издавать хорошую газету. Нет времени, целый день, целую жизнь проводишь, как на станции: все торопишься, все смотришь далее. Я еще не нашел ни одного человека, который бы расположился: все это будто пока, в ожидании чего-то. Хорошо здесь выдавать газету, как Булгарин. Переливать из пустого в порожнее и только когда с сердцов вылить урыльник кому-нибудь на голову. Что слышно о Баратынском? Пушкину надобно написать к нему и заставить его непременно работать прозою для газеты. Нужно нам поддержать ее плечами нашими». На свои плечи Вяземский принимал заботу по газете, что усилило неприязнь к нему в стане ее врагов. «Булгарин уже мне не кланяется,— сообщал он жене.— Это у меня как гора с плеч свалилась».

Активно участвовал Вяземский и в «Северных цветах», лучшем, по его мнению, альманахе. В каждом выпуске «Северных цветов» появлялись его произведения. Среди них были и такие, в которых отразилась литературная и политическая борьба. Вот, например:

Устроив флюгер из пера,
Иной так пишет, как подует:
У тех, на коих врал вчера,
Сегодня ножки он целует.
Флюгарин иль Фиглярин, тот
Набил уж руку в этом деле;
Он и семь совестей сочтет,
Да и семь пятниц на неделе.

Без особого труда догадывались читатели, что речь идет о Булгарине. Важно и то, что эти стихи были напечатаны в альманахе, вышедшем в 1826 году, когда Булгарин из последователей разгромленной передовой молодежи спешно записался в «смиренные верноподданные». Дельвиг сообщал Вяземскому после выхода аль-

манаха: «Булгарин очень смешон, ему хочется показать, что он не совсем понял *семь пятниц на неделе,* и скрепя сердце хвалит их».

По инициативе Вяземского Дельвиг анонимно печатал в своих изданиях присланные из Сибири стихи Александра Одоевского. Через посредство Вяземского же «Литературная газета» попадала в Сибирь: он высылал газету жене, а та отправляла ее в Читу княгине М. Волконской. Один экземпляр Вяземский посылал в Париж, где жил в эмиграции Николай Тургенев.

О репрессиях, обрушившихся на «Литературную газету», и о смерти Дельвига Вяземский узнал в Москве, где находился в то время по делам службы.

«Да, сердечно жаль Дельвига,— писал он Плетневу.— Это уже из нашего десятка рубят. Охотно буду в уважение памяти его продолжать участвовать в „Литературной газете"». Но когда Вяземский вернулся в Петербург, газета уже перестала выходить.

Он снова приехал без семьи. Все еще думал, что столица — его временное пристанище. Незадолго перед его приездом в Петербурге поселился недавно женившийся Пушкин. В общении с ним Вяземский всегда находил живительный источник творческих, духовных сил. Пушкин же высоко ценил «опытное и живое перо» друга. Это не мешало им нередко расходиться во мнениях. Вяземский вспоминал: «...и спорили мы до упаду, до охриплости об Озерове, Дмитриеве, Батюшкове и о многом прочем и прочем». Вяземский очень высоко ставил драматурга В. А. Озерова, считая его новатором в области русской трагедии. Возносил он и творчество своего старшего друга И. И. Дмитриева. Озерову и Дмитриеву он посвятил обширные историко-критические работы. В спорах с Вяземским Пушкину приходилось защищать Крылова, Катенина. Между прочим, в полемике проявлялось некоторое сходство Вяземского с Катениным — узость позиции, неуступчивость. В этих спорах, по выражению современ-

ного исследователя, «слышится сшибка мнений двух крупных индивидуальностей», связанных «взыскательной дружбой гения и таланта, двух ярких, остроумных и независимо мыслящих людей».

После прекращения «Литературной газеты» Пушкин и его друзья не раз обсуждали вопрос о новой литературной трибуне. Об одном из таких обсуждений, происходившем у Вяземского на Моховой, вспоминал его сын Павел: «Семейство наше переехало в Петербург в октябре 1832 года. Я живо помню прощальный литературный вечер отца моего... на квартире в доме Мижуева у Симеоновского моста. В этот вечер происходил самый оживленный разговор о необходимости положить предел монополии Булгарина и Греча и защитить честь русской литературы...»

Итак, к осени 1832 года Вяземский свыкся с мыслью о жизни в Петербурге и вызвал к себе семью. В доме Мижуева был устроен прощальный вечер, после чего Вяземские переехали на Гагаринскую набережную в бельэтаж дома Баташова (набережная Кутузова, 32). Место понравилось Вяземскому: под окнами величественная Нева, за ней Петербургская сторона, рядом Летний сад. Квартира была просторной и удобной. Все то время, что Петр Андреевич жил в столице один, он скучал по семье, почти каждый день писал в Москву. Семья была относительно невелика: жена, сын и три дочери. Но четверых сыновей он уже похоронил. На его долю выпал тяжкий жребий — в последующие годы умерли и дочери. Только сын Павел пережил отца. Супруги же оказались наделены завидным долголетием: Петр Андреевич, как уже говорилось, прожил 86 лет, а Вера Федоровна — 95.

Устроившись на Гагаринской, Вяземские стали принимать многочисленных знакомых. В. А. Соллогуб рассказывал позднее, что Вяземский «имел слабость принимать у себя всех и каждого», так что вечера приобретали характер «толкучего рынка»: рядом с любимцем царя са-

новником А. Ф. Орловым могла восседать какая-нибудь мелкопоместная барыня из Сызранского уезда в допотопном чепце, а подле какой-нибудь известной красавицы увивался никому не знакомый провинциал с внешностью торговца.

В центре внимания гостей бывал не только сам хозяин — занимательный рассказчик и блестящий остроумец,— но и живая, энергичная Вера Федоровна, разговор которой всегда искрился умом. Рядом с высоким, плотного сложения мужем она казалась миниатюрной. Движения ее, по словам современника, были грациозны, взгляд — пронзителен. Одним из самых близких гостей для нее всегда оставался Пушкин, с которым ее связывали давние теплые отношения, преисполненные душевной близости.

В 1834 году Вяземские предприняли путешествие за границу, а их квартиру на набережной занял со своим семейством Пушкин. Квартира была дорога, поэтому Пушкины через некоторое время перебрались в более дешевый верхний этаж. Здесь в 1836 году Пушкин приступил к изданию давно задуманного журнала, который назвал «Современник» (название восходит к одному из журнальных замыслов Вяземского). Вернувшись из-за границы, Вяземский с готовностью подключился к работе в журнале. Вскоре в «Современнике» стали появляться его статьи. К этому времени Петр Андреевич переехал в дом купца Жербина (ныне участок дома № 2 на площади Искусств)[1], но жил там недолго. Осенью 1836 года Вяземские поселились в доме вице-адмиральши Быченской на Моховой улице (теперь дом № 32). «Современник» оказался последним журналом, в котором Петр Андреевич принимал активное участие.

Вечером 26 января 1837 года к Вяземским на Моховую зашел Пушкин. Он не застал Петра Андреевича и,

---

[1] *Фокин Н. Н.* Рукопись.

поговорив с его женой, вскоре ушел. Его состояние, слова, им сказанные, испугали Веру Федоровну. Пушкин признался, что считает свое положение невыносимым и будет драться с Дантесом. Когда в тот же вечер к Вяземским заглянули В. А. Перовский и М. Ю. Виельгорский, Вера Федоровна рассказала им о визите Пушкина. Втроем просидели они допоздна в ожидании Вяземского, чтобы все обсудить и принять при возможности меры. Однако тот вернулся слишком поздно — друзья уехали, так и не дождавшись его. Назавтра вечером Наталья Николаевна сообщила Вяземским о случившемся... Два следующих дня Вяземские были среди ближайших друзей поэта, безотлучно находившихся рядом с ним в доме на Мойке.

К сожалению, Вяземский не сумел вовремя глубоко вникнуть в положение Пушкина и верно оценить его поведение в обстоятельствах, приведших к дуэли. К нему, в частности, относится справедливый упрек Анны Ахматовой, писавшей о последних месяцах жизни Пушкина: «Как бесконечно одинок был Пушкин все это время, до какой степени вялым и неудачным было поведение друзей...» Смерть Пушкина заставила Вяземского на многое посмотреть другими глазами. Не только опустошенность и горечь, но и раскаяние невыносимой тяжестью легли на душу. «Скорбь моя превыше сил моих»,— писал он в стихотворении на смерть Пушкина.

В гроб Пушкина Вяземский и Жуковский положили свои перчатки — в знак дружбы. Всю жизнь Петр Андреевич хранил как бесценные реликвии вещи поэта — письменный стол, жилет, трость и другие. Они находятся теперь в пушкинской квартире-музее на Мойке, 12. В 1841 году Вяземский посетил могилу Пушкина в Святых Горах в Псковской губернии.

Вскоре после смерти Пушкина Вяземский, будто подводя итоги и собственной жизни, писал:

Мой горизонт и сумрачен, и близок,
И с каждым днем все ближе и темней.
Усталых дум моих полет стал низок,
И мир души безлюдней и бедней.
Не заношусь вперед мечтою жадной,
Надежды глас замолк,— и на пути,
Протоптанном действительностью хладной,
Уж новых мне следов не провести.
. . . .
Во мне найдешь, быть может, след вчерашний,—
Но ничего уж завтрашнего нет...

После смерти Пушкина дворянский круг писателей его поколения еще быстрее стал терять свое былое господствующее положение. В литературной и общественной жизни ведущие позиции занимали представители разночинной интеллигенции. Не признавая новую, нарождавшуюся оппозицию, Вяземский продолжал еще долгие годы сохранять свою скрытую неприязнь к Николаю I и неприятие введенных им порядков. Но протест против вольнодумцев нового толка привел его в конце концов в лагерь консерваторов, и тогда — в 1848 году — появились его стихотворение «Святая Русь»— во славу самодержавия и консервативная по духу записка «О цензуре». В декабре 1848 года Николай I наградил его орденом святого Станислава 1-й степени.

...День 2 марта 1861 года начался у Вяземского необычно. Утром к нему в комнату вошла маленькая «делегация»— его внучата. Нестройным хором они обратились к деду со стихами:

К дедушке Петру
Мы сегодня поутру
С поздравлением пришли
И гостинец принесли.
Ходит слух, что Ты в полвека
Много песен написал
И что нету человека,
Кто б так женщин обожал.
За любовь родного слова
В Академии наук

Празднество тебе готово —
И речей там будет пук...

Тут же слуги стали вносить красочные букеты цветов, присланные Вяземскому. А в середине дня в дом на Литейном, где он жил (вблизи нынешней больницы имени Куйбышева, адрес не определен), прибыли представители Академии наук П. А. Плетнев и К. С. Веселовский. Они торжественно пригласили Петра Андреевича проехать с ними в Академию, где уже собралась многочисленная публика по случаю 50-летнего юбилея его литературной деятельности. Юбилей праздновался «задним числом», так как 50-летие первого выступления Вяземского в печати исполнилось еще осенью 1858 года. Но тогда Вяземский был за границей и чествование отложили.

В действительные члены Российской академии Вяземского избрали еще в 1839 году. А через два года Российская Академия вошла в состав Академии наук как ее второе отделение (или отделение русского языка и словесности). Собрания «второго отделения» с тех пор проходили в здании Академии, построенном в конце XVIII века архитектором Дж. Кваренги на берегу Большой Невы (Университетская набережная, 5). Здесь, в Большом зале, 2 марта 1861 года был устроен торжественный обед. Рядом с праздничным столом размещались музыканты, а на эстраде, убранной цветами и растениями,— дамы.

Около пятидесяти человек присутствовало на торжестве. Многих Вяземский знал уже не один десяток лет. Среди них — А. В. Никитенко, А. X. Востоков, М. А. Погодин, М. Ю. Виельгорский, В. Ф. Одоевский, Д. Н. Блудов, С. Д. Полторацкий, А. В. Веневитинов (брат поэта), Н. И. Греч, М. А. Корф, А. М. Горчаков, В. А. Соллогуб... Более молодое поколение представляли А. Майков, И. Гончаров, Я. Полонский, Н. Щербина. Тут же были Я. К. Грот, В. Г. Бенедиктов, сын Баратынского Л. Е. Баратынский.

Бывший «арзамасец», президент Академии Блудов открыл праздник объявлением о пожаловании 68-летнего юбиляра в гофмейстеры двора с назначением состоять при императрице. Много добрых слов прозвучало в выступлениях Плетнева, Погодина, Грота и других. Плетнев закончил речь стихами Тютчева, Федор Иванович специально написал их к юбилею своего старинного друга (они сблизились с Вяземским в 40-х годах). Читали свои стихи юбиляру Бенедиктов, Щербина, Б. Федоров. Петербургские дамы поднесли виновнику торжества памятный адрес. Среди других в нем расписались вдова Пушкина Н. Н. Ланская, жена В. Ф. Одоевского, дочери Тютчева. Вечером того же дня юбиляра поздравил Александр II.

Вяземский стал крупным государственным сановником еще в первые годы царствования Александра II: с декабря 1855 года он был введен в Сенат, с того же года по 1858-й занимал пост товарища министра народного просвещения, с 1856 по 1858 год возглавлял управление цензуры, а в 1866 году стал членом Государственного совета.

Новая оппозиция — революционные демократы, Герцен, поэты «Искры» — воспринимала Вяземского как врага, и он постоянно был объектом ее нападок. В то же время Герцен в своей борьбе неоднократно использовал раннее творчество Вяземского. Он, например, опубликовал в Лондоне стихотворение 1828 года «Русский бог», обращая его сатирическое острие против русской действительности 1850-х годов.

Сам Вяземский многое перечеркивал и пересматривал в своем литературном и политическом кредо 1810—1820-х годов. И не он один — Ф. Глинка, Плетнев и многие другие его сверстники, выходцы из эпохи двенадцатого года, эпохи Пушкина и декабристов, не поняли и не приняли идей новых поколений. Еще в 1840 году Вяземский писал:

А мы остались, уцелели
Из этой сечи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвемся в жизнь, как в бой.

Отсюда и одиночество в чуждом мире:

Я пью за здоровье далеких,
Далеких, но милых друзей,
Друзей, как и я, одиноких,
Средь чуждых сердцам их людей.

Сознательно или бессознательно, они соотносили свою жизнь, успехи с *той* эпохой, и все проигрывало перед нею:

Из книги жизни временем сурово
Все лучшие повыдраны листы...

И неудивительно, что сердце Вяземского в старости безраздельно принадлежало прошлому:

Один цветок растет на рубеже могилы
Воспоминание: он старости цветок.

. . . .

Да здравствует минувшее! Вот наша
Песнь лебединая, прощальное ура!
Счастливы юноши! Надейтесь: завтра — ваше,
А наша собственность — вчера.

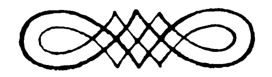
В свое время Баратынский назвал Вяземского «звездой разрозненной Плеяды». Именно так воспринимал себя Вяземский в последние десятилетия жизни — «звездой» распавшейся, но некогда могучей «Плеяды». И поэтому в день своего юбилея 2 марта 1861 года он сказал поздравлявшим его: «Вы во мне радушно приветствуете и ласково провожаете живое и нечуждое сочувствиям вашим предание. Вы в моем лице празднуете умилительную тризну славным покойникам, которых некогда был я питомцем, современником и товарищем. Не мои дела, не мои труды, не мои победы празднуете вы. Вы заявляете сердечное слово, вы подаете ласковую руку простому рядовому, который уцелел из побоища смерти и пережил многих знаменитых сослуживцев. На поприще гражданина

имел я также один поэтический и достопамятный день, который означает особенною отметкой обыкновенную жизнь человека. Много ли насчитается ныне налицо из тех, которые были хотя и незаметными, но присутствующими участниками в великой, эпической Бородинской битве? Не ищите имени моего в летописи этой битвы; но я под ядрами находился в сей день при Милорадовиче. В ушах моих еще звучит повелительный голос его; пред глазами моими еще рисуется его спокойное и мужественное лицо. На литературном поприще равно я живое воспоминание великой эпохи. Я напоминаю вам, милостивые государи, имена ее, имена Карамзина, Жуковского, Пушкина и некоторых других знаменитых ее деятелей, сих воинов мирного, но победительного слова. Я пережил их, как пережил и многих из своих бородинских товарищей. Это не заслуга, но это право на сочувственное внимание ваше...»

Вяземский понимал — его заслуги в далеком прошлом. Разлад с настоящим вызвал немало мрачных, даже трагических строк в стихах последних лет. Долголетие оборачивалось тяжким бременем.

Все сверстники мои давно уж на покое,
И младшие давно сошли уж на покой;
Зачем же я один несу ярмо земное,
Забытый каторжник на каторге земной?

Он умер далеко от родины, в Баден-Бадене, 10(22) ноября 1878 года. Похоронен в Александро-Невской лавре подле многих сопутников и товарищей его благородной молодости.





ПОЭТЫ „БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ“

> *Время было тогда очень уж смирное. Правительственная сфера, особенно в Петербурге, захватывала и покоряла себе все. <...> Пушкин был еще жив, в полном расцвете сил <...> но, правду говоря, не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики <...> барон Брамбеус царствовал... на Кукольника взирали с надеждой и почтением... а Бенедиктова заучивали наизусть. <...> Время, повторяю, было смирное по духу и трескучее по внешности...*
>
> *И. С. Тургенев.*

Никогда в пушкинскую пору литературная ситуация не складывалась так парадоксально, как в 1830-х годах. Во всей силе разворачивался гений Пушкина, мужало дарование Лермонтова, в печати появлялись замечательные стихи Баратынского, на страницах «Современника» публиковались стихотворения Тютчева, но все это или не было оценено по достоинству, или вообще осталось неизвестно читателям (Лермонтов не печатался, многое

пушкинское также оставалось в рукописях, в том числе и «Медный всадник»). В то же время кумирами читающей публики стали литераторы с дарованием совсем другого масштаба — Нестор Кукольник, Владимир Бенедиктов, Алексей Тимофеев. Именно кумирами, властителями дум! Ими зачитывались, их сравнивали с Пушкиным, а то и возносили выше. Самый популярный журнал того времени «Библиотека для чтения» провозглашал этих поэтов русскими Байронами и Гете.

Достижения Пушкина-реалиста не были осмыслены в 1830-х годах ни читателями, ни критикой. Русская литература оставалась еще во власти романтизма. Именно этим объясняется популярность как романтической поэзии Бенедиктова, Кукольника, Тимофеева и других поэтов, так и романтической прозы А. Марлинского, М. Загоскина, И. Лажечникова и других. Кроме того, в 30-х годах литературное чтение все более входило в быт провинциального дворянства, петербургского купечества и мещан. Эта преимущественно малокультурная публика не способна была воспринимать вершинные явления литературы. Зато творчество второстепенных поэтов вполне соответствовало ее вкусам. На них и ориентировались популярные в читательских низах «Северная пчела» (в которую, по замечанию А. В. Никитенко, в провинции «веровали, как в священное писание») и журнал «Библиотека для чтения». Об успехе «Библиотеки» красноречиво говорит ее тираж, достигший к 1837 году невиданного до тех пор уровня — 7 тысяч экземпляров. Заметим, что первый том пушкинского «Современника» был напечатан тиражом 2400 экземпляров, а четвертый — только 900.

«Библиотеку» издавал известный деятель книготорговли и книгопечатания Александр Филиппович Смирдин. Его книжная лавка на Невском проспекте по праву считалась в 30-х годах одной из лучших в столице. Она размещалась в трехэтажном флигеле лютеранской церкви святого Петра (теперь дом № 22). Часть нижнего этажа

была занята книжным магазином, а во втором к услугам читателей была открыта библиотека для чтения с богатым книжным и журнальным фондом (от нее и возникло название журнала). «Северная пчела» так рекламировала магазин Смирдина: «Русские книги в богатых переплетах стоят горделиво за стеклом в шкафах красного дерева, и вежливые приказчики, руководствуя покупающих своими библиографическими сведениями, удовлетворяют потребность каждого с необыкновенной скоростью».

Смирдин переехал на Невский в период расцвета своей деятельности. До конца 1831 года его лавка занимала скромное помещение у Синего моста (набережная Мойки, 70). Читатели и литераторы восторгались его новыми книжными хоромами. Вяземский рекомендовал их как «первую европейскую лавку с русскими книгами», где «не темно, не холодно, не сыро и не грязно». Переезд на Невский Смирдин решил отметить обедом, на который пригласил почти всю пишущую братию.

Новоселье праздновали 19 февраля 1832 года. «За огромным столом,— рассказывал очевидец,— собралось все, чем тогда могла похвастаться наша литература!» Тут были Пушкин и Вяземский, Крылов и Жуковский, Гоголь, Плетнев и многие-многие другие. Пир, продолжавшийся несколько часов, оказался шумным и веселым, с остротами, каламбурами и, конечно, с тостами. Первый тост за процветание русской литературы предложил Греч. Пили за здравие хозяина, за почивших и присутствующих литераторов. Любопытно, что никто не предложил поднять бокалы за Греча и Булгарина, хотя они сидели на виду и своим буффонством и шутками все время привлекали внимание. Пушкин был очень оживлен — дружески обнимался с бездарным Хвостовым, много говорил, острил и смеялся. Вдруг, заметив, что между Гречем и Булгариным сел цензор В. Н. Семенов, он воскликнул: «Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе». Поняв остроту (Христос по преданию был распят между

двумя разбойниками), Греч сообразил, что лучше посмеяться, Булгарин же не смог скрыть раздражения.

Смирдин был человеком честным, добрым и бескорыстно преданным книжному делу. Но он не понимал глубины и причин противоречий и разногласий, царивших в литературном мире, и вынашивал мечту об объединении различных литературных групп. Смирдин полагал, что основой такого объединения может быть его книгоиздательская деятельность, и, устраивая обед, надеялся, что положит этим начало всеобщему примирению писателей. Жуковский во время обеда предложил всем присутствующим подарить хозяину на новоселье что-либо из своих литературных трудов, которые тот смог бы объединить в памятный альманах. Гости горячо поддержали Жуковского, и вскоре Смирдин стал получать дары, из которых составил двухтомный альманах «Новоселье».

Первый том украшала картинка обеда у Смирдина (рисовал ее с натуры Александр Брюллов, а гравировал С. Галактионов). На председательском месте изображен Иван Андреевич Крылов, за ним стоит Смирдин и подле него сидят Хвостов и Пушкин. Греч стоя провозглашает тост, рядом с ним Семенов и Булгарин. За спиной Греча в пол-лица виден Вяземский. Посмотрев эту картинку, Вяземский отметил: «...я профилем, а Булгарин во всю харю...» Он же дал меткую характеристику альманаху Смирдина, в котором «рядом с Жуковским — Хвостов... где мед с дегтем, но и деготь с медом». В резко отрицательном духе писал об этом альманахе и Гоголь. Вместо объединения у Смирдина получалось скорее какое-то смешение. Но Александр Филиппович не терял надежд и вслед за «Новосельем» с той же целью затеял толстый журнал, пригласив в качестве редактора Осипа Сенковского. Так родилась «Библиотека».

Осип Иванович Сенковский прежде литературной известности снискал славу блестящего ученого-востоковеда. В 1822 году, двадцати двух лет от роду, он получил две

кафедры в Петербургском университете — арабского и турецкого языков. Удостоился он и звания члена-корреспондента Академии наук, был членом ряда заграничных ученых обществ. Но научная и преподавательская деятельность не поглощали полностью его кипучей энергии, а слава ученого не удовлетворяла непомерного самолюбия. Практически оставив науку, Сенковский принялся за литературу. Ему были свойственны страстная увлеченность и огромная работоспособность. Он сам выполнял всю работу по сбору и подготовке материала; кроме того, в каждый номер давал свои произведения — повести, переводы, фельетоны, заметки, обзоры. Он скрывался под псевдонимами Барон Брамбеус (самый распространенный!), Осип Морозов, Тютюнджю-оглу, Белкин, Снегин и пр. Сенковский стремился сделать журнал максимально занимательным. Ради этого по своему усмотрению бесцеремонно поправлял и переделывал почти все поступавшие к нему произведения. В погоне за популярностью журнала он пользовался методами, не делавшими ему чести как литератору и журналисту. Одна из современниц Сенковского, Е. А. Карлгоф, писала о нем: «Он был необыкновенно умен, учен и даровит, что не мешало, однако, ему шарлатанить и быть невыносимо самолюбивым и самонадеянным». И. А. Крылов, услышавший как-то спор об уме Брамбеуса, воскликнул: «Вот вы говорите: умный, умный! Да ум-то у него дурацкий».

При всех своих очевидных недостатках «Библиотека» была во многом новаторским изданием. Это был первый в России журнал «энциклопедического» типа — «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод». Объем его иногда достигал 30 печатных листов. Толстый журнал был внове для русского читателя. Внове было и то, что «Библиотека» выходила точно в срок — каждое первое число месяца. В тот же день рассыльный от Смирдина доставлял авторам напечатанных в номере произведений гонорар. Это было также новшеством: Смир-

дин поддержал и развил почин Рылеева и Бестужева. Сенковскому как редактору он выплачивал ежегодно большую ставку — 15 тысяч рублей.

Став знаменитым и получая хорошее жалованье, Сенковский зажил на широкую ногу: стал с шиком одеваться, приобрел великолепный выезд, снял на Почтамтской улице уютный домик с двумя садами — цветочным и фруктовым (теперь дом № 21 по улице Союза Связи). В конце 30-х годов он начал устраивать у себя музыкальные вечера. Приглашались популярные исполнители, а среди слушателей бывали братья Брюлловы (Александр Брюллов и Сенковский были женаты на родных сестрах), вице-президент Академии художеств Ф. П. Толстой, поэты Н. Кукольник и Э. Губер, М. И. Глинка и другие знакомые и друзья хозяина дома. В доме на Почтамтской Сенковские прожили несколько лет — вторую половину 30-х годов. Эти годы, вспоминала жена Сенковского, «были из самых блестящих...известность его (Сенковского. — *Авт.)* росла, слава увеличивалась». В доме на Почтамтской и составлялись увесистые тома «Библиотеки».

Секрет необыкновенного успеха журнала Белинский и Гоголь видели в первую очередь в том, что он более всего отвечал вкусам обывательских кругов. Белинский писал: «Представьте себе семейство степного помещика, семейство, читающее все, что ему попадется, с обложки до обложки; еще не успело оно дочитаться до последней обложки, еще не успело перечесть, где принимается подписка и оглавление статей, составляющих содержание номера, а уж к нему летит другая книжка, и такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая... И, в самом деле, какое разнообразие!— Дочка читает стихи гг. Ершова, Гогниева, Струговщикова и повести гг. Загоскина, Ушакова, Панаева, Калашникова и Масальского; сынок, как член нового поколения, читает стихи г. Тимофеева и Барона Брамбеуса, батюшка читает статью о двухпольной и трехпольной системах, о

разных способах удобрения земли, а матушка о новом способе лечить чахотку и красить нитки; а там еще остается для желающих критика, литературная летопись, из которых можно черпать горстями и пригоршнями готовые (и часто умные и острые, хотя редко справедливые и добросовестные) суждения о современной литературе; остаются статьи ученые и новости иностранных литератур».

В первых номерах «Библиотеки» (журнал выходил с 1 января 1834 года) печатались Пушкин и литераторы его круга, не имевшие тогда собственного печатного органа. Однако союз с Сенковским оказался непродолжительным. В 1836 году появился «Современник». Сенковский, узнав только о намерении Пушкина издавать журнал, который мог бы составить конкуренцию его детищу, предложил ему через Смирдина 15 тысяч отступного. Получив отказ, Сенковский тотчас начал наступление на Пушкина и еще не вышедший журнал. Развязно-наглым тоном он сообщал своим читателям: «Вообще нет ничего нового в политическом свете. Все народы живут в мире и согласии. Прочие известия — самые пустые. Африканский король Ашантиев, говорят, объявил войну Англии и уже открыл кампанию. Александр Сергеевич Пушкин в исходе весны тоже выступает на поле брани. Мы забыли сообщить нашим читателям об одном событии: Александр Сергеевич хочет умножить средства к наслаждению читающей публики родом бранно-периодического альманаха под заглавием «Современник»... Этот журнал или этот альманах учреждается нарочно против «Библиотеки для чтения» с явным и открытым намерением — при помощи божьей уничтожить ее во прах».

По всей видимости, Смирдин не имел решающего голоса в журнале, где Сенковский чувствовал себя полноправным хозяином. Воспрепятствовать разрыву «Библиотеки» с пушкинским кругом писателей Смирдин не смог. Сенковского же теперь волновало другое: нужна была замена Пушкину и его друзьям, отошедшим от «Библио-

теки». И он нашел такую замену. Еще в 1834 году Сенковский горячо приветствовал вступление в литературу Н. В. Кукольника, тогда же он стал пропагандировать творчество А. В. Тимофеева, а когда в 1835 году на литературном небосклоне неожиданно появилась новая «звезда»— В. Г. Бенедиктов, Сенковский и его поспешил завербовать в свои сотрудники.

Барон Брамбеус тонко чувствовал литературную и политическую ситуацию, понимал вкусы и интересы основной массы своих читателей и потому скоро сообразил, что новые любимцы публики принесут еще большее процветание его журналу. Так постепенно Бенедиктов, Тимофеев и Кукольник стали ведущими сотрудниками «Библиотеки». В унисон с ней их вовсю пропагандировала «Северная пчела». Для Сенковского Булгарин и Греч были конкурентами, но в борьбе с «Современником» он объединил с ними свои силы. Характерно, что и у Сенковского, и у Булгарина восхваление новых поэтов оборачивалось, как правило, против Пушкина и поэтов его круга. Булгарин, например, восторгаясь Бенедиктовым и Тимофеевым, с подчеркнутым «сожалением» писал в 1835 году: «Отцы нашей поэзии давно уже не производили ничего достойного особенного внимания».

Творчество Кукольника, Бенедиктова и Тимофеева, присяжных сотрудников «Библиотеки для чтения», примыкает к консервативно-охранительному искусству. Консервативно-охранительная направленность особенно характерна для творчества Кукольника, выразителя официальной идеологии, наводнившего театральную сцену и читательский рынок верноподданническими произведениями. В основном литературное наследие этих поэтов сегодня интересно лишь в историческом плане, как порожденное особенностями литературной и политической ситуации 30-х годов. И лишь отдельные произведения сохранили до наших дней не только историко-литературную, но и художественную ценность.

Кукольник, Бенедиктов и Тимофеев оказались кумирами на час. Современники подняли их на непомерно высокие пьедесталы, не соответствующие их дарованиям, художественной и общественной значимости их творчества. Эти пьедесталы неминуемо должны были рухнуть, что и произошло довольно скоро. И значительная заслуга в этом принадлежит молодому В. Г. Белинскому, который способствовал рассеянию призрачной славы поэтов «Библиотеки для чтения».

Владимир Григорьевич Бенедиктов

В середине 1830-х годов в новом, только что построенном четырехэтажном доме чиновника Кандаурова на углу набережной Фонтанки и Казачьего переулка проживала супружеская чета Карлгофов — Вильгельм Иванович и Елизавета Алексеевна (этот дом — № 96 по набережной Фонтанки, угол переулка Ильича — основательно перестроен в начале XX века).

Вильгельм Иванович имел чин полковника, носил мундир гвардейского Московского полка и состоял по особым поручениям при генерал-кригс-комиссаре (Кригс-комиссариат ведал денежным и вещевым снабжением войск). Имя Карлгофа было известно и в литературном мире: в 1832 году вышли отдельным изданием его повести и рассказы, позднее он печатал статьи и переводы в «Библиотеке для чтения». Карлгоф был в приятельских отношениях с журналистом А. Ф. Воейковым и, вероятно, через него познакомился с его родственником В. А. Жуковским, у которого стал бывать на литературных «субботах». У себя в доме Карлгоф также собирал литераторов, только, как правило, рангом пониже. Там можно было часто видеть поэтов Лукьяна Якубовича и Алексея Жуковского (этот однофамилец Василия Андреевича выступал под псевдонимом Е. Бернет). К завсегдатаям при-

надлежал и молодой историк С. М. Строев (псевдоним — Сергей Скромненко). Карлгофов посещали также начинающий литератор И. И. Панаев, критик и цензор А. В. Никитенко. Нередко приходил Воейков, а иногда заглядывали и другие «звезды» журналистского мира — Булгарин, Греч, Н. Полевой, Сенковский. Изредка появлялся в гостиной Карлгофов ученый монах, знаток Китая и Востока отец Иакинф (Никита Яковлевич Бичурин), который привлекал всеобщее внимание.

28 января 1836 года Карлгофы устроили вечер в честь приезда в Петербург их давнишнего знакомого Дениса Давыдова. По этому случаю у них впервые собрались литературные знаменитости — Крылов, Пушкин, Жуковский, Вяземский. Были приглашены также Плетнев, Розен, Кукольник, Бенедиктов и другие. Хозяйка вспоминала позднее, как ей пришлось поволноваться в приготовлениях и как потом во весь вечер она не отрывала глаз от Пушкина. И она, и муж относились к Пушкину с благоговением. Но видимо, это чувство у них, как и у многих почитателей Пушкина 30-х годов, было связано с его ранним творчеством. Писателями «сего дня» были для них Кукольник и особенно Бенедиктов. И если в тот вечер присутствие Пушкина и его друзей несколько отодвинуло Кукольника и Бенедиктова в тень, то обычно им здесь уделялось главное внимание и оказывалось особое почтение. Карлгофы гордились тем, что начало сенсационной литературной известности этих поэтов было положено именно в их салоне.

С Нестором Васильевичем Кукольником Карлгоф познакомился в начале 30-х годов. Кукольник-литератор был еще мало кому известен. Он только что закончил драматическую фантазию «Торквато Тассо», но в кошельке было не так уж много денег, чтобы рисковать ими, потратив на печатание этого труда. Карлгоф заинтересовался сочинением Кукольника и предложил его Смирдину. Но Александр Филиппович только усмехнулся: «Кукольник?..

Хе-хе-хе... Кукольник... Очень забавная фамилия... Читатель его за какого-нибудь кукольного мастера примет...» — и... отказал. Тогда Карлгоф совместно с художником М. Л. Неваховичем купил у Кукольника рукопись за 250 рублей. Так «Торквато Тассо» увидел свет. Прием его публикой не обманул ожиданий издателей и обнадежил автора. С этого началась известность Кукольника, переросшая вскоре в славу.

Карлгоф был весьма польщен собственной интуицией, гордился своим «открытием» Кукольника и отвел ему одно из почетнейших мест в своем салоне. Это особенно становилось заметно, когда садились ужинать: перед Кукольником, знатоком и любителем горячительных напитков, по указанию хозяев выставлялся дорогой лафит, гостям же рангом пониже и вино подавалось подешевле.

Следующим после Кукольника счастливым дебютантом этого салона стал его сослуживец по канцелярии министерства финансов Владимир Григорьевич Бенедиктов.

Карлгоф знал Бенедиктова еще подростком, когда тот жил с родителями в Петрозаводске. Затем их знакомство продолжилось во Втором кадетском корпусе, где Бенедиктов находился в качестве воспитанника, а Карлгоф — одного из военных наставников. В корпусе Бенедиктов сочинял стихи на темы кадетского быта, но в основном усердно занимался математикой и военными науками. Словесность там преподавалась весьма посредственно. Корпус Бенедиктов закончил в 1827 году (в зданиях корпуса теперь размещается Военно-инженерный институт имени А. Ф. Можайского — Ждановская улица, 13, и улица Красного Курсанта, 14—18). Бенедиктов оказался первым по успеваемости и потому при выпуске попал в гвардейский Измайловский полк, в то время как его товарищи выходили из корпуса армейскими офицерами. В 1832 году, двадцати четырех лет от роду, он сменил офицерский мундир на форму чиновника министерства финансов.

Справедливости ради следует заметить, что чиновничий мундир был более ему к лицу. Бенедиктов совсем не походил на бравого гвардейца, а напротив, внешностью был скорее воплощением скромности, застенчивости и какой-то чисто чиновничьей бесцветности. Говорил он тихо, глядя как бы исподлобья. Рябоватое лицо его, по словам современника, отличалось «бледно-геморроидальным» цветом и красными пятнами.

Как-то Карлгоф, осведомленный о поэтических занятиях Бенедиктова, попросил его почитать стихи. По-видимому, Бенедиктов согласился не сразу. Но стихи понравились Карлгофу, и по его настоянию Бенедиктов стал читать их у него на вечерах. А часто и сам хозяин с увлечением декламировал их своим гостям. И не только им. Жена Карлгофа вспоминала, как Вильгельм Иванович, увлеченный стихами открытого им поэта, «носился с ними, как с неожиданно найденным сокровищем, прочитал их многим литераторам, которым они также чрезвычайно понравились...» Все это предвещало успех, и Карлгоф уговорил Бенедиктова выпустить сборник стихотворений, взяв на себя (как и в случае с Кукольником) все затраты. Заручившись поддержкой цензора А. В. Никитенко, в июне 1835 года он приступил к печатанию.

Как ни высоко ставил издатель дарование Бенедиктова, он все же едва ли ожидал, что на его долю выпадет такой небывалый успех. «Стихотворения» Владимира Бенедиктова вызвали настоящий ажиотаж. Их декламировали и восторженно обсуждали во многих столичных гостиных. Молодежь заполняла ими свои альбомы. Учителя спешили довести их до юного поколения. По словам И. Панаева, «и литераторы, и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова». Самое любопытное, что «экстаз» охватил не только литераторов ранга Карлгофа. Тот же Панаев рассказывал, что В. А. Жуковский не расставался с только что приобретенной книжкой Бенедиктова и, «гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воз-

дух бенедиктовскими звуками». Вяземский сообщал А. Тургеневу: «У нас появился новый поэт, Бенедиктов... Замечательное, живое, свежее, самобытное явление». Их восторг разделило и молодое литературное поколение. И. С. Тургенев признавался позднее, что «плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова...» А Фет и Аполлон Григорьев «с упоением завывали при ее чтении». Приказчик книжной лавки, у которого Фет покупал эту книжку, на вопрос, сколько она стоит, ответил: «Пять рублей,— да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет». Такое сравнение, сделанное полуграмотным приказчиком, выглядит не более как курьез. Но как невероятно звучит подобное сравнение в устах образованного человека, каким был Николай Бестужев! Он писал из Сибири: «Каков Бенедиктов? Откуда он взялся со своим зрелым талантом? У него, к счастью нашей настоящей литературы, мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат так же». Московский профессор С. П. Шевырев тотчас по выходе первой книжки Бенедиктова провозгласил его «поэтом мысли». Слава, выпавшая на долю Бенедиктова, была не меньше, чем слава Пушкина, Лермонтова, Некрасова, но оказалась кратковременной.

В начале 1836 года «Стихотворения» Бенедиктова вышли вторым изданием и снова были раскуплены с молниеносной быстротой. Они вышли с посвящением Елизавете Алексеевне Карлгоф и с эпиграфом из Гете, которым за несколько лет перед тем предварил свой стихотворный сборник Дельвиг. Заимствование эпиграфа допустимо. Но заимствование культурно-идеологических ценностей, то есть подражательность, причем не всегда удачная, сопровождавшаяся упрощениями и смешением несовместимого, превратило поэзию Бенедиктова в явление так называемого вульгарного романтизма, который развивался на результатах чужих достижений и ориентировался на вкусы мещанско-бюрократической среды.

Этой среде были по душе взятые Бенедиктовым из романтической поэзии элегические штампы, сильные страсти и т. п. Герой Бенедиктова — то пламенный любовник, то одинокая гордая личность, то неустрашимый воин. Совокупность всего худшего, что воплотил в своем творчестве Бенедиктов, получила позднее в литературоведении название *бенедиктовщина*. Одной из разительных черт поэзии Бенедиктова была стилистическая неразборчивость. Так, слово *очи* он мог снабдить игривым эпитетом *черненькие*, да еще и сказать: *пара очей*. Безвкусица в его поэзии нередко соперничает с пошлостью. Так, женский образ в стихотворении «Наездница» у него наделен и *пунцовыми губками*, и *ножкой-малюткой*, и *светлыми глазками*. Героиню зовут *Матильда*. Покатавшись верхом, она «...в сладком волненьи // Кидается бурно на пышный диван». Стихи Бенедиктова то прозаически вялы, то вдруг отличаются неистовым темпераментом:

Казни ж, карай меня, о дева,
Дыханьем ангельского гнева!
Твоих проклятий стою я...
Но нет, не знаешь ты проклятий!
Так, гневная, сожги ж меня
В живом огне твоих объятий;
Палящий жар мне в очи вдуй,
И, несмотря на страстный трепет,
В уста, сквозь их мятежный лепет,
Вонзи смертельный поцелуй!

Бенедиктов часто придает героям пламенные чувства (особенно в стихах о любви), прибегает к чрезмерным преувеличениям. Своеобразной декларацией звучат его строки:

Чтоб выразить таинственные муки,
Чтоб сердца огнь в словах твоих изник,
Изобретай неслыханные звуки,
Выдумывай неведомый язык!

Все приведенные примеры (кроме последнего) взяты из первой книжки Бенедиктова, имевшей такой громад-

ный успех. Рядом с ними встречаются только отдельные стихотворения, а чаще строки, заслуживающие внимания. Но читателей подкупала новизна, даже какая-то диковинность поэзии Бенедиктова. Стих его, шумливый, бьющий на эффект нагромождением образов, неологизмами, кажущейся философичностью, звучал необычно. Эта новизна привлекала и невзыскательных читателей и знатоков поэзии: первых восхищала «красивость» стихотворений Бенедиктова, вторые же находили их глубокими по мысли.

Горячо поддержали молодого поэта, открыв перед ним двери своих гостиных, Жуковский, Вяземский и Плетнев. Первым был Жуковский, который осенью 1835 года пригласил Бенедиктова посещать его литературные «субботы». Вспоминая их через много лет, Бенедиктов писал:

...Помню я собранья
Под его гостеприимным кровом—
Вечера субботние: рекою
Наплывали гости, и являлся
Он — чернокудрявый, огнеокий,
Пламенный Онегина создатель,
И его веселый, громкий хохот
Часто был шагов его предтечей...

Перед «пламенным Онегина создателем» Бенедиктов преклонялся и, конечно, ждал его слова, его суда. Он послал Пушкину свою книжку, а затем решил нанести визит. Но по пути он неожиданно встретил Пушкина. Тот поблагодарил за книгу и добавил: «У вас удивительные рифмы, ни у кого нет таких рифм! Спасибо, спасибо!» Говорят, Бенедиктов понял очевидную иронию Пушкина. Вообще же когда Пушкина спрашивали, какого он мнения о Бенедиктове, он старался отвечать нейтрально, понимая, что его критика будет расценена как плод задетого самолюбия. Лишь иногда, в узком кругу, Пушкин не скрывал своего отрицательного отношения к поэзии Бенедиктова. Но поддержки почти не встречал: друзья не только разделили с читателями увлечение поэзией Бенедиктова, но

и явно недооценивали творения Пушкина последних лет, далеко опередившие свое время.

Поголовное увлечение Бенедиктовым пришлось как нельзя кстати Сенковскому. Осенью 1835 года у него назрел разрыв с пушкинской группой и нужны были новые силы для участия в журнале. Бенедиктов, разумеется, дал согласие печататься в столь авторитетном у публики периодическом издании. Надежды Сенковского он полностью оправдал. Уже одно из первых его стихотворений в «Библиотеке» наделало много шума. Это стихотворение «Кудри», за которое Бенедиктов удостоился среди читателей прозвания «Поэт кудрей».

Кудри девы-чародейки,
Кудри — блеск и аромат,
Кудри — кольца, струйки, змейки,
Кудри — шелковый каскад!
. . . .
Ручка нежная бросала
Вас небрежно за ушко;
Грудь у юношей пылала
И металась высоко...

Позднее Козьма Прутков удачно пародировал это стихотворение: «Шея девы — наслажденье; // Шея — снег, змея, нарцисс; // Шея — ввысь порой стремленье; // Шея — склон порою вниз...» Вслед за «Кудрями» в «Библиотеке» появились и многие другие стихотворения Бенедиктова. Он долго оставался верен журналу Сенковского.

Слава не сделала Бенедиктова ни заносчивым, ни самоуверенным. Он прислушивался к различным мнениям на свой счет и, когда не нашел ожидаемого сочувствия в Пушкине, вероятно, стал сомневаться в истинности своей славы. И конечно, источником серьезных раздумий стала для него разгромная статья В. Г. Белинского. Она появилась в московском «Телескопе» и возмутила большинство поклонников Бенедиктова. Белинский не отвергал талант Бенедиктова, но развенчивал его дутую славу. Он низвел

его с высот гения на уровень не лишенного дарования поэта и предсказал забвение в ближайшие годы. Предсказание сбылось, публика вскоре охладела к Бенедиктову.

Однако поэт не отложил пера и по мере сил совершенствовал свой талант. Почти за четыре десятилетия творчества — 30-е—60-е годы — Бенедиктов написал не только подобное «Кудрям», но и более содержательные и более художественные стихи. Недаром его репутация считается одной из самых парадоксальных в литературе прошлого столетия. Им увлекались подлинные ценители искусства, ему подражал молодой Некрасов; одни приравнивали его к Шиллеру, другие... к Козьме Пруткову. А в начале XX века появилось уничтожающее сравнение с Чичиковым, взявшимся за стихи.

В наше время творчество Бенедиктова становится объектом все более углубленного и всестороннего изучения. Появившиеся в печати работы показывают, что поэт не остановился на уровне своего первого сборника, что в его более поздней поэзии многое предвосхитило дальнейшее развитие русского стиха.

В 1850-х годах Бенедиктов, как и многие его современники, разделял иллюзию о «царе-миротворце», что отразилось в его творчестве. В те же годы он утвердился на позициях реалистического искусства и создал ряд замечательных оригинальных произведений и переводов.

В 1858 году Бенедиктов вышел в отставку, пройдя за 26 лет службы путь от помощника столоначальника в министерстве финансов до члена правления государственного заемного банка (банк находился на углу Демидова переулка и Екатерининского канала; теперь переулок Гривцова, 14)[1]. Всю жизнь Владимир Григорьевич про-

---

[1] С этим зданием связано несколько любопытных страниц литературной жизни Петербурга. В начале XIX века советником правления, а затем управляющим банком был стихотворец А. С. Хвостов (двоюродный брат известного Д. И. Хвостова),

жил одиноко, хотя, по утверждению современников, и был влюбчив и писал пламенные любовные стихи.

Часы досуга еще в годы службы Бенедиктов посвящал не только поэзии. Он занимался полюбившейся с отрочества математикой, работал над популярным изложением астрономии. Со времени первого литературного успеха он посещал литературные вечера в различных петербургских домах. Как уже говорилось, он бывал в салонах Карлгофа, Жуковского, Вяземского, Плетнева. Его принимали Воейков, Панаев, Никитенко. Частым гостем он был в кругу семьи художника Н. А. Майкова, где общался с его сыновьями — Аполлоном (будущим известным поэтом) и Валерианом (впоследствии критиком и публицистом), а также с их учителем И. А. Гончаровым. В середине века Бенедиктов посещал дом архитектора А. И. Штакеншнейдера (улица Халтурина, 10), где сходилось иногда до двухсот человек — писатели, художники, поэты, скульпторы, артисты.

Из адресов самого Бенедиктова удалось выявить только два (кроме уже упомянутого адреса Второго кадетского корпуса). В середине 40-х годов он жил в доме Кранихфельда в Конном переулке (теперь дом № 22 по переулку Гривцова), а в конце 60-х снимал квартиру в доме № 68 на Садовой.

В самые последние годы Бенедиктов не выступал в печати, жил уединенно вместе с сестрой. Он много переводил из Гете, Байрона, Мицкевича, Мейснера. В апреле 1873 года в возрасте 65 лет Владимир Григорьевич Бенедиктов скончался. Похоронен он на Смоленском кладбище.

живший тут же, в здании банка. Он устраивал литературные вечера, на которых бывали Г. Р. Державин, И. А. Крылов, А. А. Шишков, Д. И. Хвостов и многие другие. С 1845 по 1855 год управляющим банком был Вяземский. Бенедиктов являлся советником, а затем членом правления (с 1854 по 1858 год).

Алексей Васильевич Тимофеев

В пьесе В. Г. Белинского «Пятидесятилетний дядюшка», действие которой происходит в глухой провинции, есть сцена, где молодой офицер рассказывает своим родственникам о полковой жизни:

— ...Господа офицеры у нас — преобразованные-с. Во всем полку нет ни одного, чтобы не умел мазурки и французского кадреля, окромя вальсов, экосецов, польских и матрадуров... Вообще общество у нас прекрасное. Играют и в банчик; капельки мимо рта наш брат офицер не проронит... Почитать тоже любим. У нас, в полку, и «Библиотека» получается. Очень хороший журнал — сам Смирдин печатает-с, а Брамбеус иногда такие пули отливает, что так вот и катаемся со смеху — животы надорвем. Особенно хороши повести — так все экивоки-с, да такие, что как иной вспомнит свои проказы, так только усы покручивает да ухмыляется, злодей...

Тут рассказчика прерывает сестра:

— Ах, братец, а какие стихи вам в «Библиотеке» больше нравятся?

— Да все хороши, сестрица: ведь Брамбеус сам поправляет!

— Ах, я больше всего люблю господина Тимофеева... А мистерии его — какие страшные — все о преставлении света...

— Да, господин Тимофеев — поэт важный — пишет с большим чувством — лучше Пушкина...

Сравнение Тимофеева с Пушкиным подсказывалось читателю не только собственным убогим вкусом, но и «Библиотекой», которая и воспитывала этот вкус, и ориентировалась на него. Среди «пуль», которые, говоря языком героя, «отливал» на страницах своего журнала Сенковский, была, например, такая: «Вот... поэт, для замещения, если возможно, Пушкина. Из всего числа поэтов, которых произвел Пушкин, г. Тимофеев едва ли не тот, чьи произведения соединяют в себе наиболее начал пушкинской поэзии. Г. Тимофеев, по выражению одной умной дамы, проложил себе тропинку подле столбовой дороги Пушкина, и идет по ней все вперед. У него заметно много пушкинской фантазии, много воображения,

много огня и чувства... И еще одно из блистательных качеств Пушкина — остроумие».

Хотелось бы видеть в этих словах шутку, а точнее, иронию самого Сенковского. Но нет, он в них серьезен. Искренен или нет, судить трудно, но серьезен.

Лавры не сразу украсили чело Тимофеева. «Я начал писать,— рассказывал он,— как, может быть, и многие;— я начал с галиматьи, с какой-то плаксивой, трогательной, чопорной галиматьи. Я плакал, жаловался, вздыхал,— я был еще ребенок... После многих, многих разных сентиментальных, сатирических отрывков,— элегий, стансов, песен, посланий, дум и пр., и пр. я написал, наконец, бешеную высокопарную драму... После этого какой-то злой демон вдруг нашептывает мне целую дюжину песен...»

«Бешеная» драма (в неистово-романтическом духе) под заголовком «Разочарованный» вышла в Петербурге в 1832 году, а следом за ней явились вскоре и «Двенадцать песен», нашептанных «злым демоном». Публика равнодушно отнеслась к ним, журналы молчали, а автор, мучимый жаждой славы, страдал. За советом и помощью он решил обратиться к «мэтру» в области литературы — Барону Брамбеусу. Летом 1834 года он напечатал в журнале «Сын отечества и северный архив» послание, в котором взывал к Брамбеусу: «Вы опытны, Барон... Научите меня, ради бога, как мне сделаться известным. Мне страх как хочется быть известным!» Прикрываясь наивно-простодушным тоном, Тимофеев льстил Сенковскому и обращал внимание на себя: «...я не имею расположения ни к какой службе. Для гражданской слишком беззаботен; для военной слишком чувствителен; для ученой слишком мало учен. Я родился быть поэтом. Говорю вам откровенно, положив руку на сердце: я родился быть поэтом». Откровенное заискивание Тимофеева не оставило «мэтра» равнодушным — ближайший номер «Библиотеки» открылся мистерией молодого поэта «Жизнь и смерть».

Алексею Васильевичу Тимофееву тогда было немногим более двадцати лет. В Петербурге он жил с 1830 года. У него был диплом кандидата юриспруденции, выданный Казанским университетом. И хотя тяги к наградам и чинам он не испытывал, все же служил в департаменте уделов помощником столоначальника. Заискиванием перед Сенковским Тимофеев добился его расположения, и с 1834 года стихи и проза начинающего автора стали появляться и в «Библиотеке», и в «Сыне отечества». Отдельным изданием вышли фантазия «Поэт» и повесть «Художник», кредиты для напечатания которых предоставили Греч и Смирдин.

О Тимофееве заговорили. «Северная пчела», рассматривая фантазию «Поэт», писала, что автор положил в основу «обширную, высокую мысль», которая «по своей глубокости, силе и теплоте, есть нечто совсем новое в нашей литературе».

Вскоре о новой знаменитости по Петербургу поползли странные слухи. Говорили, будто, живя летом в Парголове, он вырыл нечто вроде пещеры, где предавался чтению и сочинительству. Дачницы прозвали романтического литератора Парголовским пустынником. Дым был не без огня: Тимофеев не только творчеством, но и манерами демонстрировал романтическую отрешенность, углубленность в собственный мир. И. Панаев вспоминал, что он стал разговаривать «неестественно тихо» и «как-то вдохновенно закатывал глаза под лоб».

«Фантазии» и «мистерии» Тимофеева поражали читателей грандиозностью тем. То в них представал поэт, отвергнутый суетной толпой, то жуткие картины гибели мира напоминали о неминуемом возмездии погрязшему в грехах человечеству. Однако надуманность, искусственность тимофеевских построений, безжизненность его поэзии понимали лишь наиболее образованные читатели. Резала слух и высокопарность, напыщенность его слога. Стремление к эффекту приводило порой к безвкусице,

как, например, в «Поэте»: «Жизнь без поэзии пустыня, //Изъеденный червями труп...»

Как относился к поэзии Тимофеева Пушкин, неизвестно. Уничтожающую характеристику дал ей в своем дневнике Кюхельбекер: «Заикания полупьяного мальчишки». Что же касается записных читателей «Библиотеки», то если у них и появлялись сомнения в «гениальности» своего кумира, то они развеивались после очередных панегирических отзывов о нем Брамбеуса или Булгарина. Сам же Тимофеев, по язвительному, но и, вероятно, довольно меткому замечанию И. Панаева, «не в шутку вообразил, что он поэт, добродушно поверив мистификации Сенковского».

Впрочем, не только Брамбеус, Булгарин и Греч уверяли Тимофеева в талантливости. С симпатией относился к нему, например, А. В. Никитенко, писавший в дневнике 1834 года: «Он одарен пламенным воображением, энергией и талантом писателя». Особенно восхищала Никитенко повесть «Художник», в которой Тимофеев изобразил драматическую судьбу крепостного интеллигента в чуждом ему светском обществе. Сам Никитенко вырвался из крепостной неволи, поэтому ему были близки идеи повести. Ему казалось, что в творчестве Тимофеева «везде прорывается благородное негодование против рабства...». Как цензор, он с сожалением вынужден был требовать изменений и исключений в произведениях Тимофеева. Он не сразу понял, что «негодование» молодого писателя не поднималось выше либеральной фразеологии.

В 1834—1835 годах Тимофеев совершил заграничное путешествие в Германию и Голландию, во время которого, по собственному признанию, испытывал главным образом скуку. По возвращении в Петербург он определился в редакцию «Журнала министерства народного просвещения», где прослужил несколько лет. По-прежнему он печатался в основном в «Библиотеке». В 1837 году

Тимофеев выступил с трехтомными «Опытами в стихах и прозе». В том же году Сенковский на страницах своего журнала назвал его преемником Пушкина.

В 1837 году Тимофеев жил на Васильевском острове в доме Аладова по Среднему проспекту (теперь дом № 24). Его квартира была во дворе (направо от ворот), в первом этаже. Иногда по субботам Тимофеев устраивал вечера, на которых читал свои ненапечатанные произведения. К нему собирался небольшой круг знакомых — Никитенко, литератор и журналист Я. М. Неверов (сослуживец Тимофеева) и другие.

Призрачная слава Тимофеева продержалась недолго. В 1840 году его имя исчезло со страниц «Библиотеки», а через два года Белинский в одной из рецензий упомянул его как забытого стихотворца. В середине 40-х годов Тимофеев переехал в Уфу, где получил место губернского прокурора. А через десять лет его встретил Никитенко и сразу не узнал: появилось брюшко, лицо располнело, словно опухло. Оказалось, Тимофеев женат и благодаря женитьбе богат. Многое вспомнилось в тот день Никитенко. Потом он записал в дневнике: «Это был большой писака! Писание у него было род какого-то животного процесса, как бы совершавшегося без его ведома и воли. Он мало учился и мало думал. Как под мельничными жерновами, у него в мозгу все превращалось в стихи, и стихи выходили гладкие, иногда даже в них присутствовала мысль — но все-таки, кажется, без ведома автора. Журналы наполнены были его стихами».

Творчество Тимофеева было забыто задолго до его смерти. Очень немногое из написанного им пережило автора. Тимофеев любил народные песни, под впечатлением которых создал в 30-х годах такие песни, как «Предчувствие», «Свадьба», «Выбор жены», которые были положены на музыку Даргомыжским и другими композиторами и долгое время оставались популярными. Большой успех в среде демократического студенчества второй по-

ловины прошлого века имела «Свадьба». По свидетельству Д. И. Ульянова, эту песню любил В. И. Ленин.

Нас венчали не в церкви,
Не в венцах, не с свечами;
Нам не пели ни гимнов,
Ни обрядов венчальных!

Тимофеев умер в 1883 году в Саратовской губернии. За семь лет до смерти он снова выступил перед читателями; на этот раз с огромной поэмой (в несколько тысяч строк) «Микула Селянинович, представитель земли». Этот последний опус не произвел впечатления ни на публику, ни на критику. Так закончился творческий путь Тимофеева, столь блистательно начавшийся для него в пушкинское время.

Нестор Васильевич Кукольник

В начале 1830-х годов внимание петербуржцев все больше стало привлекать новое строительство в центре города у Аничкова дворца. На смену обветшалому Малому театру возводился новый — Александринский. Из лесов постепенно вырастало здание торжественное и праздничное, которое вскоре украсили скульптурой, богатым фризом и квадригой Аполлона. Горожане с восторгом осматривали творение Карла Росси. Впрочем, восторг оно вызывало не у всех. Один молодой человек, только что прибывший в столицу, с удивлением смотрел на эту постройку. Он считал нелогичным применение античных форм в условиях севера. «Я спрашивал самого себя,— писал он потом, — зачем эти колонны, символ прохлады, в таком отвратительно-холодном климате? К чему узкие балконы?.. Но больше всего досадовала и смешила меня колесница, которая выезжала из чердака, чтобы повалиться на площадь».

Молодой человек, несмотря на столь неожиданное суждение, не был профаном в искусстве. Напротив, он

отличался интересом к музыке, живописи, театру, литературе, знал несколько языков. Он закончил Нежинскую гимназию высших наук (где учился вместе с Гоголем), после чего успешно выступил на преподавательском поприще в Вильно. Звали его Нестор Кукольник, от роду ему было двадцать два года.

Перед зданием почти готового Александринского театра он оказался в один из осенних дней 1831 года. Накануне он приехал в Петербург с ректором Виленского университета и остановился у его родственников на Моховой. Кукольник давно мечтал о столице с ее театрами, литературными и музыкальными салонами, мастерскими именитых художников и ваятелей. С ранних лет увлекаясь сочинительством, мечтал и о литературной славе. В «суматохе внутренних ощущений, надежд и ожиданий», по собственным его словам, прибыл он в Петербург. «Плохо спал я ночь,— вспоминал он потом о первой ночи в столице,— все художественные кошмары душили меня; никто в свете... не знал, что под подушкою у меня лежала совсем оконченная пятиактная драма «Торквато Тассо» и отрывочные сцены из жизни разных артистов-страдальцев. Разумеется, я встал раньше всех, выбежал на улицу и через несколько минут увидел несчастный деревянный Симеоновский театр».

Прерывая рассказ Кукольника, заметим, что это был театр-цирк, открытый в 1827 году у Симеоновского моста (на месте нынешнего цирка). Проект театра был неудачным, и здание представляло не только большие неудобства для артистов и зрителей, но и было ненадежным само по себе — после каждого представления приходилось тщательно его осматривать. «Язык довел меня до Невского проспекта,— продолжал Кукольник,— куда я вышел прямо насупротив новостроившегося Александринского театра; он был почти уже совсем готов».

Театр, как мы уже знаем, неприятно поразил его. Но мысли Кукольника, думается, витали в первую оче-

редь не вокруг архитектуры. Он мысленно представлял огромный наполненный зал, напряженно следящий за разворачивающимся на сцене действием. Ему виделись какие-то гениальные актеры, воплощающие своим искусством образы и картины, придуманные им, Нестором Кукольником...

Прошло два с небольшим года с того дня, и имя его появилось на афишах Александринского театра. А уже в 1834 году Белинский в «Литературных мечтаниях» писал: «Ныне, на наших литературных рынках, наши неутомимые герольды вопиют громко: *Кукольник, великий Кукольник, Кукольник — Байрон, Кукольник — отважный соперник Шекспира! на колена перед Кукольником!»*

* * *

Театр, говорил Гоголь,— «это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Что же говорила миру русская сцена 1830-х годов?

26 января 1831 года на сцене Большого театра впервые была сыграна комедия Грибоедова «Горе от ума». Долгожданный спектакль привлек уйму зрителей, его повторяли каждую неделю. Успех был несомненным, но те, кто знал комедию по спискам, с огорчением отмечали, что многое в ней оказалось утраченным на сцене. Никитенко, посмотрев спектакль, записал: «Некто остро и справедливо заметил, что в этой пьесе осталось одно только горе: столь искажена она роковым пожом бенкендорфской литературной управы».

Вспомним еще об одной премьере. 19 апреля 1836 года в Александринском театре впервые была представлена комедия Гоголя «Ревизор». По-разному встретила публика великое творение: раздавались похвалы, но высказывалось и явное недоумение и возмущение — как посмел автор так «очернить» Россию? Например, министр финансов граф Канкрин во время спектакля заявил: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу».

Прислушиваясь к высказываниям о «Ревизоре», Гоголь сочинил пьесу «Театральный разъезд после представления новой комедии». Действие ее происходит в сенях Александринского театра. Публика, только что посмотревшая «Ревизора», при выходе из театра делится своими впечатлениями:

Литератор. Помилуйте, что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон? Шутки самые плоские; просто даже сально!.. Сюжет невероятнейший. Все несообразности; ни завязки, ни действия, ни соображения никакого... Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну, говорим ли мы с вами эдак?

Еще литератор. Поверьте мне, я знаю это дело: отвратительная пиеса! грязная, грязная пиеса! Нет ни одного лица истинного, все карикатуры! В натуре нет этого; поверьте мне, нет, я лучше это знаю; я сам литератор... Фарс, фарс, да и фарс самый неудачный. Последняя, пустейшая комедийка Коцебу в сравнении с нею Монблан перед Пулковскою горою. Я это им всем докажу, докажу математически, как дважды два. Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Все приятели кричали, кричали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать.

Литератор и Еще литератор — персонажи не совсем выдуманные. В реплике первого Гоголь пародировал суждения Булгарина в «Северной пчеле», в монологе второго — выступление Сенковского в «Библиотеке». Добавим к этому, что Гоголь в своей пародии на булгаринский отзыв о комедии исчерпал далеко не все суждения «критика». Булгарин заявлял, например, что в пьесе нет «ни одного умного слова, а одне только грубые насмешки и брань», и предупреждал автора: «Все неизящное недолговечно!»

Вскоре после событий на Сенатской Булгарин советовал правительству впредь для отвлечения людей от социально-политических вопросов направлять их внимание на какие-нибудь «маловажные» предметы, например, писал он, на «театр, который у нас должен заменить

суждение о камерах и министрах». Театр в преддекабрьские годы сыграл важную роль в формировании и утверждении передовых настроений. Теперь перед правительством встал вопрос о «новом» театре, который отвлекал бы публику от насущных проблем и воспитывал в верноподданническом духе. Эту задачу должны были решать водевили и мелодрамы, а также официально-патриотические пьесы. О том, что представлял собой театр в пору николаевской реакции, превосходно сказал Гоголь в том же «Театральном разъезде»: «...поезжайте только в театр: там всякий день вы увидите пиесу, где один спрятался под стул, а другой вытащил его оттуда за ногу». Не менее яркую характеристику театрального репертуара 30-х годов дал Белинский в «Литературных мечтаниях»: «Там, то есть в том большом доме, который называют русским театром, там, говорю я, вы увидите пародии на Шекспира и Шиллера, пародии смешные и безобразные; там выдают вам за трагедию корчи воображения; там вас потчуют жизнью, вывороченною наизнанку; словом, там

...Мельпомены бурной
Протяжно раздается вой,
Там машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой!

Говорю вам: не ходите туда; это очень скучная забава!»

Белинский, критикуя театр, привлек в союзники Пушкина, взяв в качестве цитаты строки из седьмой главы «Онегина». Тогда же глубокую неудовлетворенность театральным репертуаром испытывал Лермонтов. В ту пору он, безвестный еще в литературном мире, пытался провести на петербургскую сцену свою драму «Маскарад». Попытки ни к чему не привели.

Александринский театр 30-х годов отличался официально-парадным характером. Его лицо определяла в первую очередь драматургия консервативного романтизма. Ведущим ее представителем стал Кукольник. За ним шли

драматурги Н. Полевой, В. Зотов, П. Ободовский... «Явилась целая фаланга людей,— вспоминал позднее И. С. Тургенев,— бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики... Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать *ложновеличавой школой*, продолжалось недолго...— но что было шума и грома!»

* * *

Поселившись в Петербурге в начале 30-х годов, Кукольник со временем поступил на службу в канцелярию министерства финансов. В 1834 году он перешел во II отделение императорской канцелярии на должность столоначальника, а в 1837-м поступил переводчиком в капитул орденов (ведавший вопросами, связанными с награждениями). В канцелярии министерства финансов в одно время с ним служил и Владимир Бенедиктов. Оба служили старательно, а свой досуг отдавали литературным занятиям. Правда, Кукольника меньше заботили служебные успехи и гораздо больше манил призрак литературной славы.

Шумная известность пришла в 1833 году, когда при участии В. И. Карлгофа вышла в свет его «романтическая фантазия» в стихах «Торквато Тассо». Ее встретили лестными отзывами в печати Греч, Полевой, Розен. Но превзошла всех в выражении восторга «Библиотека для чтения». Критик Тютюнджю-оглу (Сенковский) на двадцати с лишним страницах взахлеб расхваливал творение молодого драматурга, которого тут же окрестил «юным нашим Гете».

Драматическая судьба Т. Тассо, великого поэта Италии XVII века, волновала Кукольника с юношеских лет. Свою «фантазию» он вынашивал еще в гимназии. В последнем акте есть сцена, в которой умирающий Тассо предрекает расцвет поэзии в Европе и России и даже конкретно говорит о своих будущих преемниках — Гете,

Державине. Поэт провидит и своего будущего пламенного почитателя — Нестора Кукольника:

Тот юноша, холодный и суровый,
От всех храня все мысли и все чувства,
Как друга своего, меня полюбит.
Шесть лет со мной он будет без разлуки.
Еще дитя, в училище, за книгой,
Он обо мне начнет мечтать и думать,
И жизнь мою расскажет перед светом.

Некоторые читатели справедливо сочли пророчество не очень скромным. Но Сенковский нашел ему оправдание: «Это простое следствие ощущения в душе своей присутствия гения, и против подобного чувства никакая ложная скромность устоять не может». Сенковский создал завидную рекламу Кукольнику. Публика приняла драму на «ура». Один провинциальный чиновник, приехавший как раз в ту пору в Петербург, вспоминал, что все «были объяты самым неистовым восторгом от «Торквато Тассо». Все наперерыв читали звучные стихи этого произведения, и трудно представить для поэта... славу, блестящее той, какою в то время пользовался Кукольник».

При таком успехе увидеть свою «фантазию» на сцене Кукольнику не довелось. Его опередил драматург А. В. Киреев, выпустивший в том же году свою драму «Торквато Тассо», которая и была сразу поставлена в Петербурге. Драма Кукольника вышла в переплете серого цвета, обложка киреевской драмы была желтой. Обыгрывая это различие, П. А. Катенин сочинил эпиграмму, в которой высмеял споры о достоинствах обоих произведений: «...серый Тасс, в котором смысла нет, // На много ль желтого, однако ж, превосходит?» Мнения о Кукольнике, подобные катенинскому, тонули в общем хоре похвал. Почитатели связывали со своим кумиром колоссальные надежды. На стороне Кукольника оказались и столичные обыватели, и влиятельные органы печати, а после выступления Кукольника с новой драмой «Рука

всевышнего отечество спасла» — сам император и правительственные круги.

«Рука всевышнего...» — стихотворная драма о событиях Смутного времени в России (период польско-литовской интервенции в начале XVII века). Идея драмы, раскрывавшаяся уже в ее названии, вполне соответствовала духу теории «официальной народности»: бог, любя Россию, помог ей победить внешних и внутренних врагов и водворить порядок, даровав на царствование Михаила Романова. Сцене избрания царя Кукольник придал демократический характер, подчеркнув тем самым не только «божественное происхождение» самодержавия, но и его «народность». «Рука всевышнего...» была принята к постановке в Александринский театр. Для вящего эффекта решено было поставить ее с небывалым размахом, для чего были выделены огромные средства. Главную роль князя Пожарского готовил актер В. А. Каратыгин (некогда ученик Катенина, ставший любимцем придворно-аристократической публики и выразителем ее вкусов).

Наконец 15 января 1834 года представление состоялось. Александринский театр был переполнен. Дочь Ф. П. Толстого, присутствовавшая на премьере, впоследствии вспоминала: «Актеры играли превосходно; аплодисментам не было конца. Много хлопал и государь. Автор выходил в директорскую ложу несколько раз, чтобы раскланиваться публике, и всякий раз его встречали оглушительными криками «браво» и неистовыми аплодисментами. В райке простой народ, которому «Рука всевышнего...» пришлась по душе, так орал и бесновался, что всякую минуту можно было ожидать, что оттуда кто-нибудь вывалится».

После представления Кукольник был приглашен в Зимний дворец. Позже, не скрывая слез умиления, Кукольник говорил, что никто из литераторов, кому он читал драму, не дал ему таких толковых и дельных советов, как государь. Естественно, пожелания были тотчас уч-

тены. Обновленный вариант продолжал с успехом идти не только на столичной сцене, но и в Москве, и в провинции. В Петербурге «Рука всевышнего...» в 1834 году дважды вышла в печати. Она стала своего рода эталоном «патриотических» произведений.

Весть об успехе драмы Кукольника разнеслась повсюду. Приезжие спешили попасть на ее представление в Александринский. В радостном ожидании пришел в театр и московский журналист Николай Полевой. Содержания пьесы он не знал, но автору «Торквато Тассо» симпатизировал. Полевой был удивлен съездом публики. В первых рядах сидели сановники и генералы, в ложах — знатные петербургские семейства; все горячо рукоплескали. Не разделив общего восторга, Полевой, вернувшись в Москву, напечатал в своем журнале отрицательный отзыв. За этим последовали события неожиданные. В сопровождении жандармского офицера он был доставлен в Петербург, где Бенкендорф обвинил его в «противоречии... общему патриотическому чувству, которое возбуждает драма Кукольника». Закончилась эта история плачевно: журнал был запрещен, а Полевой настолько сломлен и подавлен, что, по выражению Герцена, сам «в пять дней сделался верноподданным». В связи с этими событиями кто-то сочинил эпиграмму:

Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого задушила.

Триумф окрылил Кукольника. Вскоре он выпустил на сцену новый патриотический фарс — пьесу «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», премьера которой состоялась в театральный сезон 1834/35 года. За «Шуйским» появились на свет «Холмский» и другие в том же духе.

Выступая как монархист и реакционер, Кукольник в то же время стоял на антидворянской позиции. Словно

намекая, что дворянство скомпрометировало себя 14-м декабря, он подчеркивал в своих произведениях верность престолу, смелость и талантливость людей из «среднего» сословия и из народа. Он напоминал о симпатиях Петра I к людям простого происхождения. А в рассказе «Сержант Иван Иванович Иванов, или Все заодно» (1841) в столь неприглядном виде вывел помещика, противопоставив ему дворового человека, что Николай I через Бенкендорфа вынужден был «посоветовать» ему впредь воздержаться от сочинения подобных произведений. Антидворянская ориентация приносила Кукольнику огромную популярность среди тех мещан, чиновников и купцов, которые «верой и правдой» служили царю, но чувствовали себя ущемленными в правах и возможностях по сравнению с привилегированным дворянством.

Кроме исторических драм Кукольник одну за одной стал выпускать стихотворные пьесы наподобие «Торквато Тассо» о писателях и художниках прошлого: «Джакобо Санназар», «Джулио Мости» и другие, которые называл обычно «драматическими фантазиями». Об однообразии, шаблонности его драматических произведений замечательно сказал Белинский: «Кто прочел одну драму г. Кукольника, тот знает все его драмы: так одинаковы их пружины и приемы». Он же находил в них «неверность концепции, монотонность вымысла и формы». Белинскому претила как реакционная сущность драматургии Кукольника, так и ее художественное однообразие.

Лермонтов, посмотрев на сцене пьесу Кукольника «Князь М. В. Скопин-Шуйский», проникнутую духом казенного патриотизма, насыщенную к тому же мелодраматическими эффектами, написал эпиграмму:

В Большом театре я сидел,
Давали Скопина — я слушал и смотрел.
Когда же занавес при плесках опустился,
Тогда сказал знакомый мне один:
Что, братец! жаль! — вот умер и Скопин!..
Ну, право, лучше б не родился.

Однако эта пьеса, как и ряд других, пришлась по вкусу при дворе, и в марте 1835 года, как сообщала «Северная пчела», Николай I за нее и драму «Роксолана» наградил Кукольника бриллиантовым перстнем.

После этого совершенно неожиданной и, казалось бы, неуместной стала критика «Роксоланы» Сенковским в «Библиотеке». Дело в том, что действие этой драмы происходит в османской Турции, и Кукольник в передаче исторических фактов и в изображении восточных нравов допустил ряд вольностей. Тут уж в редакторе «Библиотеки» заговорил не Барон Брамбеус, а ученый-востоковед. Не отрицая занимательности сюжета, он подверг автора критике. Тот попытался оправдаться через «Северную пчелу». Это несколько омрачило отношения Кукольника с Сенковским, но ненадолго. Они нужны были друг другу: драматург нуждался в авторитетной литературной трибуне, журналист — в продукции, пользующейся спросом. Кукольник остался одним из ведущих сотрудников «Библиотеки», печатая в ней отрывки из своих «фантазий», «драматические стихотворения», «драматические картины», лирику.

Постепенно вокруг «знаменитости» сгруппировался большой кружок — литераторы, артисты, художники, а также чиновники и офицеры, увлеченные искусством. И. И. Панаев, тогда начинающий литератор, вспоминал, как в толпе почитателей не раз, затаив дыхание, смотрел на своего кумира и жадно ловил каждое его слово. Однажды — это было на вечере у кого-то из поклонников поэта — он неожиданно заявил: «Сказать ли вам, господа, что смущает меня? Я с вами буду говорить прямо: меня смущает мысль, что русская публика еще не доросла до понимания серьезных произведений. Много ли в ней таких, как вы? Мне кажется, я брошу писать по-русски, а буду писать или по-итальянски, или по-французски».

«Слова эти,— продолжает Панаев,— произвели на всех нас потрясающее впечатление. «У-у! каков!»— поду-

мали мы, перемигнувшись друг с другом, и с некоторым страхом взглянули на Кукольника, как на существо, выходящее из ряду вон, высшее...

— Мне это больно, горько,— продолжал поэт, и на глазах его, по крайней мере так показалось нам, были слезы,— я люблю Россию горячо, но делать нечего! все-таки, я думаю, придется бросить русский язык.

Мы начали умолять поэта, чтобы он не делал этого и не лишал бы русскую литературу и наше любезное отечество славы; что он и в России найдет себе много истинных приверженцев и почитателей... Что касается до нас, мы почти дали ему клятву в верности на всю жизнь...

Кукольник долго молчал. Бутылка была опорожнена. Он прислонился к спинке дивана и закрыл глаза.

Через несколько минут он поднял веки и медленным взглядом обвел всех нас...

— Благодарю вас, искренно и от всего сердца благодарю,— произнес Кукольник глубоко растроганным голосом,— не за себя благодарю — за искусство, великое дело которого вы так горячо принимаете к сердцу... Да, я буду писать по-русски, я должен писать по-русски, уже по одному тому, что я нахожу таких русских, как вы!..

— Добрый хозяин дома даст нам еще бутылку вина,— прибавил Кукольник,— и мы скрепим наш союз брудершафтом.

Мы расстались с поэтом часа в четыре утра, убежденные в его гениальности».

В описанной Панаевым сцене Куко́льник — словно подвыпивший Хлестаков, хвативший через край перед оробевшими чиновниками. Панаев нарисовал карикатурный портрет: его преклонение перед Кукольником со временем сменилось неприязнью. Но эта карикатура в главном верна: самовлюбленность Кукольника выросла в манию величия. Отсюда и его недоброжелательство к литературным «конкурентам», которых он видел в Пушкине и Гоголе. Панаев вспоминал, как после представления

«Ревизора» Кукольник «иронически ухмылялся» и, «не отрицая таланта в Гоголе», заметил: «А все-таки это фарс, недостойный искусства». А вот что записал Кукольник после смерти Пушкина: «Пушкин умер... мне бы следовало радоваться,— он был злейший мой враг: сколько обид, сколько незаслуженных оскорблений он мне нанес и за что? Я никогда не подал ему ни малейшего повода. Я напротив избегал его, как избегаю вообще аристократии; а он непрестанно меня преследовал. Я всегда почитал в нем высокое дарование, поэтический гений, хотя находил его ученость слишком поверхностною, аристократическою; но в сию минуту забываю все и, как русский, скорблю душевно об утрате столь замечательного таланта».

Все что касается «преследований» и «оскорблений», вынесенных якобы от Пушкина,— либо плод мнительности Кукольника, либо осознанная ложь, рассчитанная на публичное распространение (о фальсификации «дневниковых» записей Кукольника речь еще впереди). Но Пушкину действительно были чужды и даже враждебны литературно-эстетические позиции Кукольника и его монархический пафос. Поэтому о его творчестве он отзывался отрицательно или иронично. Эти отзывы известны в основном в передаче современников поэта, и лишь один сохранился в его дневниковой записи, сделанной 2 апреля 1834 года: «...обедал у кн. Ник. Трубецкого с Вяземским, Норовым и с Кукольником, которого видел в первый раз. Он, кажется, очень порядочный молодой человек. Не знаю, имеет ли он талант. Я не дочел его «Тасса» и не видал его «Руки» etc. Он хороший музыкант. Вяземский сказал об его игре на фортепьяно: Il bredouille en musique, comme en vers[1]. Кукольник пишет «Ляпунова». Хомяков тоже. Ни тот ни другой не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет более таланта».

[1] Он лепечет в музыке, как в стихах *(франц.)*

В подобном тоне Пушкин отозвался о Кукольнике и на одном из вечеров Плетнева: «А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли». В другом месте Пушкин заметил, что находит у Кукольника «жар не поэзии, а лихорадки».

Отрицательное отношение к себе Пушкина Кукольник не мог не чувствовать. Возможно, доходили до него и некоторые пушкинские реплики. Но едва ли это заставляло его становиться взыскательнее к себе, своему дарованию. Он был опьянен шумом славы, а отношению Пушкина находил простое объяснение — зависть. Он убеждал своих друзей, что Пушкин не может простить ему литературного успеха. Белинский справедливо отметил в Кукольнике «усилие обыкновенного таланта подняться на высоты, доступные только гению».

Помимо реноме «официального» драматурга Кукольник имел еще репутацию своеобразного жреца изящных искусств. С 1836 года он издавал «Художественную газету», которую наполнял обзорами выставок, рассказами о знаменитых музеях и галереях, сообщениями о культурных новинках, биографиями видных деятелей искусства и т. п. Он был активным членом Общества поощрения художников, а в 1838 году удостоился звания почетного вольного общника Академии художеств. Вокруг Кукольника сплотились литераторы, художники, артисты, меломаны, и среди них М. И. Глинка и К. П. Брюллов. Они нашли в этой среде искренний интерес к своему творчеству. В Кукольнике они оценили также эрудицию и занимательность собеседника. Глинка писал, что Кукольник говорил обычно так умно и ловко, что с ним совершенно исключалась скука. И еще одно немаловажное качество сумел сразу подметить Глинка — чуткое музыкальное ухо Кукольника.

В квартире Кукольников (Нестор Васильевич жил вместе с братом Платоном), где обычно сходилось много гостей, царила всегда атмосфера непринужденности, в

которой забывались неприятности и обиды. Там не раз находил Глинка приятельское убежище в пору своих семейных потрясений. Вокруг Глинки, Кукольника и Брюллова сложился кружок, шутливо назвавший себя «братией». Триумвират, возглавлявший ее, воспринимался как символ союза трех искусств — музыки, поэзии и живописи. «Братию» составляли: Платон Кукольник; художник-карикатурист, друг Глинки Николай Степанов; чиновник Андрей Лодий (имея неплохой голос, он позднее поступил на сцену под фамилией Нестеров); театральный доктор Людвиг Гейденрейх; художник Яков Яненко (прозванный «братией» не без оснований Пьяненко); молодой художник Горонович (по прозвищу Алиса); родственник Кукольников Николай Немирович-Данченко (носивший прозвище Рыцарь Коко); чиновник Владимир Богаев (Рыцарь Бобо) и другие.

Кроме «братии», или, как они еще себя называли, «комитета», в квартире Кукольников вечерами собиралось множество людей. По утверждению Панаева, иногда сходилось до 70—80 человек. Пришлось выделить особый день для приема гостей — среды. В остальные дни собирался «комитет» и наиболее близкие к нему.

«Братия» сложилась около 1836 года, когда Кукольники жили у Синего моста в угловом доме надворной советницы Настасьи Гавриловой (набережная Мойки, 70). В следующем году Нестор, судя по адресной книге, один, без брата, перебрался на Итальянскую (улица Ракова, 31). Но там, по-видимому, прожил недолго, и вскоре братья съехались вновь, заняв квартиру в доме Шлодгауэра на Фонарной улице (теперь Фонарный переулок, 3), где до них жил с молодой женой Глинка. Квартира Кукольников находилась на втором этаже и была угловой. Здесь и проходили оживленные многолюдные кукольниковские «среды». На них чаще всего читали произведения Кукольника и исполняли музыкальные сочинения Глинки. Кукольник занимал также гостей как талант-

ливый, умеющий увлечь рассказчик и импровизатор. Иногда он «потчевал» их какой-нибудь заезжей музыкальной знаменитостью. Выступали и известные столичные певцы и музыканты. Часто под руководством Глинки и под его аккомпанемент пели хором. Любимые песни кукольниковских «сред»— «Чарочки по столику похаживают» из «Аскольдовой могилы» Верстовского и песня Ильинишны из драмы Кукольника «Князь Холмский». Музыку к ней сочинил Глинка. Он же мастерски исполнял песню.

Иногда Кукольник сочинял по какому-нибудь случаю стихи, а Глинка тут же подбирал или придумывал к ним музыку, после чего куплеты распевались хором. Но творческое содружество не ограничивалось шутливыми экспромтами. Кукольник принимал участие в создании либретто опер Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». В 1838 году Глинка положил на музыку его «Английский романс» (был напечатан под заглавием «Сомнение»):

Уймитесь, волнения страсти!
Засни, безнадежное сердце!
Я плачу, я стражду,—
Душа истомилась в разлуке.
Я плачу, я стражду!
Не выплакать горя в слезах.

Летом 1840 года Глинка и Кукольник создали знаменитый цикл из двенадцати романсов «Прощание с Петербургом» (Глинка в то время собирался уехать за границу, чем и объясняется название). Однако Михаил Иванович не всегда оставался доволен работой Кукольника. Как-то он писал: «...он литератор, а не поэт — стих его вообще слишком тяжел и неграциозен после Пушкина, Батюшкова и других».

На кукольниковских «средах» бывали и «полезные» люди, как, например, помощник Бенкендорфа Леонтий Дубельт. Иногда получались довольно разношерстные сборища. Панаев вспоминал: «Тут не были исключитель-

но любители искусства и поклонники литературы, художники и литераторы, а всякого рода весельчаки, военные и штатские, пожилые и молодые — даже игроки, аферисты и спекуляторы. Вся эта разнохарактерная ватага бестолково толпилась и шумела, бродя из комнаты в комнату. Хозяин дома кочевал среди этой толпы и останавливался на минуту перед своими гостями с каким-нибудь любезным словом».

Нетрудно представить Кукольника, кочующего в этом пестром многолюдье. Он был высок ростом, но с узкими плечами, немного неуклюжий, угловатый, голову держал обычно слегка наклоненной, глаза — маленькие, с насупленными бровями. Глядя на него, гости, особенно новички, невольно переводили глаза на его портрет, висевший в столовой рядом с портретом брата. Оба портрета написал Карл Брюллов. Портрет Нестора, созданный осенью 1836 года, при сравнении с оригиналом казался несколько идеализированным. На нем Кукольник — поэт, автор романтических «фантазий». Бледное лицо, спадающие на плечи волосы — все создавало впечатление романтической загадочности. Таким и рисовался Кукольник в воображении его поклонников. «О личности его,— писал современник,— ходили самые разнообразные слухи и всегда с примесью чего-нибудь поэтического. Говорили, что он красавец собой, что многие женщины и девы заочно влюблялись в него и что он был героем самых романтических приключений». Но в конце 30-х годов Кукольник, постаревший, с одутловатым лицом, лишь отдаленно напоминал свой знаменитый портрет. Что же касается его «амурной» репутации, то и тут он завуалировал все дымкой романтической таинственности, многозначительно намекая друзьям, что питает «идеальную» любовь к некой знатной даме, имя которой не может быть произнесено.

О том же говорила и его любовная лирика: «В моей любви нет людям откровенья!..» Скорее всего, Кукольник попросту мистифицировал и друзей, и читателей, застав-

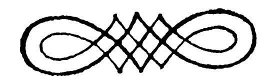
ляя их отождествлять себя со своим лирическим героем, создавая вокруг себя легенду об утаенной любви, что являлось почти непременным атрибутом романтического поэта в 1820-х годах, но уже начало ветшать и опошляться в последующем десятилетии, когда этот мотив и подхватил Кукольник.

Отличительной чертой кукольниковских вечеров было демонстративное отрицание салонного этикета. Всей атмосферой своих собраний Кукольник словно противопоставлял свой дом — в его понимании своеобразный очаг Аполлона, где собираются служители искусств — салонам «литературной аристократии» (Жуковского, Плетнева и других). Но свобода от этикета и непринужденность порой оборачивались, как писал очевидец, оргиями «довольно дурного тона», когда «всякое поэтическое обаяние... исчезало». Попросту — литературно-музыкальные вечера превращались в шумное бражничанье.

Глинка советовал друзьям прекратить многолюдные сборища, изменить обстановку. Он уговаривал поэта снять небольшую квартиру, где тот мог бы спокойно работать. Кукольник и сам подумывал об этом и наконец в августе 1840 года перебрался в дом у Харламова моста (адрес неизвестен; где-то у пересечения канала Грибоедова и проспекта Римского-Корсакова). Здесь собирался только узкий кружок. Глинка работал над оперой «Руслан и Людмила», проигрывал Кукольнику все только что сочиненное. Карл Брюллов в соседней комнате рисовал карикатуры на Глинку или набрасывал эскизы декораций к его будущей опере. Тут же поэт А. Струговщиков, которого Кукольник пригласил редактировать совместно «Художественную газету», правил корректуру. Платон Кукольник по-прежнему жил на Фонарной, где продолжались еще некоторое время литературно-музыкальные вечера и пиршества.

К этому времени Кукольник оставил службу; гонорары его неплохо обеспечивали. К исходу первого десятилетия его петербургской литературной деятельности итог, казалось бы, был неплохой: свыше десятка «фантазий» и исторических драм, романы, много повестей, рассказов, лирических стихотворений, а также статей и заметок по искусству. Но в то же время его творчество вызывало у читателей все меньший интерес, слава заметно блекла, редел круг поклонников, распадалась «братия». В 40-х годах, ориентируясь на все возраставший спрос на прозу, Кукольник почти оставил стихи. Из-под его пера выходили пухлые романы, повести, рассказы. С 1843 года он снова начал сочетать литературные занятия со службой. Итогом его многолетних писательских трудов стало собрание сочинений, появившееся на прилавках в начале 50-х годов. Оно было встречено равнодушно, после чего Кукольник уже реже появлялся в печати. В 1857 году он переселился в Таганрог, где через одиннадцать лет скончался.

Любопытно, что на склоне лет Кукольник пустился в мемуарную фальсификацию: на основе своих старых записей, личных воспоминаний и появившихся в печати мемуаров он стал составлять «дневник», который будто бы вел в прежние годы. Целью сего труда было желание подчеркнуть свою близость к Глинке и влияние на него (то и другое сделано с явным преувеличением). Позднее «дневник» не раз появлялся в печати и только в 1950 году был разоблачен как подделка. Эпизод с «дневником» красноречиво дополняет облик Кукольника, прожившего жизнь человека с большими претензиями, с неотвязчивым желанием (вспомним еще раз Белинского) «обыкновенного таланта подняться на высоты, доступные только гению».



ВМЕСТО ЭПИЛОГА

За полтора десятилетия — с 1825 по конец 1830-х годов — Россия потеряла многих поэтов: Рылеева, Веневитинова, Грибоедова, Дельвига, Пушкина, А. Бестужева, А. Одоевского. Сороковые годы «открылись» гибелью Лермонтова.

Современники и потомки не без оснований связывали это с политикой Николая I, душившего живое, свободное слово.

«Обвинительным актом» российскому самодержавию прозвучали слова Герцена: «Ужасная, черная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэта, гражданина, мыслителя неумолимый рок толкает в могилу...»

Тема «рока», «горькой судьбы» воплотилась и в поэзии:

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех она казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.
Не он один; другие вслед ему...

(Кюхельбекер)

Трагическое время. И вместе с тем прекрасное. Мрачные тучи последекабрьских лет не закрыли многоцветия той эпохи, освещенной гением Пушкина и обогащенной творчеством плеяды замечательных поэтических талантов, эпохи уникального по богатству и смелости творческих исканий литературного процесса, эпохи, создавшей художественные ценности, которые во многом определили дальнейшие пути развития русской литературы, оплодотворили духовную жизнь последующих поколений и остались жить в веках.

Поэты, о которых шла речь в этой книге, и были каждый в меру своего дарования участниками и творцами той прекрасной и трагической эпохи. И город, в котором они жили, созидали, искали и погибали, остался вместе с их наследием великим памятником им и их времени.

Этот город — пушкинский Петербург — живет и в сегодняшнем Ленинграде.

УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНЫХ МЕСТ

Фамилия, имя, отчество поэта	Годы	Исторический адрес	Современный адрес	Состояние дома
Баратынский Евгений Абрамович	1812—1816	Садовая ул., Пажеский корпус	Садовая ул., 26	Сохранился
	Осень 1818—?	Семеновский полк, Госпитальная ул., дом Гижевского	Бронницкая ул., участок дома 15	Не сохранился
	1819?	Семеновский полк, Пятая рота (линия)	Рузовская ул.	»
	Февраль 1840	Исаакиевская пл., дом Китнера, кв. Н. В. Путяты	Исаакиевская пл., 7	Надстроен
	Сентябрь 1843	Никольская пл., дом Плеске, кв. Н. В. Путяты	Пл. Коммунаров, 6	Сохранился
Бенедиктов Владимир Григорьевич	1821—1827	Второй кадетский корпус	Ждановская ул., 13	Сохранился
	1844	Конный пер., дом Кранихфельда	Пер. Гривцова, 22	Сохранился
	Конец 1860-х	Садовая ул., дом Фитингоф	Садовая ул., 68	Надстроен
Бестужев Александр Александрович	Начало XIX в.	Васильевский остров, 5-я линия, дом отца	5-я линия, участок дома 40	Не сохранился
	1810—1815	Горный кадетский корпус	Наб. Лейтенанта Шмидта, 45	Сохранился
	1820-е	Васильевский остров, дом Гурьева, кв. матери	7-я линия, 18	Значительно перестроен

	Лето 1825	Сампсониевский пр., дача Булгарина	Пр. Карла Маркса, участок дома 49	Не сохранилась
	Август—сентябрь 1825	Исаакиевская пл., дом Булатовых, кв. А. Одоевского	Исаакиевская пл., 7	Надстроен
	Осень 1825	Наб. Мойки, дом Российско-Американской компании, кв. О. Сомова	Наб. Мойки, 72	Перестроен
	Декабрь 1825 — август 1826	Петропавловская крепость, Никольская куртина	Петропавловская крепость	Сохранилась
Веневитинов Дмитрий Владимирович	22 ноября 1826 — 15 марта 1827	Наб. Мойки, дом Ланского, дворовый флигель	Наб. Мойки, участок дома 84	Не сохранился
Вяземский Петр Андреевич	1805—1806	Иезуитский пансион	Канал Грибоедова, 8	Сохранился
	Февраль—март 1816	Наб. Фонтанки, дом Е. Ф. Муравьевой	Наб. Фонтанки, 25	Надстроен
	Февраль—июнь 1828	Моховая ул., дом Мижуева, кв. Карамзиных	Моховая ул., 41	Перестроен
	Март—июль 1830	То же	То же	»
	Декабрь 1831 — октябрь 1832	» »	» »	»
	Октябрь 1832 — август 1834	Гагаринская наб., дом Баташова	Наб. Кутузова, 32	Перестроен

Продолжение

Фамилия, имя, отчество поэта	Годы	Исторический адрес	Современный адрес	Состояние дома
Вяземский Петр Андреевич	Осень 1835 — осень 1836	Михайловская пл., дом Жербина	Пл. Искусств, участок дома 2	Не сохранился
	1837	Моховая ул., дом Быченской	Моховая ул., 32	Надстроен
	?—май 1838	Большая Морская ул., дом Лауферта	Ул. Герцена, 27	Надстроен
	1839? — 1843	Сергиевская ул., дом Боровицкой	Ул. Чайковского, 21	Перестроен
	1844—1845	Невский пр., дом Голицыной	Невский пр., 60	Перестроен
	1861	Литейный пр., у Мариинской больницы	Литейный пр., дом не найден	
	1867—1868	Наб. Мойки, 15	Наб. Мойки, 15	Сохранился
	1868—1869	Большая Морская ул., 49	Ул. Герцена, 49	Сохранился
Глинка Федор Николаевич	1795—1802	Первый Кадетский корпус	Университетская наб., 15	Сохранился
	1816—1819	Дворцовая пл., здание штаба гвардии	Дворцовая пл., 10—12	Перестроено
	1819—1822	Театральная пл., дом Крапоткина	Театральная пл., 18	Сохранился
	До января 1826	Екатерингофский пр., дом Хованской	Пр. Римского-Корсакова, 35	Перестроен
	Январь — июнь 1826	Петропавловская крепость, Петровская куртина	Петропавловская крепость	Сохранилась

	Весна 1848	Офицерская ул., дом Кокушкина	Ул. Декабристов, 36	Сохранился
	Осень 1848—весна 1849	Торговая ул., дом Лемана	Ул. Союза Печатников, участок дома 12	Не сохранился
	1853—1859?	Васильевский остров, 7-я линия, дом Капгера	7-я линия, 6	Надстроен
Гнедич Николай Иванович	1807	Невский пр., у Знаменской церкви	Невский пр., дом не найден	
	1808	Вблизи съезжего дома Московской части	Дом не найден	
	1812	Садовая ул., дом Федорова	Садовая ул., дом не найден	
	1810-е — 1831	Садовая ул., дом Императорской Публичной библиотеки	Садовая ул., 20	Сохранился
	1831 — февраль 1833	Пантелеймоновская ул., дом Оливье	Ул. Пестеля, 5	Надстроен
Грибоедов Александр Сергеевич	1815—1816?	Офицерская ул., дом Лефебра	Ул. Декабристов	Не сохранился
	1816 — август 1818	Екатерининский канал, дом Вальха	Канал Грибоедова, 104	Перестроен
	Июнь—июль 1824	Наб. Мойки, гостиница «Демутов трактир»	Наб. Мойки, 40	Перестроена
	Июль—август 1824	Стрельна	Стрельна	
	Август — ноябрь 1824	Торговая ул., дом Погодина, кв. А. Одоевского	Ул. Союза Печатников, 5	Надстроен
	Ноябрь 1824 — январь 1825	Васильевский остров, наб. Большой Невы, дом Усова, кв. Чебышева	Наб. Лейтенанта Шмидта, 13	Перестроен

Продолжение

Фамилия, имя, отчество поэта	Годы	Исторический адрес	Современный адрес	Состояние дома
Грибоедов Александр Сергеевич	Январь—май 1825	Исаакиевская пл., дом Булатовых, кв. А. Одоевского	Исаакиевская пл., 7	Надстроен
	11 февраля—2 июня 1826	Дворцовая пл., гауптвахта Главного штаба	Дворцовая пл., 10	Сохранился
	Июнь 1826	Наб. Мойки, дом Егермана, кв. А. Жандра	Наб. Мойки, 82	Перестроен
	Лето 1826	Сампсониевский пр., дом Калугиной, дача Булгарина	Пр. Карла Маркса, участок дома 49	Не сохранилась
	Март 1828	Наб. Мойки, гостиница «Демутов трактир»	Наб. Мойки, 40	Перестроена
	До 6 июня 1828	Большая Морская ул., дом Косиковского	Ул. Герцена, 14	Сохранился
Григорьев Василий Никифорович	1803—1822	Садовая ул., дом министерства финансов	Садовая ул., 12	Сохранился
	1842—1852	То же	То же	"
	Середина 1850-х — 1861	" "	" "	"
Дельвиг Антон Антонович	1818	Троицкий пер.	Ул. Рубинштейна, дом не найден	
	1819?	Семеновский полк, Пятая рота (линия)	Рузовская ул.	Не сохранился
	1824	Загородный пр., дом Кувшинникова	Загородный пр., участок дома 9	Не сохранился

	Октябрь 1825 — сентябрь 1826	Миллионная ул., дом Эбелинг	Ул. Халтурина, 26	Сохранился
	Сентябрь 1826 — ноябрь 1829	Загородный пр., дом Кувшинникова (с 1828 г. — Алферовского)	Загородный пр., участок дома 9	Не сохранился
	Лето 1829 и 1830	Петербургская сторона, дача у Крестовского перевоза на Колтовской наб.	Наб. Адмирала Лазарева, у Большого Крестовского моста	Не сохранилась
	Ноябрь 1829 — 14 января 1831	Загородный пр., дом Тычинкина	Загородный пр., 1	Сохранился
Катенин Павел Александрович	1810-е — сентябрь 1820	Миллионная ул., первый батальон Преображенского полка	Ул. Халтурина, участок дома 33	Не сохранился
	Ноябрь 1822	«Красный кабачок» на Петергофской дороге	Пр. Стачек, у реки Красненькой	Не сохранился
	Осень 1825 — май 1827	Миллионная ул., дом Паульсона	Ул. Халтурина, 8	Перестроен
	Май — июнь 1827	Миллионная ул., первый батальон Преображенского полка, кв. В. Я. Микулина	Ул. Халтурина, участок дома 33	Не сохранился
	Июль 1832	Дача В. В. Мусина-Пушкина-Брюса	Пр. Газа, участок домов 48—50	Не сохранилась

Продолжение

Фамилия, имя, отчество поэта	Годы	Исторический адрес	Современный адрес	Состояние дома
Козлов Иван Иванович	1819—1825?	Исаакиевская пл., дом Бреммера	Исаакиевская пл., 3	Перестроен
	1826	Садовая ул., дом Глазуновой	Садовая ул., дом не найден	
	1828	Малая Садовая ул., дом Армянинова	Малая Садовая ул., 4	Надстроен
	1831	Наб. Фонтанки, у Екатерининского института	Наб. Фонтанки, дом не найден	
	1830-е	Михайловская пл., дом Жербина	Пл. Искусств, участок дома 2	Не сохранился
Кукольник Нестор Васильевич	1809	Васильевский остров, 2-я линия	2-я линия, дом не найден	
	1836	Наб. Мойки, дом Гавриловой	Наб. Мойки, 70	Надстроен
	1837	Итальянская ул., 32	Ул. Ракова, 31	Надстроен
	Конец 1830-х	Фонарная ул., дом Шлодгауэра (Мерца)	Фонарный пер., 3	Сохранился
	Август 1840 — ?	Екатерининский канал, у Харламова моста	Канал Грибоедова, у Комсомольского моста, дом не найден	
Кюхельбекер Вильгельм Карлович	Конец 1790-х	Владимирский пр., дом Биха	Владимирский пр., дом не найден	
	1817—1819	Наб. Фонтанки, Благородный пансион	Наб. Фонтанки, 164	Сохранился

	1820	Конюшенная ул.	Ул. Желябова, дом не найден	
	Лето 1825	Невский пр., дом Косиковского, кв. Греча	Невский пр., 15	Сохранился
	Осень 1825	Исаакиевская пл., дом Булатовых, кв. А. Одоевского	Исаакиевская пл., 7	Надстроен
	Январь — июль 1826	Петропавловская крепость, секретный дом Алексеевского равелина	Петропавловская крепость	Не сохранился
Плетнев Петр Александрович	1820-е	Царскосельский пр., Военно-сиротский дом	Московский пр., 17	Сохранился
	1830-е	Обуховский пр., дом Сухаревой	Московский пр., 8	Перестроен
	1838—1841	Невский пр., дом Строганова	Невский пр., 38	Перестроен
	Сентябрь 1841—1863	Ректорский флигель при университете	Университетская наб., 9	Сохранился
Рылеев Кондратий Федорович	1801—1814	Первый кадетский корпус	Университетская наб., 15	Сохранился
	Начало 1820-х	Васильевский остров, 16-я линия	16-я линия, участок дома 13 или участок дома 23	Не сохранился

Фамилия, имя, отчество поэта	Годы	Исторический адрес	Современный адрес	Состояние дома
Рылеев Кондратий Федорович	? — весна 1824	Васильевский остров, 12-я линия, дом Земской	12-я линия, участок дома 49	Не сохранился
	1824 — 14 декабря 1825	Наб. Мойки, дом Российско - Американской компании	Наб. Мойки, 72	Перестроен
	Декабрь 1825 — 13 июля 1826	Петропавловская крепость, секретный дом Алексеевского равелина	Петропавловская крепость	Не сохранился
Тимофеев Алексей Васильевич	1837	Васильевский остров, Средний пр., дом Аладова	Средний пр., 24	Сохранился
Туманский Василий Иванович	1816—1818	Невский пр., училище св. Петра	Невский пр., здание школы № 222 за домами 22 и 24	Надстроено
	1844	Троицкий пер., дом Цейдлера	Ул. Рубинштейна, 16	Перестроен

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Аллер С. Руководство к отыскиванию жилищ по С.-Петербургу. СПб., 1824

Аллер С. Указатель жилищ и зданий в С.-Петербурге. СПб., 1822

Базанов В. Г. Ученая республика. М., 1964

Баратынский Е. А. Полн. собр. стих. Л., 1957

Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1939

Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1983

Бертенсон С. Катенин П. А., литературные материалы. Пб., 1909

Браиловский С. Василий Иванович Туманский. Пб., 1890

Вацуро В. Э. «Северные цветы»: история альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978

Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.-Л., 1934

Веневитинов Д. В. Стихотворения. Проза. М., 1980

Всеобщая адресная книга С.-Петербурга. СПб., 1867—1868

Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1963

Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. I—XII. СПб., 1878—1896

Гаевский В. Дельвиг.— Современник. 1853, № 2, 5 и 1854, № 1, 9.

Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969

Глинка М. И. Записки. М.-Л., 1930

Глинка Ф. Н. Избранные произведения. Л., 1957

Гнедич Н. И. Сочинения, т. I—III. М., 1884

Горбенко Е. П. Плетнев как исследователь древнерусской литературы.— Русская литература. 1982, № 4

Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.-Л., 1930

Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980

Грибоедов А. С. Сочинения в 2-х томах. М., 1971

А. С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции. Л., 1977

Декабристы и их время. М.-Л., 1951 (статьи и публикации о Рылееве, Гнедиче, А. Бестужеве и др.)

Дельвиг А. А. Полн. собр. стих. Л., 1959

Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. М.-Л., 1930

Жизневский А. К. Ф. Глинка. Тверь, 1890

Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976

Измайлов Н. В. А. А. Бестужев до 14 декабря.— В кн.: Памяти декабристов. Л., 1926

Каверин В. А. Барон Брамбеус. История журналиста Осипа Сенковского... М., 1966

Катенин П. А. Избранные произведения. М.-Л., 1965
Кюхельбекер В. К. Избранные произведения. т. 1, 2. М.-Л., 1967
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979
Левашова О. Е. Музыка в кружке А. А. Дельвига.— Вопросы музыкознания, т. 2, М., 1956
Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву.— В сб.: Пушкин: Исследования и материалы. т. 8. Л., 1978
Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. 1826—1855. По подлинным документам Третьего отделения... СПб., 1908
Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912
Модзалевский Б. Л. Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах С. М. Дельвиг. — В кн.: *Модзалевский Б. Л.* Пушкин. Л., 1929
Нечкина М. В. Движение декабристов. т. 1, 2. М., 1955
Никитенко А. В. Дневник, т. I—III. М., 1955—1956
Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934
Нистрем К. Адрес-календарь санкт-петербургских жителей. Т. I—III. СПб., 1844
Нистрем К. Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год. СПб., 1837
Нумерация домов в С.-Петербурге. СПб., 1836
Оржеховский И. В. Самодержавие против революционной России (1826—1880). М., 1982
Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950
Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 1, 2. М., 1980
Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911
Плетнев П. А. Сочинения и переписка. Т. I—III. Пб., 1885
«Полярная звезда», изданная Рылеевым и Бестужевым. М.-Л., 1960
Поэты 1820—1830-х годов. Т. 1, 2. Л., 1972
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. I—X. М., 1962—1966
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1, 2. М., 1974
Рассадин Ст. Неудачник Бенедиктов.— Вопросы литературы, 1976, № 10; Цена гармонии.—Там же, 1972, № 4
Реймерс С. С.-Петербургская адресная книга на 1809. Т. 1, 2. СПб., 1809
Розанов И. Н. Пушкинская плеяда. М., 1923
Рылеев К. Ф. Полн. собр. соч. М.-Л., 1934

Рылеев К. Ф. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма. М., 1956

«Северные цветы на 1832 год». М., 1980

Соллогуб В. А. Воспоминания. М.-Л., 1931

Тартаковская Л. А. Дмитрий Веневитинов. Ташкент, 1974

Тиханов П. Н. И. Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам. СПб., 1884

Туманский В. И. Стихотворения и письма. Пб., 1912

Тынянов Ю. Н. В. К. Кюхельбекер.— Литературный современник. 1938, № 10; Пушкин и его современники. М., 1968

Фокин Н. Н. О памятных местах пушкинского Петербурга.— В кн.: Пушкин и его время. Вып. 1. Л., 1962

Фомичев С. А. Грибоедов в Петербурге. Л., 1982

Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1976

Шредер Ф. Новейший путеводитель по С.-Петербургу. СПб., 1820

Штейнпресс Б. С. «Дневник» Кукольника как источник биографии Глинки.—В кн.: М. И. Глинка. Исследования и материалы. Л.-М., 1950

Шубин В. Ф. Вечера П. А. Плетнева в ректорском флигеле.— В сб.: Очерки по истории Ленинградского университета. Вып. V. Л., 1984; Федор Глинка и его петербургский салон в 1850-е годы.— Русская литература, 1980, № 2; Неосуществленный замысел Ю. Н. Тынянова «Евдор».— Русская литература, 1984, № 3

Шубин В. Ф., Файбисович В. М. К литературной жизни пушкинского Петербурга.— Русская литература, 1982, № 3

Яцевич А. Пушкинский Петербург. Л., 1935

* * *

Бенедиктов В. Г.

Письмо Бенедиктова к Н. В. Гербелю (30 мая 1869).— ГПБ, ф. 179, Гербель, ед. хр. 22; «На могиле Бенедиктова» (вырезка из газеты) ИРЛИ, ф. 90, оп. 3, ед. хр. 77

Бестужев А. А.

Копии писем Бестужева и краткая биографическая канва, составленная Г. В. Прохоровым.— ГПБ, ф. 69, Бестужевы, ед. хр. 32, 33, 34

Веневитинов Д. В.

Материалы для биографии и собрания сочинений.— ИРЛИ, арх. Веневитинова, ф. 415, ед. хр. 4

Глинка Ф. Н.

Письмо Глинки к М. А. Милорадовичу (копия). 1821—1822 (?) — ИРЛИ, архив «Русской старины», ф. 265, оп. 2, ед. хр.

684; Следственное дело Глинки (копия).— ИРЛИ, ед. хр. 24202/CLXIIб16

Григорьев В. Н.

Формулярный список Григорьева, его «Записки из моей жизни» и диплом «Ученой республики».— ГПБ, ф. 225, Григорьев, ед. хр. 1, 4, 5

Козлов И. И.

Материалы к биографии.— ИРЛИ, архив «Русской старины», ф. 265, оп. 2, ед. хр. 1249

Кукольник Н. В.

Кукольник Н. В. «Приезд в С.-Петербург. Письмо к потомкам» (копия), дневниковые записи (копии).— ИРЛИ, архив Кукольника, ф. 371, ед. хр. 26, 75, 76; Биография Кукольника, составленная И. А. Пузыревским.— ИРЛИ, архив Кукольника, ф. 371, ед. хр. 121

Кюхельбекер В. К.

Н. А. Маркевич. Записки 1817—1820 гг.— ИРЛИ, ф. 488, оп. 1, ед. хр. 82; Н. А. Маркевич. Материалы к запискам.— ИРЛИ, ф. 488, оп. 1, ед. хр. 40

Плетнев П. А.

П. П. Пекарский. Свидание с П. А. Плетневым (набросок статьи). — ГПБ, ф. 568, ед. хр. 44; Письмо С. М. Дельвиг-Баратынской к Плетневу (17 октября 1849 г.).— ИРЛИ, архив Плетнева, ф. 234, оп. 3, ед. хр. 81

Тимофеев А. В.

Письма Тимофеева к А. В. Никитенко.— ИРЛИ, 18711/CXXIVб4

Краеведческие материалы

ЛГИА, ф. 1133, оп. 1; ф. 513, оп. 102 (дела по различным домовым участкам)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Шубин В. Ф.
Ш95 Поэты пушкинского Петербурга.—Л.: Лениздат, 1985. — 327 с., ил.

Книга, написанная сотрудником Ленинградского городского бюро экскурсий, посвящена жизни и творчеству поэтов — современников А. С. Пушкина, живших в Петербурге первой трети XIX века. Наряду с очерками о поэтах, чье творчество широко известно (Баратынский, Рылеев, Вяземский), читатель найдет в ней краткие творческие биографии малоизвестных ныне поэтов (Туманский, Григорьев, Козлов, Тимофеев и другие).

В книгу включен обширный историко-литературный и краеведческий материал, в частности перечень адресов, связанных с жизнью и творчеством поэтов пушкинского Петербурга.

Ш $\frac{4603000000-227}{М171(03)-85}$ 163—85 **ББК83.3Р1**

Владимир Федорович
Шубин

**ПОЭТЫ
ПУШКИНСКОГО
ПЕТЕРБУРГА**

Заведующая редакцией А. М. Березина
Редактор И. А. Орлова
Художник В. П. Веселков
Художественный редактор И. З. Семенцов
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор Л. М. Ван-Заам
Фотосъемка и репродуцирование В. П. Мельникова

ИБ № 2776

Сдано в набор 20.06.85. Подписано к печати 21.11.85. М-17761. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарн. обыкн. новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 14,35+вкл. 1,4. Усл. кр.-отт. 16,37. Уч.-изд. л. 14,87+1,23=16,10. Тираж 50 000 экз. Заказ № 938. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.




1 р. 20 к.